

# НЕВА



12 • 2025

Ценим прошлое.  
Открываем новое



# НЕВА

12  
2025

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Ольга ОЛИВЬЕ**  
Стихи • 3
- Дмитрий БАРАНОВ**  
В райском уголке. *Повесть* • 7
- Владимир ШЕМШУЧЕНКО**  
Стихи • 43
- Виктор ПАРНЕВ**  
Безупречная синева. *Повесть* • 48
- Максим ЗАМШЕВ**  
Стихи • 87
- Татьяна ОКОМЕНЮК**  
Последняя пристань. *Рассказ* • 96
- Герман ВЛАСОВ**  
Стихи • 114
- Александр ТОВБЕРГ**  
**Сиреневый туман над терриконами  
(Донбасс довоенный)**. Семечки.  
«Сиреневый туман». *Рассказы* • 118
- Виктория ЧЕРЕМУХИНА**  
Со всеми остановками. *Рассказ* • 124
- Галина ТАЛАНОВА**  
Стихи • 131

### НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

- Александр ПЯТКОВ**  
Четыре корыта родной земли. *Рассказы* • 133
- Павел ПОНОМАРЁВ**  
Стихи • 142
- Андрей ГОРЬКОВЧАНИН**  
Осколки прошлого. *Рассказ* • 155

### ИСТОРИЯ РОДА – ИСТОРИЯ НАРОДА

- Валерий САЖИН**  
Безмысленная жизнь • 161

## ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

**Евгений ПОПОВ**

Мин ус — моя река • 187

**Мария БУШУЕВА**

Елецкие мотивы • 192

## ПУБЛИЦИСТИКА

**Лев БЕРДНИКОВ**

Чулук — государыни вещь • 196

## КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

**Александр МЕЛИХОВ**

Что мы несем? • 207

**Вера КАЛМЫКОВА**

Художник и его судьба: П. О. Ковалевский • 210

## ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

**Территория памяти.** Олег Солод. Леонид Андреев. Голос одиночества. **Рецензии.** Елена Печерская. Владимир Делба: Новеллы о юности, или Пять повестей о добре и зле • 225

## ПИЛИГРИМ

**Архимандрит Августин (НИКИТИН)**

У берегов Испании. Часть 4 • 240

**Содержание журнала «Нева» за 2025 год**

• 251

---

*Издание журнала осуществляется  
при финансовой поддержке Министерства цифрового  
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»  
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать  
на почтовый адрес журнала  
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).*

*Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

---

Главный редактор

**Александр Мотелевич МЕЛИХОВ**

---

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор). **Дмитрий Зенченко** (контент-редактор журнала, редактор интернет-сайта).

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2025

Ольга ОЛИВЬЕ

### **НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СТИХИ**

В предутренней, еще не просветлевшей мгле  
Сгорает ночь, ее дыханье чутко,  
И распускается бутон проснувшегося утра.  
Незавершенные стихи в тетради на столе  
Из воздуха возникли и в бессонной тишине  
Послышались-полуприснились мне.

\* \* \*

Любовь уходит тихо, как вода  
Из черного засохшего колодца.  
Смеется злое городское солнце,  
И гулкие, как эхо, холода.  
Неосторожной поступью возврата  
Прошедшее манит издалека.  
Былая нежность помнится,  
Она ли виновата  
В студеной злобности  
Людского косяка...

### **МОРОЗНЫЙ ТУМАННЫЙ ДЕНЬ В ПАРИЖЕ**

Туман Париж заботливо укутал мглой,  
Украив его от посторонних глаз.  
Озябнув, возвращаемся домой.  
В часовне Сакре-Кёр вечерний пробил час.

---

Ольга Оливье родилась в России. Окончила художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института (МГПИ). Живет во Франции. Активный участник Международного поэтического форума «Солнечный ветер». Автор журнала «Литературные знакомства», альманахов «Образ» и «Новые витражи». В настоящее время в издательстве Алетейя (СПб) вышла книга стихов и поэтических переводов с французского языка «Сад откровений берегите».

Обычно любопытные аллеи по сторонам не смотрят,  
Промозгло им; укрывшись смогом, леденеют.  
Туристы, удивленно выйдя из музея,  
На ощупь вдаль идут, в туман глаза.  
Нас пустота бульваров  
Серой строгостью встречает без прикрас,  
И щеки мягко холодит витающая дымка,  
В ней спрятан остров Сан-Луи,  
И Нотр-Дам стал невидимкой.

### **НАШ ВЕК**

Деревьев души внимают небу,  
Каналов руки берегут острова,  
На перепутье стоят, задумавшись,  
Дома-гиганты.  
Щурят глазницы судеб —  
Миры, народы и времена.

\* \* \*

Купола златоглавые в том городе были,  
Там уж нет их в помине давно.  
Златогласые колокола по обедни звонили  
И по утрени, — их забыть не дано.  
Волооко взирали златовласые девы  
Сквозь узоров окно, а монашенки пели,  
Словно в душу глядели, словно знали,  
Что нам пережить суждено.

### **СЛУШАЯ ГОДЫ СТРАНСТВИЙ ФЕРЕНЦА ЛИСТА**

Струятся звуки,  
Как дрожащая вода:  
Сильней-сильней,  
Едва-едва,  
Везде-везде,  
Всегда-всегда...  
И нарастает из флюидов  
Музыки каскад,  
Звучание продолжая  
Стройно в лад.  
Мир отзывается  
И в тот же час  
Освобождает,  
Исцеляя нас.

**ЧИТАЯ «ПЕСНЮ БАРБЕРИН» АЛЬФРЕДА ДЕ МЮССЕ<sup>1</sup>  
ШУТОЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ**

О шевалье, мой шевалье прекрасный,  
Порыв опасный вас гонит прочь.

*Альфред де Мюссе*

Прекрасный рыцарь уезжает на войну,  
Меня оставляя совсем одну!  
— Оставайтесь... — тихо шепчу вослед, —  
Ведь вы не успели дать обет!  
Ночь так опасна, так темна,  
И в мире много бед.  
Нераздельную любовь побегом не избыть,  
Вам будет раны бередить печальных мыслей нить.  
Уедете, вас позабудет свет,  
Назад домой дороги нет.  
Угаснет страсть, исчезнет след,  
Как пыль из-под копыт коня,  
Но как без преданности своей оставите меня?  
Прекрасный рыцарь уезжает на войну,  
Меня оставляя совсем одну!  
О, мой герой, я вами дорожу,  
Оставайтесь навсегда со мной, в слезах дрожу!  
Что блеск побед и славы брэнность?  
Без вас кто будет воспевать  
Моей улыбки чувственную леность?

**ЧИТАЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ПЕСНЮ ИЗ ПОЭМЫ  
«АНАБАСИС» СЕН-ЖОН ПЕРСА<sup>2</sup>**

Не то чтобы был весел человек,  
Но, рано встав и заглядевшись на последнюю звезду  
У древа старого в полупроснувшемся саду,  
Взиравшего на нас, людей, из-под заросших век,  
Увидел в небе столько он великой чистоты,  
Что превратил легко ее в познания цветы.

Мой брат поэт прислал с посыльным весть:  
Для блага нашего он написал великую  
Нежнейшую и радостную вещь.

<sup>1</sup> Alfred De Musset (1810—1857) «Chanson de Barberine».

<sup>2</sup> Saint-John Perse (1887—1975) — французский поэт, один из крупнейших дипломатов эпохи, получивший в 1960 году Нобелевскую премию по литературе. Поэма «Anabase», заключительная часть «Песня».

### **В ТРУВИЛЕ**

Крики, переходящие в хохот низко летающих чаек, —  
Всему побережью вечных и властных хозяек;  
Берег захватывая, укутывает упрямый, холодный туман;  
Куражится бриз — от брызг соленых храбр, развязан и пьян;  
Волны с пеной выбрасываются на покорный песок;  
Седой маяк устало во мгле привычной мигает, — он одиноч,  
Как всегда, простужен и много видел на этом свете, —  
Вечер тает, штиль успокаивается, с туманом стихает ветер.

\* \* \*

Предвкушение  
Неспелую черешней  
Сводит рот.  
Нежность всходит,  
Страсть рождает.  
Вино желаний  
В нас играет,  
Будто бы порою вешней  
Сок в стволах  
Березовых течет.

---

---

Дмитрий БАРАНОВ

# В РАЙСКОМ УГОЛКЕ

Повесть

Лирика бессюжетна.

*Общее место в учебниках нулевых*

2-12-85-0-а, 2-12-85-0-б, 2-12-85-0-в, 2-12-85-0-г, 2-12-85-0-д, 2-12-85-0-е, 2-12-85-0-е, 2-12-85-0-ж...

«Аквариум», «2-12-85-0б»

*Маленький дворик, окруженный отжившими зданиями. В центре — скопление камней. Загадочный ландшафтный художник (природа, вооруженная тяжелым временем?) расположил их так, что возникает стойкая ассоциация с кладбищем. Посетителей, впрочем, здесь давно не было, и дорожки покрылись пылью забвения, опавшей с этих надгробий. По разные стороны от каменного сада еще стоят скульптуры, будто им некуда больше идти: вот огромный нос в шинели, вот высоченная башня из частей механических часов и прочего металлолома. В одной из стен, окружающих двор, большая арка, охраняемая каменными мортирами.*

— От внешнего мира филфак отделен с одной стороны набережной Леты, с другой — кладбищем университетов. Видите эти надгробные камни? Они выдернуты из стен учебных заведений, разбросанных по всему свету. Уже здесь действуют принципы, по которым устроен наш мир, — это принципы художественного текста. Филфак — пучок смыслов, которые расходятся во все стороны, связываясь с другими местами памяти и фантазии. Естественно, за многими знаками скрывается лишь обман. Так, под этими камнями нет гробов, ведь нельзя захоронить то, что умереть не может, так как и не живет «по-настоящему». Но этот невинный (ой ли?) обман служит делу жизни: так рождаются новые и новые смыслы. Память есть, а прошлого нет, а ведь обычно все наоборот. Память, переплетенная с выдумкой, рождает будущее. На филфаке время и пространство находятся в более сложных отношениях, чем где бы то ни было — или, скорее, чем когда бы то ни было еще. *(Помолчав.)* Вы спросите, кто же это говорит? Откуда доносится этот оживленный приятный голос? Ха! Обернитесь, посмотрите: вот он я, приветственно вам подмигиваю — гоголевский Нос, к вашим услугам.

*Нос, окончательно теряя пространственную определенность, сходит с постамента и подходит к читателю. Тот, конечно, стоит сейчас где-то среди камней, но намеревается в скором — беспощадно скором — времени уйти в свою, такую привычную дей-*

---

Дмитрий Баранов родился в 1991 году в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Преподаватель университета. Кандидат филологических наук. Создатель научно-популярного видеоблога по теории литературы «Интеллектуальное подполье».

НЕВА 12'2025

*ствительность. Нос приобнимает читателя за плечо и разворачивает лицом ко входу на филфак.*

Читатель:

Нос (*не обращая внимания на видимую пустоту читателя*): я хочу представить вашему пронизательному взору (ей-богу, завидую) особый мир. Вы, наверное, знаете, что все всегда начинается с Большого взрыва. Отголоски взрыва слышны и сейчас — надо лишь обладать тонким слухом — вот как у меня. Потому на филфаке всегда эхо: повторы и голоса. (*Думает, морща лоб.*) Вы спросите, откуда у меня такой слух. Ну, чем старше ты становишься, тем отчетливей слышишь это эхо... чувствуешь близость взрыва. Кроме того, один профессор как-то сказал мне, что изначально я был просто сном. Только представьте, я — сон! Но затем сон забылся, и я стал частью реальности, ну, то есть тем, что бывает на свете — редко, но бывает. Но знаете... Бывает также, что вдруг на границе сна и яви ты смутно вспоминаешь совсем другой сон, который был забыт давным-давно. Это значит, все действительно было, осталось где-то в памяти, где-то в тебе. Так вот, я — тропинка между снами. Эх, начать бы так какую-нибудь книжку... (*Нос подталкивает читателя вперед, и они останавливаются у арки, так сказать, у самого порога. Пушки, караулящие у ворот, как лучшие друзья человека, настороженно принимают, поводя дулом в сторону незнакомого гостя.*) Или не книжку, а спектакль. Впрочем, если это спектакль, тогда тебе, читатель, наверняка хочется увидеть список действующих лиц. Так на, возьми его скорей.

*Из арки прилетает гонимый ветром листок и попадает Носу прямо в руки (да-да, в его загребущие руки). Тот с азартом начинает что-то писать. Голос Носа, почти полностью завладевшего повествованием, вдруг расстунается, и читатель видит следующее.*

Список действующих лиц

Арлекин — знаменитая маска, давно выросшая из роли. Пол-лица подлеца, пол-лица простака, на левой стороне грусть, на правой — улыбка. Сидит на стопке любимых книг. Здоровье крепкое, характер ироничный, возраст неопределенный — где-то между временем прочтения этих книг и временем их осмысления.

Мадам Баттерфляй — отвечает на филфаке за красоту, так что описывать ее бессмысленно. Что она? Любовь, тело, душа, камень, поэтическая бронзовая медь? Никакое изображение не дает представления о ее сущности.

Пернатые — соловей, голубка. Соловей — одиночка, в руки не дается. А вот голубка живет на скульптурной композиции «Хор» — ее прикормили две застывших в камне музыкальные ладони. Характер что у него, что у нее весьма непостоянный.

Солнечные часы — говорят, когда-то легионер Савл пришел к Сове, из вредности дернул за хвостик времени и оторвал его. С тех пор во всех часах недостает важных стрелок. Это, конечно, миф. Историческая истина такова: попытка объединить филфак и востфак привела к поломке такого хрупкого механизма вселенной, как время. Часы показывают то, что им захочется. И только попробуй с ними не согласиться.

Бегемот — кажется, он опять сбежал, прихватив с собой описание.

Коллективная иллюзия — жизни эвфемизм.

Гоголевский Нос —

Нос (*отвоевывая права рассказчика, комкает лист бумаги и прячет за пазуху*): впрочем, довольно. Становится скучно. Дальше было бы еще много олимпийцев, населяющих страницы истории филфака в образе живых — порой чересчур живых — скульптур: бронзовых, железных, каменных или, повторюсь, медных. Когда же в действии замешаны еще и временно смертные — вроде тебя, читатель, — возникает еще множество этих ваших Насть, Вик, Даш, Жень, Рит, Юль, Полин и снова Насть, изредка разбавленных, как и положено в гуманитарной сфере, всякими там Светозарами

да Гавриилами. В общем, смертная скука. (*Доверительно шепчет, наклонившись к уху читателя.*) Ну как вам мои персонажи? Хотите посмотреть на них своими глазами? О, не отвечайте. Я все устрою.

*Начинает играть тихая лиричная музыка. Нос берет читателя за руку и тянет назад — подальше от арки. Ставит читателя на пустой постамент, с которого сошел в начале действия. Придирчиво осматривает, отряхивает с гостя несуществующие пылинки. Удовлетворившись результатом своей работы, резко кричит: «Фас!» Пушки стреляют. Ядра мчатся прямо в читателя, конечно, весьма удивленного и даже испуганного. Из читателя вышибает дух — тело же его остается на постаменте и каменеет, обращаясь в любопытную безобразную скульптуру. Между тем ядра разворачиваются и несутся прямо в арку. Одно из них оседлал дух читателя. На другом восседает Нос.*

Нос (*комментируя происходящее под собой*): Ну наконец-то. (*Уже громче, обращаясь к читателю.*) Мы летим на филфак, и скоро взору откроется чудесная картина!

*Картина действительно чудесная...*

\* \* \*

*...Но вечно выскакивающий из-за анжамбмана Нос не хочет отдавать права на повествование и стремится описать все сам.*

Нос: приготовься, движение сквозь арку меняет человека. Через одно долгое мгновение нам откроется знаменитый дворик, который каждым воспринимается по-своему — тебе же выпадет возможность взглянуть на него с разных сторон одновременно. Кстати, ты ведь догадался, что музыка резко ускорилась, когда грянули пушки? И лишь из-за свиста в ушах ты ничего не слышишь. Да, в этом удобство моего положения: нет ушей — нет свиста!

*Музыка, сопровождающая героев, вливается во двор — выясняется, что здесь она и играла в полную силу, пока заинтересованно не потянулась к читателю. Хотя ее никто не исполняет, музыка продолжает играть в догонялки с ветром и светом, накрывая филфак надежным куполом. Двор выглядит — стоит повторить это — чудесно. В центре пустое пространство, от центра сквозь цветущий сад протоптаны дорожки — они же оплетают двор по периметру. Всюду люди — а то и более интересные существа — бродят, шутят, мечтают на железных вечнозеленых скамейках. По небу, поддерживаемые музыкой, летают строчки стихотворений, цепляются друг за друга — чем точнее рифма, тем крепче держатся — разъединяются, снова сходятся, исполняют причудливый танец. Деревья, кусты, скульптуры, студенты и преподаватели, авторы и тексты — все сосуществуют в гармонии, хотя у каждого свое дело. Ядра висают в воздухе послушно, как метлы чертовски прилежных ведьм. Ощущение чуда захватывает дух читателя и уже не отпускает.*

Нос (*оглядываясь по сторонам и комментируя происходящее*): обратите внимание на красоту этого места. Вот справа мимо нас пробегает стайка прекрасных дам. Вы спросите: что же это за кумир, которого они преследуют? Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что все сравнительно прозаично: они хотят потереть счастливую лапку бегемота, чтобы отлично сдать сессию. Но у него лапки, каких не видывал свет, и поймать его можно лишь хитростью.

*И действительно, мимо пробегает компания прекрасных дев, преследующая миниатюрного юркого бронзового бегемота. Девушки так увлечены охотой, что совершенно не обращают внимания на то, что шаловливый ветер впутал в растрепанные волосы всякую растительную дребедень, платья безнадежно испорчены пятнами от шампан-*

ского, а лица покраснелись от прыжков, повторить какие не смогут и молодые серны. Создается впечатление, что когда они поймают Бегемота, просто разорвут его на части. И все-таки они прекрасны в искреннем веселье. Поверь, читатель, глядя на них, так и хочется выкрикнуть какое-нибудь бессмысленное «Эвэ!» и присоединиться к действию.

Нос (продолжает, картинно прислушиваясь): вы спросите: что это за стрекот вливается в музыку? О, это шум учебного процесса. Ну, или просто развлечение. Такой звук вам придется слышать почти постоянно. Посмотрите вдаль, вон туда, видите?

Чуть поодаль смущенный студент общается с памятником Мандельштама. Тот поучает: «Цитата не есть выписка...» Кружащиеся вокруг него насекомые подтверждают его слова согласным гулом. Великий поэт сейчас выглядит очень по-человечески — видимо, потому что на него одобрительно смотрит стоящая неподалеку жена.

Нос (продолжает, смахивая несуществующую слезинку): эх, каждый раз, глядя на Мандельштамов, думаю: ну нравятся мне влюбленные! Жаль, что сам я на не способен на большую часть человеческих эмоций... Но любовь на филфаке живет и дает жизнь. Взгляните на эти строчки из любовных стихотворений (разной степени таланта, конечно). Они странствуют из аудитории в аудиторию, прячутся в кустах и нападают среди ясного дня, они беззаботно ныряют в музыку, и все равно — находятся же такие твердолобые, кто годами ничего не видит и не слышит! Ой, не думайте об этом. Лучше взгляните налево. Студентик пытается отправить послание с почтовым единорогом, но тот никак не дается в руки. Ты что, не понимаешь, что этот способ не для тебя? Лучше просто посмотри на небо под правильным углом!

Студент раз за разом пытается приблизиться к настороженной скульптуре единорога. Лошадиное тело испещрено ячейками, в которых слегка дрожат любовные письма. Все тщетно: животина то и дело отпрыгивает. Юноша в отчаянии пытается просто закинуть письмо внутрь создания, оскорбленного таким отношением. Естественно, послание летит чуть дальше, чем положено в соответствии с бюрократическими законами физики. Парень задумчиво смотрит на письмо, потом на окно второго этажа и задумчиво бредет к каменной голубке, сидящей поодаль. Нос одобрительно усмехается. Юноша вдруг неумело начинает что-то петь. Нос морщится. Слышно, как на другом конце двора смущенного юношу передразнивает Арлекин. Нос переводит взгляд на сидящего неподалеку бронзового соловья, внимательно уставившегося на влюбленного.

Нос (вздыхает): да уж, кажется, этот паренек не знает, что у него есть конкурент. (Мимо пробегает единорог, и Нос, отвлекаясь, кивает на него.) Младшекурсницы часто пользуются этим зверьком для обмена сообщениями. А он и рад услужить: на филфаке он прячется от фрейдистов. Впрочем, иногда они забредают и сюда (Нос, подозрительно засуетившись, прищипывает ядро и летит вправо, начиная огибать двор по периметру. Продолжает.) На всякий случай давай отойдем подалее. Я тоже не хочу попадаться им на глаза — никогда не знаешь, что придет им в голову...

Мимо медленно плывущих читателя и Носа проходит беседующий с пустотой магистрант. Он совершенно не замечает, что секунду назад чуть не влетел в ядро с наездником. Незадолго до этого парень вышел из Олимпа — самой высокой башни факультета — и сейчас он подходит к мрачным Катакомбам.

Нос (посмеиваясь): эх, студенты, мечтающие стать то ли новым Лотманом, то ли Аристотелем. Они, бывает, так сосредотачиваются на своих изысканиях, что почти перестают замечать многие чудеса, которыми филфак окружает младшекурсников. Да... Чем старше ты становишься, тем привычнее магия факультета, тем меньше ты ее замечаешь... Но у магистрантов еще не все потеряно. Они всегда открывают что-то интересное, а их общение с литературой выходит на новый уровень. Ты не поверишь,

но с определенного ракурса видно, что он сейчас оживленно беседует... — с Ним. Да-да, с Ним самим. *(Нос указывает вверх, понижая голос до интригующего шепота.)* С Пушкиным!

*(Ядра приостанавливаются, Нос втягивает воздух.)*

Нос: а еще от него тянет чем-то запретным, и это интригует. Видишь ли, за пределами нашего мира свирепствует литературная инквизиция, но у нас пока с этим как-то справляются. Иначе в чем смысл? Кстати, гляньте-ка туда, это еще что?!

*Нос сердито кивает, указывая на прямо противоположную сторону двора. Читатель, конечно, все видит, несмотря на расстояние и преграды. В углу стоит матерый преподаватель — один из классиков филологии. Внушительный внешний вид: внимательные глаза, выдающийся лоб мыслителя и еще более выдающаяся курительная трубка, из которой тянется завитый в причудливые формы черный дымок. Дымок проплывает мимо висящего над головой преподавателя знака «Не курить» — тот распечатан на дешевой бумаге и скотчем приклеен к пожилой стене.*

Нос *(возмущенно втягивая ноздрями филфаковскую атмосферу)*: как это так? Кто мог повесить здесь эту гадость?!

*Тем временем к преподавателю, сердито потрясая над головой какой-то бумажкой, движется некто в форме охранника. Классик филологии сердито пыхает трубкой, из которой вырывается несоразмерно большой клуб дыма, поглощающий и охранника, и надпись. Естественно, когда дым рассеивается, не остается ни того, ни другого. Преподаватель снова затягивается, кажется, не придавая значения произошедшему. К нему подходит пара скульптур акробатов — они с наслаждением прикуривают и заводят с пожилым филологом светскую беседу. Нос несколько успокаивается. По крайней мере, из его ноздрей перестает выходить обжигающий пар.*

Нос *(недовольно и несколько смущенно)*: ну хоть так. Видимо, сюда случайно проникло большое время — так порой бывает. Жаль, что вы это увидели. Хотя... Вы должны понимать, что филфак способен грустить — порой без этого не достичь катарсического эффекта. Видите, там из кустов торчит каменная голова козла? В самые тяжелые моменты птицы умолкают, а козел начинает петь. Возможно, когда-нибудь вы услышите. Но знайте, филфак всегда справляется с печалью. Как бы то ни было, двинемся дальше.

*Ядра снова приходят в движение.*

Нос: справа мы видим Олимп — но олимпийцы там не живут, скорее наоборот. *(Ядра долетают до угла двора.)* Теперь справа от нас, со стороны двери в трапезную доносятся обрывки разговора Бродского и Довлатова — видите их совместную скульптуру? Конечно, диалог слышно плохо: голос Довлатова приглушен, так как доносится из закрытого чемодана, а голова Бродского, покоящаяся на этом самом чемодане, говорит на языке, плохо знакомом собеседнику. Но двинемся дальше *(Нос с читателем движется дальше по периметру)*. Ну вот, мы сделали полный полукруг. Справа главные двери. Если пройти здание насквозь, можно выйти на набережную, но я туда не пойду — уж очень я опасюсь петербургского климата, особенно этого вечного ветра, брр... Представьте себе простуженный Нос, это же абсурд! *(Задумчиво помолчав, продолжат.)* Да и вам туда пока рано. Кстати, если захотите выйти, у вас не получится вот так просто зайти в эту дверь и пройти тридцать метров прямо. Вам придется подняться, упереться в стену, обойти ее справа или слева, затем спуститься и выйти в нужную дверь (поверьте, там еще можно запутаться). Вы, наверное, слышали анекдот о том, что каждый факультет, как и каждый дом, отражает сознание обитателей — и наоборот. Поэтому, мол, на матмехе прямые коридоры, а на филфаке все, ну, несколько путано. Так вот: не верьте! Все неправда. Эти математики только прикидываются нормаль-

ными, на самом деле и они тоже бывают довольно интересными. (*Нос отворачивается от двери и наконец обращает внимание на то, что происходит в центре двора.*) А вот тут студенты частенько развлекаются, разыгрывая разные интересные сценки... Смотрите-ка! На филфак забрел выпускник и задремал на скамейке. Интересно, понимает ли он в своем сне, что стал важным участником представления?

*Читатель видит следующее. На одной из скамеек спит выпускник. Студенты, старательно сдерживая смех, обступают его. Глашатай, чей шепотливый глас слышен каждому во дворе, объявляет: «Дамы и господа! Сегодня мы разыграем перед вами новый спектакль, напроць забыв о принципах рельефа, динамики и контраста. Кому не нравится — не смотрите!» Парень, хохоча, падает. Близлежащие скамейки привычно отодвигаются, освобождая сцену. Три девушки подходят к спящему, прислоняются к нему и расходятся в стороны, шумя и вертясь. Видимо, это должно значить, что они рождены из его головы и дальнейшее — лишь визуализация сна. Насекомые помогают, добавляя шумовые эффекты. Начинается представление. Вперед выбегает студент, чем-то похожий на спящего. Вдруг подбегает девушка и хватает актера за ухо. «Ай, кто это?» — «Это я, твоя жена!» — с шумом говорит другой студент, спрятавшийся за спиной однокурсницы. Представление развивается. Когда героя начинают уверять в том, что он колокол, сразу же материализуется колокольня. Это все скульптура Киже — этот персонаж умеет принимать любой облик и, благодаря перевоспитанию, полученному на филфаке, всегда возникает во дворе, когда кто-то очень сильно хочет что-то вообразить и визуализировать. На протяжении всего действия видно, что Носу не терпится поучаствовать самому, но он сдерживается, то и дело оглядываясь на читателя. Наконец представление подходит к концу, музыка, вечно играющая на филфаке, чуть стихает. Студенты, посмеиваясь, не торопясь разбредаются по аудиториям. Выпускник так и не успевает проснуться или хотя бы понять, что спал — все так же сидит, как ему кажется, в полудреме. Нос поворачивается к читателю и неохотно слезает с ядра.*

Нос: ну что же, друг мой, я провел обзорную экскурсию, но она, конечно же, не дает настоящего представления о филфаке. Филфак очень разный: здесь одновременно живут добро и зло, зима и лето, романтические контрасты и реалистические умолчания. Чтобы прочувствовать эту жизнь, нужно погрузиться хотя бы в один из ее сюжетов. (*Нос достает из ниоткуда помятый лист бумаги, на котором описывал действующих лиц, и переворачивает его.*) Смотрите-ка, на изнаночной стороне было что-то написано. Что-то о времени — что ж, это объясняет, как эта бумажонка ко мне залетела — совсем заплутала в этой ненадежнейшей из субстанций. (*Вертит бумажку в руках и вдруг принохивается всем телом.*) Да, она пахнет историей, наивной и трогательной... такой узнаваемой, такой неповторимой — как все истории любви. Вы слышите этот запах? Хотите услышать?

\* \* \*

— Наган — довод ада, — таинственно понизив голос, мрачно произнес очередной участник.

Все вежливо покивали. Фраза слишком проста, суть довольно банальна. Парень сам понял, что вышло не очень, и в смущении отошел. Я бросил нервный взгляд вверх: солнце играло на окнах, но меня в свою игру ревниво не пускало — иначе говоря, не было видно ничего внутри.

Соревнования традиционно проводились у памятника Мандельштамам, рядом с которым всегда кружилась стайка цикад. В этот день я, впрочем, попросил знаме-

нитую чету чуть переместиться. Мне важно было, чтоб мы оказались прямо под окнами Райского Уголка. Мандельштамы, многозначительно переглянувшись, улыбнулись и согласились.

День располагал к тому, чтобы немного подурчиться. На очередной стене появилось было несколько царапин соскоблившейся краски, но зеленка народившейся листвы сделала свое дело. Видно было, что филфак не стареет — он обновляется, погружаясь в атмосферу детства: в воздухе смех, активность, немножко глупых обид и переживаний, а также перманентное ожидание чуда. Я договорился с Арлекином, который обычно не обращает на меня внимания, — попросил, чтобы он чуть-чуть подправил пространство и время во дворике. Он повернулся левой стороной и прищурился, как бы строго спрашивая: зачем? Я объяснил. Он повернулся правой стороной, улыбнулся так же, как Мандельштамы, и молча передал мою просьбу другим статуям, которые подкрутили солнечные часы.

В общем, в аудиториях Райского Уголка и Седьмого Неба уже начались пары, а на остальном филфаке еще время перерыва, играет музыка — но до нас, впрочем, не долетает, заботясь о том, чтобы не мешать соревнованию. Рядом с нами примостилась скульптура хора — сочетания творческой свободы и дисциплины. Две грациозных руки и голубка, которая порхает, повинувшись их движениям. Эта компания постоянно сопровождала наши игры. Голубка как всегда расположилась на сложенных каменных ладонях: так удобней слушать выступления.

Несколько скамеек окружили небольшой пустой участок. Человек пятнадцать, облепивших скамьи, оживленно беседовали. Когда кто-нибудь был готов, он выходил в центр, все замолкали, а он читал свою строчку. Сейчас вот перед нами оказался Давид — балагур и любимец девушек. Длинный плащ, черный зонт, пушкинская прическа и блуждающая ухмылка, готовая то спрятаться, то показаться. Филфаковский ветер в сердце делал его душой любой компании, и многочисленные воздыхательницы, уважая это, никогда на него не обижались. Этот парень решил взять исполнением.

— Мадам! — горестно воскликнул он, скорчив траурную физиономию. — Кабак, — тут Давид всхлипнул, — потоп...

Он театрально приложил тыльную сторону правой ладони к левой щеке, словно общал конфиденциальную информацию:

— За раз.

Затем актер запрокинул голову и неестественно вытянул шею:

— Комок! — выдохнул он, указывая на горло.

Все рассмеялись, даже цикады одобрительно покачали головами. Кажется, нужно ввести новый критерий — актерское исполнение. Оно хоть как-то может компенсировать традиционный провал Давида по «осмысленности». Эх, жалко, что со второго этажа этого выступления, возможно, не было видно. Я подумал, что самому мне надо будет встать чуть дальше.

Ребята, посмеиваясь, подталкивали друг друга. Скульптуры, заразившиеся хорошим настроением, расслабленно дышали полной грудью — те из них, у кого был торс, конечно. Каменные и металлические губы, впрочем, пока редко расплывались в улыбках — ну да, чем же мы, смертные, можем удивить коренных жителей филфака. А вот я разулыбался, несмотря на волнение. Как же хорошо! Весенний воздух был так наполнен светом и молодостью, что, казалось, готов был в кого-нибудь вселиться и принять участие в игре. Из группы болельщиков, решительно встряхнув волосами, вышла девушка. Совсем юная — видимо, первокурсница — худенькая, светленькая, с лукавыми живыми глазами. Вообще-то, похоже, что она из тех, кто за пределами факультета выглядит стеснительной замарашкой, но филфак с такими творит чудеса. Ясно было,

что девушка играет в первый раз. Она, легко перебарывая смущение, лишь красящее ее лицо, задорно проговорила:

— Кому меною кровь — жить!

Кто-то недоуменно уставился на нее. Я на секунду призадумался, прогоняя стихешце раз. А что — мне нравится! Сочетание невнятно-пафосной фразы и намек на загадочную романтическую историю — это так идет филологическим девушкам! Вот только в конце второй — произнесенной — строки бессмыслица получилась. Девушка явно ошиблась. Тем не менее это интересней, чем все предыдущее.

— Кто вы? — улыбнулся Давид, галантно кланяясь, словно желая поцеловать ручку. — Я сегодня буду конферансье, к вашим услугам.

— О, я Ада, — подмигнула покрасневшая от восторга девушка, протягивая руку для поцелуя, — очень гАда! — старательно грассируя, улыбнулась она.

Все заулыбались в ответ — в том числе и каменными, и оттого даже более вдохновляющими улыбками. Я же снова посмотрел наверх. Солнечные лучики, проникнувшись моей заботой, заручились поддержкой ветра и деревьев и стали активно прыгать по окнам. Запах весны протиснулся в щели старых оконных рам, как нарисованный в мультике запах сыра. Мое сердце громко заиграло какую-то наивную мелодию — окошко растворилось, наверняка запуская в помещение запах роз и скрытый соловьиными трелями наш веселый гомон. Кстати, о розах — в окне расцвел девичий силуэт. Я прямо подпрыгнул и собрался было что-то крикнуть, но, конечно же, так и не придумал что. Вдруг что-то пролетело мимо меня, чуть не задев крылом — это воздушная скульптура соловья воспарила, чтоб остановиться у окна и поцеловать студентку песней. Ответом был долетевший даже до меня восхищенный вздох. «Тоже мне, красавец, лебедь... дебели», — завистливо подумал я.

Тут я понял, что на меня все смотрят. Ну да, я же подпрыгнул. Видя, что трогаться с места я не собираюсь, ребята просто передвинулись, так что я оказался в центре внимания. Смотрит ли она? Так, сейчас важно сосредоточиться. Заманчиво, конечно, пользоваться словами типа «ада», да слишком просто... Впрочем, если в немного другой форме...

— В аду откуда вонь? Сера.

Фуф... Да, по настроению не подходит вообще, но... Хотя бы осмысленно. Ну, для меня. Все задумчиво покачали головами, кое-кто даже похлопал, а кто-то недовольно поежил. Я сделал шаг в сторону, понял, что меня потрясывает... Эх, отсюда окно плохо видно... Интересно, все согласятся, что я выиграл?

А это кто? Кажется, я раньше не видел парня, который решил выйти вперед, брезгливо уворачиваясь от пляшущих цикад. Весь какой-то... слишком модный, что ли. Ничего в этом не понимаю. Зализанная челка мелированных волос, клетчатая рубашка, джинсы в обlipку... И догадываешься, что стоит эта одежда немерено. Взгляд какой-то насмешливый, высокомерный. Очевидно, что перед нами кто-то чужой. Этот модник явно хочет выиграть. Терпеть не могу тех, кто, играя во что-то с хорошими людьми, нацелен на победу, а не на веселое времяпрепровождение. Впрочем, может, я просто додумываю... Все вежливо замолчали, даже соловей наверху приумолк. Я посмотрел на окно Райского Уголка — та, что сидела, чуть высунувшись наружу, с интересом смотрела вниз. Все же видела ли она, как я выступал?

Модник набрал полную грудь и начал пафосно декламировать:

— Город энергий в игре не дорог.

Утро, в...

Продолжить он не смог, потому что воздух заполнился негодующим удушливым стрекотанием. Это судьи — цикады — закружились, возмущенные попыткой сжульни-

чать. Цикады всегда поют, когда слышат, как кто-то цитирует чужой текст. Порой это пение негромкое, как будто речь человека вдруг окрашивается каким-то присвистом, шипением, эхом — и звук в цитате тянется чуть дольше положенного... Но сейчас стрекот приобрел угрожающую силу. На какой-то миг даже показалось, что цикады сейчас соберутся в одну плотную тучу, та примет форму гневно кричащего лица и обрушит Перуновы гром и молнии на побледневшего нарушителя. Я почти испуганно взглянул вверх — увидел, что девушка у окна передернула плечами и отвернулась. Ну почему она увидела именно это? Модник, на брезгливой физиономии которого промелькнула детская обида на мир, быстро зашагал прочь. Туча цикад рассыпалась, так и не прогремев, но осадочек остался... Никто не выразил своего презрения, все просто старались не смотреть в сторону жулика. Думаю, и сам Сельвинский никогда бы в нашей компании не выиграл, но использовать его таким образом...

Вот и все. Аде поднесли одолженную у Мандельштамов чашу, в которую была налита импровизированная амброзия. Девушка сделала торжественный глоток, на мгновение приобщаясь к литературным богам — вечным обитателям филфака. Игра была кончена. Реки времени факультета снова слились в один поток, и уже повсюду начался перерыв. Каменные статуи, поддерживавшие звуковой барьер, разошлись по привычным местам, и невидимая, неслышная граница разрушилась. Руки скульптуры хора ритмично задвигались, давая музыке, заливавшей двор факультета, новое звучание. Ручная голубка, услышав знакомую песню, радостно взвилась в небо и стала кружиться с соловьем. Тот уже отлетел от окошка — муза, которой он любовался, вышла из кабинета. Люди стали расходиться, шумно обсуждая игру, словно подростки после матча. «Взрослые» — скульптуры и цикады — никого не наказали, и ребяческая выходка быстро забылась — а вот оживление осталось. Ада, взявшая под ручку Давида, прошла мимо, приветливо махнув мне рукой. Видимо, ей наше соревнование понравилось. Я признательно улыбнулся и, спохватившись, поспешил к гостеприимно раскрытой двери, ведущей в Райский Уголок.

\* \* \*

— Ты готов?

— Да.

— Все будет хорошо, вот увидишь.

Баттерфляй ободряюще подмигнула. Я нервно вздохнул. Коренные обитатели филфака всегда немного смущали меня. То есть само существование живых статуй меня восхищало, мне они были пока даже более интересны, чем художественные произведения и их многоликие авторы, бродящие по факультету, — я, впрочем, о последних лишь слышал, а сам почему-то пока не встречал (говорят, им обычно неинтересно общаться с младшекурсниками). Но прекрасные скульптуры столь холодны, что к ним не подступить. То каменные, то металлические — непостоянные, часто словно неживые в своем высокомерии... Даже Арлекин и тот, несмотря на всю свою бойкость, обычно не общается с молодежью.

Только с Баттерфляй я как-то сразу сошелся. Помню, как в первый раз ее увидел. Тогда мне казалось, что она, в отличие от всех, совершенно неподвижна, застыла в бесконечной задумчивости. Она стояла одиноко, подтянув правую руку к груди, словно античная, почему-то очень целомудренная богиня — только действительно красивая. Она совершенно не глядела по сторонам, далекая от мира, и в то же время как будто жалеющая мир, лишенный ее присутствия. Я затем не единожды смотрел на нее издали и любовался. Но однажды, в какой-то тяжелый момент, сопровождавшийся, как это быва-

ет на факультете, прибывающим к земле ливнем, я рискнул подойти ближе и коснуться ее руки. Баттерфляй заметила меня, и губы ее тронула почему-то грустная улыбка. Она будто на что-то решила, вытащила шпильку, державшую диковинную прическу, взмахнула головой — ветер филфака послушно подхватил влажные бронзовые волосы — и сошла с постамента, словно с картины, изображающей рождение Венеры.

Мы подружились. Изящная, обычно чуть грустная и потому очень трогательная — теперь Баттерфляй казалась мне самой живой из всех. Я часто видел, как она поет, танцует — она вообще почему-то очень любила все, что связано с музыкой. Однажды я даже набрался смелости пригласить ее на танец — я никогда не решался на такое с девушкой из плоти. И так уж поразительно устроена вселенная, что я познакомился с Баттерфляй как раз незадолго до того, как в моей жизни появилась Аня. В этом таилось какое-то провидение. Я ведь никогда ни с кем не обсуждал любовные переживания, полагая, что это всегда дело лишь двоих. Но... школьником я писал романтические рок-песни, которые, к счастью, никто не слышал, а младшекурсником вдруг начал изливать душу прекрасной скульптуре, пообещавшей никому ничего не рассказывать. Да и кому как не ей мне изливать душу? Во дворике, конечно, есть скульптура Ромео и Джульетты — но они, обнявшись, только и делают что плачут каменными слезами, так что вряд ли они хоть что-то понимают в любви...

Между тем Баттерфляй резко повернулась и зашагала прочь — я понял, что это значит, и резко — стремительней, чем следовало, дурак! — обернулся.

— О, Аня, привет! Какими судьбами? Пары кончились?

Девушка, спустившаяся из Райского Уголка, удивленно, но, кажется, радостно поприветствовала меня, и мы сделали несколько совместных шагов в сторону Седьмого Неба. Ох... Колени дрожат, и кружится голова...

Впервые я влюбился в детском саду. Было мне, наверное, года четыре. Звали ее Оля. Собственно, больше я ничего не помню, разве что очень смутно: эпизод, где я, как маленький принц, вручаю ей сокровище — «Милки Вэй», от которого только что откусил половинку. И все равно я счастливейший из людей. Ведь с тех пор мое сознание приобщено к чувству любви, и иногда мне снится, что я люблю и любим — и не важно, в кого и кем (во сне варианты могут быть самые неожиданные). Важно, что я испытываю эти эмоции. Многие люди по-настоящему не испытывают их никогда, а мне такие сны снились... ну, раз двадцать за жизнь.

Сейчас я испытываю что-то максимально похожее на сны наяву. Вот только к ощущению всепоглощающего счастья добавляется бешеная ногга адреналина. И, честно сказать, долька неуверенности. В моей голове лихорадочно наталкиваются друг на друга неуместные музыкальные и гастрономические метафоры, пока наконец перед мысленным взором не застывает картинка: «Сникерс» в разрезе, рядом стрелочки с подписями: «счастье» напротив шоколада, «адреналин» напротив карамели, «неуверенность» — эта стрелка издевательски тянется к орехам.

Поделиться этой картинкой с Аней? Стоп, нет, я ее отпугну. Ну же, мы что, идем молча? Неловко. Надо срочно что-то сказать. Думай! Что делать? Что ей сказать, чтоб передать все, что я чувствую? Я бы с удовольствием завалил Аню всеми половинками «Милки Вэй» на свете, но не думаю, что мир так работает. Ох уж этот застрявший в зубах орешек неуверенности. Ну зачем они кладут в шоколадные батончики столько орехов?!

— Неужели пары снова закончились у нас в одно время? — удивленно спросила Аня, кажется совсем не заметившая «неловкого» молчания.

Голос Ани чем-то похож на мелодичный голос Баттерфляй, но еще она совершенно очаровательно картавит. Самое сложное в такие моменты — сосредоточиться на сути

сказанного, не растерявшись, не потеряв себя в иллюзии разговора с прекрасной парижанкой. Впрочем, от самого звука Аниного голоса стало как-то полегче — знаете чувство, когда весь день языком выковыривал что-то из зубов и наконец этот кусочек ореха выпал?

— Да, у нас всегда как-то так-то... Что я несу? Ладно, уже неважно. Тьфу, извини, язык заплетается — это из-за соревнования. Тебе к метро? Такая хорошая погода, может, пешком?

Мы выходим с филфака, чуть не столкнувшись с задумчиво бредущей одинокой фразой: «Троп — порт, в который часто заходят корабли воображения». Что же, встреча со странной строчкой — хороший знак. А вот и набережная в «реальном» мире. Накрапывает мелкий мартовский дождь. Аня с иронией смотрит на меня. Я с подчеркнuto невозмутимым видом складываю руки домиком над ее волосами. От резкого движения она, кажется, чуть настораживается, но затем расслабляется и улыбается:

— Да ладно уж, после такого жаркого учебного дня не помешает освежиться.

Аня училась на русской литературе на курс младше и на удивление серьезно относилась к учебе. Как я узнал позже, однажды родители устроили ей сюрприз на день рождения и рано утром разбудили, чтоб поздравить. Аня вскочила, испуганно крикнула, что опаздывает на зачет, и выскочила из дома быстрее, чем перепуганные родители отошли от шока. Впрочем, все это не мешает Ане жить полной жизнью в свободное от учебы время.

Строгий береговой гранит набережной сейчас имел вид небрежный. Холодный ветер, грязь, дождь, унылые прохожие, взмокшие от тщетных попыток найти укрытие... Весна, возвращаясь из царства любимого Аида, сделала остановку на филфаке, а вот до внешнего мира еще не добралась. Река, помнящая так много клятв, неподвижна — лед лишь слегка подтаял. Деревья настороженно глядят по сторонам во все почки-глаза, не рискуя вырастить листья и подставить их под солнечные лучи, тем самым сменив дар прозрения на тактильное удовольствие. Но я-то знаю, что ни мне, ни Ане, спрятавшей руки в карманы, не было дела до холода и дождя.

Наверное, в любой момент жизни рядом была девушка, которую я готов был считать своим романтическим идеалом. Такой уж я влюбчивый. У меня не было шансов устоять перед Аней. Невероятно красивая, харизматичная, веселая. Очень изящная — почему-то именно это все время крутилось в моей голове. Впрочем, это все слова — слишком затасканные, чтобы быть осмысленными. Главное, в Ане было кое-что еще. Я чувствовал, что впервые в жизни я не просто вчитываю в девушку все то невербализуемое, за что готов боготворить. Мне вдруг стало интересно, а что на самом деле у нее внутри. Это, честно говоря, даже немножко пугало.

— Ох, ну давай уже, я сгораю от нетерпения! Что это за странное соревнование? Ты упоминал, что мне это особенно понравится...

— Конечно, понравится! — набрался я храбрости. — Более того, я уверен, что если бы ты участвовала, обязательно выиграла. Мы соревнуемся в сочинении палиндромов, а ты сама — красивейший палиндром!

Аня прыснула:

— Да уж, такого мне еще не говорили. Метонимический комплимент — это, наверное, давняя филфаковская традиция.

Ветер, налетевший спереди, заставил Аню слегка пригнуться, в то время как его подельник — порыв ветра слева — попытался столкнуть меня в реку. Почувствовав, что дует также сзади и справа, мы, прислонившись к граниту, застыли, прикрывшись согнутыми в локтях руками. Я ухитрился бросить взгляд через реку и, мстительно потрясая кулаком, угрожающе выдал: «Ужо тебе!» Ветер отступил. Аня проследила

за моим взглядом, сложила руки на манер подзорной трубы и, нацелившись на невозмутимого Медного всадника, самым серьезным тоном заметила:

— Ну, вроде не движется. Будем надеяться, он не обиделся. — Затем девушка весело посмотрела на меня, мы снова двинулись по набережной и вернулась к теме разговора.

— Так и как понимают, кто победил?

— О... — начал я любимую тему, глядя под ноги и по привычке активно размахивая руками, — как один из зачинателей этой игры, скажу тебе, что непросто было придумать критерии оценивания. Сейчас они звучат так: неожиданность, осмысленность прочтения в обе стороны, сочетание точности и многозначности, а также сочетание самодостаточности и в то же время — намеков на скрывающуюся за этой строчкой историю, то есть важна возможность взаимодействия с другими, еще не сочиненными строками...

Я наконец обратил внимание на ее недоуменно-ироничное выражение лица и смущенно добавил:

— Ладно, на практике просто чем больше хлопают и улыбаются, тем лучше.

— Ну что ж, — Аня улыбнулась и картинно похлопала, — я слышала твое выступление, правда, не поняла тогда, что это палиндром. А что ты имел в виду, когда говорил про осмысленность прочтения в обе стороны?

— О, я объясню!

Когда я стесняюсь, либо совсем молчу, либо... наоборот. Когда я взалхлеб что-то рассказываю, я забываю стесняться. Так что я оседлал любимого конька и рысью двинулся вперед:

— Сама идея соревноваться в сочинении палиндромов пришла мне в голову, когда я задумался о природе эстетического. Ну, сама понимаешь, студенты филфака постоянно об этом и спорят. Человечество всегда ценило симметрию — в живописи, архитектуре, даже в природе и в женской красоте, — я взглянул на заинтересованное лицо собеседницы и, захлебываясь, решил разогнаться и пройтись галопом сразу по всем темам, связанным с вопросом. — Вот антропологи говорят, что, несмотря на то, что каноны красоты очень сильно зависят от культуры, от места и эпохи, во все времена более симметричное лицо воспринимается как более красивое. И собственно, палиндром — это торжество симметрии, то есть в каком-то смысле чуть ли не квинт-эссенция искусства.

— Интересно, — сказала Аня, оглянувшись и задумчиво посмотрев на выстроившиеся вдоль набережной важные дворцы: во всех них в какой-то степени чувствовалось давление строгого канона.

— Да-да, очень интересно! Однако я всегда воспринимал палиндром как что-то довольно скучное, прикол ради прикола — если только симметрия строки не перекликается с тем, о чем говорится в тексте. И ведь на самом деле абсолютно все лица, в том числе самые красивые, не совсем симметричны. Художники знают. Вот возьмем чье-нибудь лицо анфас. Разделим вертикальной чертой пополам. Зеркально отразим левую половину, потом зеркально отразим правую половину, а потом сопоставим два получившихся лица — они будут совсем разными. Я понял это, разговаривая кое с кем на филфаке...

— Наверное, с Арлекином? — прищурившись, хмыкнула Аня.

Я рассмеялся:

— Нет, вовсе нет. Надо сказать, я за всю свою занудно-счастливую жизнь пока ни разу не общался с Арлекином основательно. Говорят, он не воспринимает всерьез тех, кто не познал катарсического контраста радости и грусти. В общем, нет, вопросы эстетики я обсуждаю с одной интересной особой, я вас как-нибудь познакомлю. Как бы то ни было, — продолжал я рассказывать посерьезневшей Ане, уже захлебываясь и тара-

тория, — я сделал вывод, что в этом главный фокус искусства! Дело в игре с симметрией, а не в бездумном ее соблюдении. Один из принципов гармонии, искусства состоит в том, чтоб большой смысл сжать в малую форму. Традиционный палиндром дает лишь простой повтор, удвоение сказанного. Но не случайно даже реальная жизнь не похожа на классический палиндром: пути из точки «а» в точку «б» и из точки «б» в точку «а» — разные. Все эти размышления навели меня на одну мысль. Представь строчку, которая читается в обе стороны — но по-разному, при этом смысл двух строчек взаимодействует друг с другом, и за счет этого взаимодействия рождается художественный эффект!

— Ого! — Аня, заслушавшись, прислонилась к парапету моста, а затем и уселась на него, расположившись поудобней. — Звучит круто! Но такого, наверное, сложно достичь. Получается, что твоя строчка... была отнюдь не бессмысленной? — подколола она.

Ох, вот куда привела меня речь, рванувшаяся уже в карьер. Я прямо взвился на дыбы! И опасно завис над пропастью, размахивая копытами:

— Нет-нет, да, она... Смотри. «В аду откуда вонь? Сера» — внешне логично, вполне традиционное изображение ада, серный запах, все дела... Теперь посмотрим, что будет, если читать буквы — или — произносить звуки (в каждый момент можно выбирать, это важно!) — в другую сторону. «Арес. Но в аду кто? Удав». Получается так. Первая строчка вводит узнаваемый образ. А вот вторая дает новый взгляд и, возможно, бросает вызов традиции. Представь, что это выдернуто из какого-то действия. Скажем, герой восклицает, увидев бога войны, мол, как же так, ты здесь, но кто же тогда сидит в аду? А там сидит змей-искуситель, то есть дьявол — это по-своему логично. А дальше это можно интерпретировать по-разному. Тут угадывается или какой-то конфликт между античной и христианской системой мира, или, может быть, бунт против такой религиозной системы, где знания и искусство страшнее крестовых походов, а может, наоборот, тут прославление христианства — в зависимости от истории, которая может быть накручена на эту строчку... В общем... — Я порядком стусебался. — В общем, да, однажды на зачете на военной кафедре мне нужно было сделать макет листовки, и когда я рассказал, как она должна работать, экзаменатор пошутил, что вместе с листовками нужно будет скинуть с самолета меня, чтоб я объяснял солдатам противника, как мою листовку интерпретировать...

Я окончательно сдулся. Повернувшись в сторону Адмиралтейской набережной, старался не смотреть на Аню. Я же забыл спросить, вдруг она очень верующая, и после этого монолога ей покажется, что у меня выросли маленькие рожки — или, по крайней мере, хвост. Как бы то ни было, я чувствовал, что мои копыта с размаху опустились в пропасть. Где-то вдалеке мне почудилось чуть слышное ржание петровского коня. Ладно, насчет ржания не уверен, но даже с такого расстояния видно, что выражение морды у него самое ехидное.

Наконец я набрался решимости и поймал Анин взгляд. Он был на редкость заинтересованным.

— Все! — сказала она, встряхнув мокрыми волосами. — Теперь ты мой должник!

— В смысле? — я недоуменно поднял брови.

— Ты так интересно рассказывал, что я в новых джинсах села на мокрый грязный камень. Джинсы ты мне не вернешь, но теперь ты мне должен еще десяток любопытных историй! — Аня, поболтав ногами, спрыгнула и весело двинулась вперед. Я, воспарив, проводил ее взглядом и, на всякий случай проверив, нет ли у нее ангельских крыльев, бросился догонять.

Я и не заметил, что в это время дождь перестал опутывать мир своими сетями. Девья, возрадовавшись, наконец набрались смелости врать в этот солнечный мир,

одаривая его красками свежих запахов. И даже Нева, вообще-то родственная сразу всем рекам Айдова царства, вдруг двинулась вперед, знаменуя начало новой жизни — мой новой жизни.

\* \* \*

Дальше было многое.

Выяснилось, что ей нравится Набоков. Я его почти не читал, но постарался это скрыть и сказал, что мне не очень нравится, как свысока он выстраивает отношения с читателем. Она сказала, что интересуется лекциями Андреева — модного сейчас лектора. Я на них не был, но не преминул почти с испугом поделиться, что, как я слышал, он сильно переоценен, да и по отношению к студентам слишком высокомерен. Аня немного напряглась. Впрочем, закончил я удачно — на рассказе о том, как помогал с переездом Гарику — легендарному студенту, знакомому со всем факультетом. Нам надо было перенести в грузовик тяжеленный антикварный шкаф, стоявший на втором этаже старого дачного дома. Мы действовали в лучших традициях анекдотов про филологов в бытовой жизни. Мы выяснили, что в люк, ведущий на первый этаж, шкаф не пролезает никаким образом (как он материализовался наверху — загадка). Значит, надо спустить его с балкона. Гарик сказал, что дом под снос, после чего выломал балконные перила. С каким-то чудом пополам мы доперли шкаф до края. Соорудили хитрую систему сдержек и противовесов из карабинов и веревок. Наконец мы сдвинули шкаф с балкона, чтоб плавно его опустить. Как мы не улетели на луну, не знаю. К счастью, нас даже не вышвырнуло со второго этажа — вовремя выпустили из рук обжигающие веревки. В общем, раздался жуткий треск, шкаф стремительно улетел вниз и шумно пробил крыльцо дома, намертво впечатавшись в землю и наглухо забаррикадировав единственную входную дверь. При этом шкаф — надо отдать ему должное — выдержал все испытания без единой царапины.

Аня долго смеялась. Помнится, тогда я сделал важный вывод: когда вы рассказываете о собственном идиотизме, это всегда располагает собеседницу к вам. Наверное, просто в каждую хорошую девушку заложена внутренняя потребность заботиться о каком-нибудь дураке.

В общем, это была одна из лучших прогулок в моей жизни, и подробностей ее я не помню — потому что таких прогулок было еще много (и одновременно — так мало!), и все они слились в одну. Мы, конечно, прошли до конца блистательный Дворцовый мост, торжественно выводящий на лукаво изогнутый Невский проспект. Впрочем, я не замечал ни красоту города, ни насекомую суету людей, которые невольно выстраивали миф о величественном муравейнике. Я был так занят наведением мостов в загадочную новую жизнь, что видел лишь Аню, тянущую меня за собой. С Невского мы почти сразу ушли влево — Александрийским маяком, чудом света вела нас сквозь темное море людей колонна вышиной чуть ли не с египетскую пирамиду. Чуть позже заиграла закадровая музыка, обычно сообщающая, что герои провели вместе немало волшебного времени, — это мы прошли арку капеллы. Немножко поплутав, вышли на такой тихий и спокойный с этой стороны канал Грибоедова. Перед нами замаячил Невский — центр городского великоления. «Невский проспект» нас и поглотил — по крайней мере, Аню, спустившуюся в метро на этой станции.

Мы разошлись, но наш разговор, казалось, некоторое время еще висел в воздухе, не желая рассеиваться, — ибо что и может по-настоящему жить в центре Петербурга, если не речь? Впрочем, когда ты не на филфаке, в подобных фразах чувствуется ореол метафорической необязательности, призрачности, ненастоящности. Проводив де-

вушку (осталось еще четыре истории из десяти, я о них не забуду, так что до завтра!), я направился обратно по тому же маршруту на факультет — надо было разобраться со всеми долгами, накопившимися из-за прогулянных за последние недели пар.

Не переходя канал, я пошел сквозь унылый и промозглый мир, окруживший меня тучными мыслями о долгах по учебе и о прочих проблемах. Этот мир давил со всех сторон, нападал, стараясь урвать кусочки моего внимания. Редкие солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь насупившиеся облака, дробились в слепящую пыль, расширяясь о грязную поверхность воды. Впереди маячил Спас на Крови, который обступили вечно орущие люди. Я абсолютно нерелигиозный человек, но до чего же это неприятно... вспоминается чешская Костница, внутри которой расположили лоток с сувенирными черепашками для орущих и гогочущих туристов. В общем, не нравится мне этот собор, не понимаю я его. Религиозный знак в память о человеке, разорванном атеистической бомбой, — и располагается этот знак на канале имени человека, разорванного религиозными фанатиками...

В мыслях питерский туман. Репетиция в капелле закончилась, и пришлось идти в окружении пьяных окриков — порой такие арии исполняют в этих переулках и днем. Коннотации античного искусства куда-то улетучились с Дворцовой: на столб налипли ассоциации с какими-то политическими силами, в тоске по Фрейду меряющимися, чья медь крепче. Мост был забит аквариумами-консервами с безголовыми кильками, словно тоннель в начале «Восьми с половиной». Вот из одной банки вдруг повалил окурочный дым и под шум гудков начал вбираться в себя чистый воздух — будто сам мост загорелся, развелся, отрезая меня от прошлого. Я опаздывал. Дым, поднимаясь, делал тучи над моим путем все гуще. Ничего. Какие бы проблемы с учебой у меня ни начались из-за того, что я думаю лишь о нас с Аней, филфак все равно примет меня. Над филфаком никакие глупые мосты и реки не властны — как и сам породивший его город.

Вот и проходная. На вахте мои однокурсницы — Вика с Женей. Первая уже прошла, вторая лихорадочно ищет в сумке студенческий. «Ви-ик, позвони мне на студак...» — протянула девушка. Ее подруга, не растерявшись, с серьезным видом приложила свой студенческий к уху, как телефон-раскладушку. «Але?» Жеку скрутило от смеха, вахтерша попыталась бюрократически-сердито нахмуриться, но расплылась в улыбке: «Проходите». Я тоже улыбнулся. Настроение понемногу выправлялось. На обещанную седьмую историю не тянет, но я все равно расскажу — почему-то хочется поделиться.

Дворик филфака, по обыкновению подстроившись под настроение, встретил меня традиционной игрой света и тени. Да-да, хорошо, что сюда не пустили тучи (это постарались настоящие вахтеры — каменные и бронзовые, — решившие меня не тревожить). Солнечные часы ловили лучи дневного светила, затем рассылали их в разные места двора, где те обретали форму зайцев и самостоятельность. Темный бегемот, играя, гонялся за ними, но те ловко уворачивались или прятались в манящих загадочной глубиной норах. В общем, все как всегда. Я помахал одобрительно улыбнувшейся мне Баттерфляй. Ко мне подвинулась одна из стен факультета, доверчиво ткнулась в руку. Я, конечно, откликнулся и положил ладонь на теплый камень — кажется, след моей руки навсегда отпечатался на нем. Так я поприветствовал филфак, в котором на время и растворился.

\* \* \*

Знаете, в хороших компаниях рано или поздно (чем лучше компания — тем раньше) начинает складываться свой язык. Это связано с общими интересами, объединяющим опытом. Я хорошо чувствовал это в старшей школе. Знаете, как это бывает, когда

после занятий по философии ближайшие несколько лет на слова «Как ты это сделал?» машинально отвечаешь: «С помощью Хотара, огня и речи», а на сложные вопросы качаешь головой и говоришь: «Гарги, не спрашивай слишком много, или у тебя отвалится голова!» И тебя понимают, и игру продолжают, и проходящий мимо приятель обязательно через минуту состроит грустную мину, положит руку кому-нибудь на макушку и торжественно произнесет: «И вот у Шакальи отвалилась голова». Когда я попал на филфак, я боялся, что лишусь этого, но нет — новые дружеские группы быстро породили свои словечки, фразочки, бродячие цитаты из художественных текстов и речей преподавателей. Выяснилось, что поведение героев Аксенова или мечтателей Бертоллуччи, разыгрывающих на ходу те или иные сценки, было вполне реалистичным. Но как же это непередаваемо прекрасно, когда особый язык принадлежит только двум людям, которые очень быстро начинают друг друга понимать, и никто посторонний дешифровать этот язык не может. Это и есть знак дружбы или, как здесь, — чего-то большего. Так сложилось у нас с Аней.

Истории, которыми мы обменивались, множились, прогулки стали регулярными. В гобелене жизни две нитки сошлись и, укрепив друг друга, направились дальше — исследовать мировой узор вместе. Наверное, со стороны это могло показаться скучным. В интересной истории должен был бы найтись, например, соперник, желающий увести героиню, или хотя бы непреодолимые препятствия, встающие на пути у героя, — поперечные стежки в строке, бугорки под пальцем. Но к счастью, мы с Аней не были героями мелодрамы. Усталая мойра Клото неторопливо передвигала палец по линии наших жизней, проверяя, все ли ладно скроено, и оставалась довольна.

Меня тревожило порой лишь то, что я не знал, в каком именно темпе все должно развиваться. Как-то набрался смелости и подарил Ане цветы, так она чуть ли не испугалась. Мол, спасибо, но мы же друзья? Но затем я просто расслабился и не думал о том, как себя вести, — и все было хорошо.

Жизнь выстраивалась как крайне бессобытийный, но приятный роман. Я погрузился в новый, необычный мир, но отнюдь не падал в кроличью нору — о нет, я лишь осваивал окрестности своей уютной норы хоббита. Проще говоря, я, будучи нерешительным, никуда не торопился, и Аню все полностью устраивало. Мы просто гуляли, гуляли... Вокруг мелькали все те же места, и все так же мне не было до них дела. Мы будто катались на детской карусели, оседлав сказочно нелепых единорогов: рука в руке, в свободной — мороженое, и все это под глупую музыку и детский смех. Карусель волшебным образом трансформировалась прямо под нами, становясь все причудливее и длиннее, — это маршруты, наполняющиеся нашими разговорами, растягивались и принимали необычные формы. Сначала мы ходили до Невского, но державное течение людского потока мешало общаться по душам. Затем стали садиться в метро на Гостинке, но вы же знаете, сколько человек в середине дня прямо жаждут прикупить семье гостинцев в виде русско-китайских матрешек, медведей и футболок с Джеки Чаном... Затем ходили кружным путем до Восстания, но толпы, требовавшие скидок в «Галерее» или «Стокмане», и там пытались отвлечь от тихого разговора. В какой-то ясный день мы даже прошли от Седьмого Неба на филфаке прямо до Звездной, где жила Аня, — но и этого нам было мало. И в конце концов наши кони воспользовались своими сказочными силами и, ожив, понесли нас за пределы карусели, в путешествие, не снившееся и Бильбо Бэггинсу: мы начали договариваться о встречах за рамками маршрутов, берущих начало у филфака, мы гуляли по тихим улочкам, далеким от суеты и шума целенаправленного движения, спокойным, как книга, какую я хотел бы написать.

Все шло хорошо — до столкновения с Драконом. В этот момент одна из сестер Клото — видимо, Лахесис, отвечающая за превратности судьбы и прочие случайности, — решила выхватить веретено из рук подслеповатой товарки.

\* \* \*

Дракон, о котором идет речь, не был, вопреки распространенному мнению, представителем класса пресмыкающихся — он был птицей высокого полета и преподавал на филфаке с давних времен. Какой предмет — сказать трудно. Дело в том, что у Дракона было несколько любимых тем: пещеры, сокровища, принцессы. Иначе говоря: краеведение, вопросы литературного наследования и гастрономия. Выпускники говорили, что описание истории литературы без разбора конкретных произведений — это сознательный прием, дающий интересный взгляд на историю культуры. Но мне в это верилось с трудом. Чему бы ни была посвящена лекция, рассуждения касались только упомянутых тем. Только представьте:

— Как известно, Гораций перед обедом обязательно опрокидывал почти безалкогольный мультсум, а в жару для вдохновения потягивал разбавленное фалерское — из амфоры с двойными стенками. А вот Ломоносов, отчасти наследуя Горацию, за работой пил мартовское пиво со льдом. Ломоносов породил Державина, который, наследуя обоим, но играя с традицией, предпочитал смешивать алиатико с шампанским. Чувствуете тенденцию? Ну а Пушкин потом...

— Позвольте вопрос в сторону: а как же, скажем, тайный советник Гёте?

— Иоганн фон Гёте? Тот не пил... Но вот если бы жил у нас, обязательно глушил бы ерофеич, а потом породил бы Карамзина...

Но Драконом преподаватель звался не поэтому. И даже не потому, что порой, сидя на скульптуре Кантемира, плевался огнем в тех студентов, кто недостаточно почтительно отзывался о роли замечательного автора в реформе русского стиха. Просто Дракон был страшен в гневе, а гнев был его нормальным состоянием. Половина занятий была довольно предсказуемой и сводилась к агрессивной констатации печального факта, что студенты глупы, необразованны, ничего не читают, ничем не интересуются, не готовятся к парам ну и так далее. Дракона боялись как огня, тем более что, как я упомянул, огонь из его пасти вылетал частенько и то и дело опалял даже прилежных обитателей первых рядов.

И вот однажды, в очередной раз подкарауливая Аню, я обнаружил, что она топчется на месте недалеко от двери кабинета. От этого самого кабинета в страхе разбегалась стайка студентов: тут мелькнула и Ада, и даже откуда-то взявшийся модник псевдо-Сельвинский. Из дверей высовывались языки пламени, так и норовящие слизнуть кого-нибудь и затащить внутрь. Только парочка старшекурсников, сидящих неподалеку, невозмутимо надели по шлему от водолазного скафандра и продолжили беседу (не знаю уж как). Аня почему-то не спешила уходить.

— Я забыла там телефон.

Я встретил ее испуганный взгляд и смутился.

— Ничего, сейчас все будет хорошо! — браво воскликнул я. Люблю эту фразу. Жаль, она обычно не работает.

— Да, конечно, — ответила Аня, пожимая плечами. Потом справилась с собой и подмигнула мне: — Я сейчас пойду в столовую, напьюсь там чаю из комплексного обеда, наберусь смелости и... дождусь следующего перерыва, чтобы незаметно пробраться в кабинет.

— Ого, полегче! — подхватил я. — Вот это дерзость! Ты аккуратней с комплексным обедом, как хряпнешь местного супа-харчо, так сама всех подожжешь.

— Это точно, пусть боится меня! Рррр... — мелодично прокартавила она, и я растаял. — Составишь мне компанию?

— Обязательно, вот только... на минутку задержусь, сейчас догоню! — бодро ответил я, лихорадочно прикидывая варианты.

Аня ушла, и теперь уже я топтался в нерешительности. Может, надо было погеройствовать при ней? А вдруг не решусь? Или решусь, но не получится? Легенды филфака хранят память о тех, кто когда-то рисковал прервать лекцию Дракона. Впрочем, «легенды» эти обычно крайне обрывочны, состоят буквально из нескольких слов, среди которых «вой», «пепел», «ярость», «мольба»... снова «пепел». Так что точнее будет сказать, что легенды помнят: такие герои были — но недолго. С Драконом пытались справиться по-разному. Входили с белым флагом, взятым на манер копья. Со сборником духовных стихов, взятых на манер щита. Входили в одежде электриков, якобы вынужденных проверить что-то. Один раз электрики даже были настоящими. С тех пор на факультете перебой с энергией — в основном она генерируется вертящимися в гробах классиками. А кучки пепла на сборнике духовных стихов, помнится, тогда выдали за результат недостаточно квалифицированного обращения с электрическим щитом.

В общем, уже много лет никто не входил в логово Дракона без приглашения, а я ведь всего лишь влюбленный чудак — и даже без костюма электрика.

Однажды в юности мы с приятелями — Владом и Германом — на заброшенном футбольном поле учились делать сальто назад. Помнится, они встали по бокам, чтобы, если что, меня подстраховать, и сказали, что на счет «три» я должен прыгнуть. Я понял, что мне очень страшно и на «три» я не выдержу и откажусь. Поэтому, когда Влад сказал: «Один», я сам рывкнул: «Три!» — и прыгнул. Как несложно догадаться, от неожиданности оба они сделали шаг назад... Помню скользкий удар волосами по песку. Влад, наверное, спас мою жизнь, в последний момент все же рванувшись вперед и с размаху ударив мне по ногам, доворачивая так, чтоб я впился в землю не вертикально. К чему это я вспомнил? Наверное, к тому, что последнюю мысль я додумывал, уже зайдя в кабинет — без какого бы то ни было плана.

Дракон, обвинивший кафедру, что-то приговаривал, гипнотически глядя на студентов. Величественный, золотой. Семеро прилипших к своему месту слушателей, как послушные кролики, успешно гипнотизировались. А вот и телефон Ани — лежит на пустой парте, блазнит меня, сверкает, словно серебро при огне, словно вода на солнце, словно снег под звездами, словно дождь под луной... Но чтоб его взять, надо пересечь кабинет. Просунувшиеся вслед за мной цикады предательски застрекотали, привлекая внимание древнего преподавателя. Я почувствовал, что оказался под взглядом Дракона. Я такой маленький, почти невидимый... и почему-то жутко мохнолапый. Дракон, кажется, был просто поражен моей дерзостью. Я успел сделать шаг назад в момент, когда он начал набирать воздух.

Под дикий рык я выскочил за дверь, отбиваясь от цепких лап огня, норивших ухватить меня за пятки. Да уж, вот теперь я уже не мохнолапый... да и на затылке волос поубавилось. Старшекурсники в коридоре, уже снявшие скафандры, неодобрительно посмотрели на меня, а затем перевели взгляд на что-то, неторопливо выползающее из-под лежащих на полу шлемов. Я присмотрелся. Две маленькие улитки ползли рядом, постепенно срастаясь, увеличиваясь в размерах и обретая облик скульптуры улитки, обычно обретающейся во двореке. Да уж, чего только не бывает на филфаке. Я посмотрел на закрывшуюся дверь. Эх, как же так получилось, что я вошел пря-

мо на середине фразы Дракона! Если б только можно было каким-то образом услышать отсюда, что происходит внутри, да выбрать подходящий момент... Но нет, ничего не слышно. Зато слышен разговор старшекурсников.

— Сериал правда качественнее. В книжке читательские ожидания на самом деле почти не нарушаются. Появляется новая информация — да, но все это касается лишь уровня предметного мира, а игры с читателем нет...

— Что ты имеешь в виду?

— Ну вот смотри. Помнишь бой Бронна с этим «лучшим рыцарем королевства»?

— А, ну да, я понял. Там говорится, что Тирион в безвыходном положении. Он может спастись лишь в том случае, если никому не известный наемник победит лучшего рыцаря королевства. Долго описывается, как хорош был рыцарь, в каких прекрасных он доспехах, в то время как наемник собрался выйти без серьезной брони. Отмечается, что все убеждены в победе рыцаря. Это значит, что победа наемника будет неожиданной — для большинства персонажей. Но читатель, знакомый с шаблонами романтического боевика, на самом-то деле ожидает, что наемник выиграет.

— Вот-вот! Он пишет все «по правилам», как будто на сценариста отучился. Не может выйти за рамки привычной художественной системы. Ему в голову вбили, что каждый персонаж, каждая сцена... — все должно быть функционально обусловлено. И он, как и многие, бездумно следует этому правилу, как его понимает. У каждого заметного героя должна быть арка, и пока нужного изменения не произошло, герой не исчезнет. Это сводит на нет хваленую неожиданность — неожиданными могут быть лишь линии жизни второстепенных героев. Во время боя на Черноводной и после него ты ни на секунду не сомневаешься, что Тирион выживет, потому что когда-то давно он рассказал Бронну о своей первой жене и о том, что сделал с ней его отец, а затем, глядя в костер, произнес пафосную фразу: «Ланнис-стеры всегда платят долги!» Очевидно же, что в какой-то момент Тирион должен как-то «припомнить» происходящее отцу, «отплатить» ему. А пока соответствующей сцены не было, карлик не может быть из сюжета...

— А ведь можно было бы так поиграть с ожиданиями читателя. Вот представь, что было бы все то же самое, все эти тянущиеся в будущие сюжетные линии, завязанные на Тирионе...

— Да-да, понял твою мысль! И допустим, фразу «Ланнистеры всегда платят долги!» он произнес бы раньше...

— Да! А дальше сцена того боя в Орлином Гнезде выглядела бы так: «И вот бой начался. Лучший рыцарь королевства, пыхтя, подошел к непонятно почему усмехающемуся Бронну, сделал стремительный выпад и шиб голову наемника с плеч».

— «И ее скинули со скалы вслед за карликом». Или еще лучше: «И вот Бронн измотал соперника и пронзил его. Тогда послали за Тирионом и обнаружили, что тот перевернулся во сне и еще до боя слетел со скалы...»

Несмотря на то, что я, вообще-то, был в разгаре (лучше слова не придумаешь) подвига, я заинтересовался этим случайным разговором, так что последнюю минуту внимательно слушал. В конце концов, плюнув на стеснительность, которая, к счастью, за время обучения на филфаке заметно ослабла, вмешался в разговор:

— Слушайте, а о чем вы вообще?

Старшекурсники посмотрели на меня и снисходительно ответили:

— О том, что даже это бессмысленное происшествие, — один из них кивнул на дверь, откуда я недавно вывалился, — может стать «событием» в художественном тексте.

— Видишь ли, — подхватил другой, — в современных нормативных поэтиках совершенно не уделяется внимания игре повествователя с читателем, все сосредоточены

лишь на повествуемом, изображенном мире. Вот смотри: «Вася вошел в комнату. Медленно подошел к окну. Затем сел за стол и начал есть суп».

— А вот другой текст, — парочка перебрасывала клубок мысли ловко, словно сыгравшиеся игроки мяч. — «Вася вошел в комнату. Никто не набросился на него с ножом. Он медленно подошел к окну. Не боится ли он чего-то? Но стекло не рассыпалось от выстрела, поразившего героя. Вася сел за стол и начал есть суп — тот не был отравлен».

— Понял? Один предметный ряд, два очень разных текста.

— Это все прекрасно, но, вообще-то, я хотел узнать, как это, — теперь на дверь кивнул уже я, — может стать настолько событийным, чтоб помочь мне завоевать девушку.

Парни переглянулись и попробовали объяснить еще раз.

— Не нужно бояться рисковать — нужно нарушать «правила»...

— Да я вроде бы храбро вошел к Дракону, к которому никто не осмеливался...

Они смотрели на меня со скорбным умилением.

— Ладно. Давай по-другому попробуем. Помнишь Скафтымова? Если Большов у Островского читает газету, прочитанное как-то свяжется с сюжетом.

— А когда чеховский Чебутыкин читает в газете про Цицикар, никакого сюжетного смысла в этом нет — и не надо...

— Кстати, интересная массовая литература часто идет еще дальше: в стороны от основного повествования расходятся сюжетные линии, которые вообще нигде не пригодятся в основной истории...

Я чувствовал, что перестал понимать что бы то ни было. Парни вздохнули, махнули на меня рукой, поднялись и начали собираться, оставив пожаростойкое снаряжение на полу.

— Так что мне делать-то? — умоляюще спросил я.

Получил два ответа:

— Подумай, если описываемые события ни к чему не ведут, почему тебе важно так подробно об этом рассказывать? Если в этом нет предметного смысла, то какой есть?

— Пойми, что мир расходится во все стороны, так как должен существовать сам по себе. Не всегда он крутится вокруг тебя. Только тогда мир кажется автономным, реальным.

— Надеюсь, когда-нибудь то, что вы сказали, мне пригодится, — кисло выдавил я. Мои собеседники в последний раз обреченно переглянулись. — Мудрость старшекурсников, все дела...

— А с чего ты взял, что мы старшекурсники? Неужели мы так похожи на людей?

— А с чего ты взял, что мы старшекурсники? Неужели мы так похожи на людей?

Какое-то время наблюдал, как парни удаляются в сторону Стойла — местной кофейни. Вот за ними мелькнули другие люди, вот стал виден холодильник, вот две палочки от ценников вдруг оказались над головой одного, а светлая шевелюра какого-то высоченного студента на мгновение застыла полукругом над головой другого...

Интересно, принесет ли мне эта встреча хоть что-то. Мой задумчивый взгляд остановился на брошенной у кабинета экипировке. Может, и принесет. Надо просто сменить тактику. Что если Дракона можно просто... вежливо попросить? Кажется, так никто не делал.

И вот я с трудом вздохнул. С трудом — потому что в шлеме от скафандра особо не надышишься. Постучал в дверь кабинета и вошел.

\* \* \*

Все время, пока мы ждали перерыва в столовой, Аня тактично не спрашивала, где это я так почернел и что на мне за ошметки.

\* \* \*

После столкновения с Драконом все шло, как раньше. Клото не выпустила из цепких пальцев веретено, и ее сестрица, поворчав, отступила. Может быть, можно было бы и не рассказывать о некоторых событиях — нет, так, происшествиях, которые ничего не меняют — но уж очень хочется продлить то время любви, переживаемое заново. Мы с Аней гуляли после пар, беседовали... Мы познакомились с друзьями друг друга, благо на филфаке это происходит запросто. В общей компании мы обсуждали пары, ходили по музеям, ездили в пригороды, пили шампанское во дворике после тяжелых экзаменов... Аня, сама того не зная, толкала меня на безумства, довольно нехарактерные для такого зануды, как я. Например, я начал, пусть и с трудом, учить древние языки, необходимые для базового филологического волшебства.

Представьте такую картину. Филфак, чудный денек, идет пара, но во дворе довольно много студентов, наслаждающихся яркими солнечными красками и сиреневым весенним запахом. Аня все в той же аудитории Райского Уголка — почему-то именно там у них проходили пары по латыни с обсуждением «Нравственных писем» Сенеки. Я во дворике. Какой-то важный господин в мундире, прогуливающийся по двору в странной компании, все пытается сунуть свой нос в то, что я делаю, но я его почти не замечаю.

Дело в том, что я отчаянно пытаюсь сотворить что-то романтическое. Со стороны, впрочем, выглядит так, будто я хрипло ору на дуру птицу со скульптуры «Хор», хотя и понимаю, что дураком выгляжу именно я. Медный соловей ехидно что-то насвистывает у меня за спиной и не крутит пальцем у виска только потому, что творческая эволюция не наградила его этим самым пальцем. Видите ли, голубка всегда взлетает, когда слышит красивую музыку, но, видимо, моего задушевного пения ей мало. Наконец я пытаюсь хотя бы просто мелодично засвистеть. Ну, хоть какой-то результат: голубка испуганно подпрыгивает, соловей от ужаса пытается закрыть уши лапами и падает с ветки — так тебе и надо!

«Эй, ж-житель, лети ж-же...» — бессильно шепчу я, однако стрекот цикад ничего не меняет — и лишь сама строчка, вылетевшая из моего рта, какой-то нелепой болотной птицей взмывает вверх, но промахивается мимо заветного окна. «Косо лети же, житель осок» — соображаю я, пока строка пропадает где-то за горизонтом.

Ко мне подходит Баттерфляй и приобнимает, бросив понимающий взгляд в окно, за которым виднеется Аня. Я почему-то слегка напрягаюсь, уставившись в землю. Баттерфляй почти прижимает губы к моей шее и кое-что шепчет. Я удивленно поднимаю глаза и понимаю, что данный ей совет весьма неплох. Достая листок бумаги и стараюсь применить полученные на Филфаке знания. Я старательно вывожу буквы, а затем, снова и снова повторяя написанное, начинаю складывать лист в бумажный самолетик. Получается! Бумага обретает волю и движется уже сама по себе. За волей появляется и эстетический вкус, правда, столь же странный, как у меня: лист меняет форму и складывается уже не в самолетик, а в немножко скомканного, уже помятого жизнью небольшого белого голубя. Из воли и вкуса рождаются разум и жажда жизненной цели. Голубь под недоуменными взглядами пернатых взлетает, почему-то хромая

на одно крыло, но в итоге уверенно врежется в стекло, за которым видна Аня. Девушка удивленно приоткрывает окно, и моя птица радостным комком вваливается внутрь. Соловей ревниво взвизгивает вверх, чтоб лучше видеть происходящее. Аня бросает преисполненный любопытства взгляд во дворик, а я поднимаю глаза к небу, мол, я тут вообще случайно. Аня оглядывает двор, улыбается, щекочет голубя, тот умиротворенно раскрывается и раскладывается в не такой уж мятый листок. Аня смотрит на написанные мной строчки, и улыбка превращается в смущенный смешок:

Без тебя нет жизни — кошки душу мне скребук.  
Persuade tibi hoc sic esse ut scribunt.

Аня, упершись левой рукой в лоб и закрывшись от всех в аудитории волосами, берет ручку и зачеркивает s после tibi. Затем ручка подбирается к спрятавшемуся сбоку unt и неуверенно застывает. Аня, задумчиво обведя неправильное окончание, дописывает:

quaedam tempora eripiuntur nobis,  
quaedam subducuntur, quaedam effluunt.

Вдруг окружающий мир напоминает о своем существовании. Преподаватель заинтересованно спрашивает, чем занята студентка, и Аня испуганно вздрагивает. Листок, подхваченный порывом ветра, вылетает в окно. Бронзовый соловей рассерженно кричит, да так, что с ближайших деревьев отрывается несколько листьев — они поднимаются вверх, затем, кружась, подхватывают мой листок, и вот они опускаются вниз уже вместе. Они не успевают упасть на землю. Налетает ветер, и вся стая — в том числе лист со «стихотворением», — выписывая плавные пируэты, отлетает далеко в сторону и, кажется, залетает в арку, ведущую с филфака.

Я поднимаю глаза, чтоб взглянуть на Аню, и вижу вместо нее своего преподавателя латыни, всем своим видом напоминающего, что последние несколько пар я пропустил.

\* \* \*

Подобных историй было много. Филфак помогает влюбленным, да и город вокруг, кажется, решил на время забыть о врожденной враждебности к простым людям. Как-то мы стояли рядом с Гостинкой, старательно оттягивая момент, когда нужно будет разойтись в разные стороны. И тут вдруг увидели Дракона, стоящего рядом с нами. Надо сказать, что в городе он утратил свой пугающий вид и разнообразия ради выглядел как немолодой толстячок с задумчиво устремленными куда-то вверх глазами.

— Ох, коллеги, здравствуйте, — на удивление добродушно поприветствовал нас Дракон, причмокнув губами. — Все вот-вот соберутся, и мы начнем.

Мы притихли, то ли удивленные неожиданным преображением, то ли заинтригованные историей, в которую вдруг оказались втянуты. Через пару минут к нам присоединилось человек десять, и загадка разрешилась:

— Друзья! Дорог город! Мы начинаем нашу экскурсию... по литературным местам Петербурга! — торжественно объявил Дракон, а затем добавил заговорщицким шепотом: — Напоминаю, у нас сегодня особый маршрут, проходящий по знаковым литературным пивным заведениям — с полным погружением в роль, дегустацией и соответствующими историческими комментариями.

Ни одна экскурсия в моей жизни даже рядом не стояла с этой. Помнится, тогда я и переосмыслил отношение к Дракону. Мы кружили и кружили спрятанными от ши-

рокой публики переулками, неожиданными путями приобщаясь к Довлатову и Достоевскому, к Пушкину и Державину, погружаясь все глубже во время и пространство. В этот день я понял, что наш город — девушка. Блистательная столица, культурная столица, подпольная столица. Дракон знал к ней подход: под его гипнотическую речь она открывала свои тайны, танцует интеллектуальный стриптиз.

В общем, мы с Аней пришли в себя уже вечером, отбившись от группы, окончательно заплутав — оказавшись под каким-то балконом. Я машинально глянул на табличку на доме — Пушкинская, 20. Людей вокруг почти нет, царит умиротворяющая тишина весеннего вечера, когда самый громкий звук — это маленький треск счастья на периферии слуха — от закатного солнца, попавшего на кожу возлюбленной. С таким звуком в лучшие моменты рвется ощущение реальности. Я попытался осмыслить происходящее логически — и в этом, конечно, была моя ошибка. Аня, долги по учебе, экскурсия, узоры на этом балконе... И вдруг мысли, запутавшиеся, словно наушники в кармане, оказались разрублены фразой:

— Нам надо поговорить.

Аня встряхнула волосами — таким знакомым, родным жестом — и посмотрела на меня неожиданно серьезным взглядом. Кажется, встреча с Драконом все-таки была не к добру.

Аня сказала, мол, это мило, что мы так много общаемся, но ей хочется узнать, нет ли вопросов, которые я, такой наивный, желаю задать прямо. Но нет же, мы просто часто заканчиваем занятия в одно время да весело бредем вместе до дома, а то и встречаемся в городе просто так. Вот только, как выяснилось, я каким-то образом искренне не замечаю, что периодически мы всерьез ссоримся по поводу того, что она, видите ли, ходит на чересчур популярные лекции, часто пропадает невесть где, а я, знаете ли, все время караулю ее у аудитории, шагу не давая ступить... А когда речь заходит об искусстве или человеческих отношениях, все время ссылаюсь на советы какой-то загадочной подруги, а сам — повторяется она — даже прямо спросить не могу о том, что меня гложет...

Как бы я хотел тогда, чтоб подпорки балкона вдруг, зашипев, растаяли или улетели, и меня погребли бы куски бетона, милосердно спасая от этого разговора. Я-то был уверен, что мы — самые счастливые людьми на земле. Откуда этот неприятный разговор? Он же ничем не мотивирован! Такой ненужный конфликт предстает просто тяжелой данью шаблонным плохим сюжетам... А вот Аня была убеждена, что мы давно уверенно шли к чему-то подобному.

Все в жизни как-то резко усложнилось. Что произошло? Тут и Пушкин бы не смог разобраться — да за пределами филфака его и не дожدهшься... Что там возомнили о себе эти мойры?

\* \* \*

Удивительно, но именно после этого жуткого разговора я вдруг научился слышать голос филфака. Это обрывки разговоров, которые когда-то понравились факультету — они и по сей день бродят призраками по коридорам, то пугая, то увлекая давно скрывшейся во времени тайной...

— ...Как думаешь, трактор — это «усиленная самоходная повозка» или «боевая повозка, приспособленная для сельскохозяйственных нужд»? Последнее не совсем точно, но зато возникают нужные ассоциации. Впрочем, в ритм с трудом ляжет...

- Ого, это вы еще не закончили перевод «Аллюминиевых огурцов»?
- На латынь закончили, сейчас с древнереческим сидим...

...Здесь все другое. Речь — это божественный дар. Слово может творить мир вокруг. Но в даре скрыт и божественный подвох. Слово может разрушать мир. Мат — это одновременно что-то сакральное, табуированное, страшное. Красивая идея. Но бездумный мат разрушает речь, теряет смысл, обнажает бессилие говорящего. На филфаке мат часто бывает другой. Тут я впервые смог воспринять мат как что-то эстетическое. Но это редкость. Стоит попробовать это тиражировать, и он снова превратится в яд моды и привычки...

- ...Чего приуныл?
- Думаю о бессмысленности бытия...
- Я бы попробовала угадать, с какой пары ты вышел, но тут слишком много вариантов...

— «Ха-ха». Слушай, я серьезно. Я очень люблю некоторых своих однокурсников, но вот с некоторыми я тут пообщался... Знаешь такой тип людей, что собираются вместе, чтобы с пафосным видом поперебрасываться цитатами из Бродского — без какого бы то ни было понимания? Они обычно загадочно намекают друг другу на вселенскую тоску, которая овладевает ими по ночам, а потом обсуждают, как духовно неразвиты окружающие...

— Да-да, знаю. Из таких потом вырастают псевдоученые или люди, крутящиеся около «культуры», которые любят с напускной отрешенностью бросаться «умными» словами, говоря при этом или глупости, или прописные истины... И чего? Ты что, впервые осознал, что моде подвержены не только блондинки из анекдотов?

— Нет, я задумался над тем, что люблю Бродского, и мне неприятно. Со стороны, может, и не поймешь, что я от них отличаюсь...

- Так далась тебе эта «сторона»?

— Да нет, не то говорю! Просто... Ну, я опять думаю о том, что русский рок превратился в попсу. Более того, что многое из того, на чем я вырос, и было типичной попсой. Знаешь, когда в тексте встречается что-то странное, ты можешь надеяться, что это ты чего-то не понимаешь. Но бывают случаи... Вот, скажем, эту ужасные перепевки. В детстве мне нравилась одна песня Арбениной, хотя кое-что в ней было для меня загадкой. Тут я ее случайно услышал, вспомнил, осознал, что это «Я всегда твердил, что судьба игра» Бродского. Я задумался над текстом, разобрался в нем, понял. Потом переслушал песню. Эта тетка ведь вообще не понимает, что поет. Она думает, что, перемешав строчки, смысла добавит?! Это же извращение. И по мелким неточностям видно, что поет бездумно. А Васильев, перепевающий «Конец прекрасной эпохи»? Вот в чем был смысл выкинуть одну строфу? — можно подумать, остальные он понял... А как он извратил «Петербургскую свадьбу», наплевав на все структурные функции башлачевского ритма? Текст воспроизводится бездумно, и от смысла не остается ничего. Такие примеры бесконечны... Серый запах вместо серного в «Орландине», а потом вообще гениальный исполнитель Федоров, настолько воинственно-невежественный в плане непонимания текстов Озерского...

— Подожди-подожди... Ну да, все так. Но чего ты переживаешь? Для подростка, каким ты был, и «Сплин» был важен, да и авторы похуже... Теперь ты вырос, ну и прекрасно. Но помнишь, как мы радостно орали пьяные «Сплина» после «Окопа»? Как заливались общей ностальгией?

— Ну... помню.

— Ну! А теперь, положи руку на сердце, скажи, что тебе приходит в голову, когда я упоминаю про «Сплин».

— Воспоминания...

— Так! А из текстов?

— «Дай, Джим, на лапу счастье мне...» Очень классно он тут поиграл, так и хочется эту фразу раскрутить и придумать по-настоящему интересную историю... Дай лапу — верность, дай на лапу — подлость. Джим, подкупи меня счастьем. Джим, ради меня — подкупи счастье...

— Вот! И я думаю, что один из хороших способов измерить «эстетическую значимость» текста — посмотреть, на какие творческие идеи тебя самого этот текст наталкивает. Плюнь ты на глупость Васильева-человека, храни ностальгический образ «Сплина» из детства! Помни, как ты со своим первым mp3-плеером ловил их песни на радио, чтоб нажать запись, а потом старался всю песню не дышать, ловя наушниками сигнал получше. И спой, наконец, мне что-нибудь, я не просто так тебе гитару принесла!..

...Слово человека сотворило Бога, слово Бога — человеческий мир. И одной, и другой стороне скучно без словотворчества, ибо этот процесс — и есть жизнь. Но на что этот процесс направлен сейчас?.. Блудный сын милее отцу, потому что, раскаявшись, сделал сознательный выбор. Прочувствовать речь как дар свыше можно лишь тогда, когда язык загрязнится, запутается, рассыплется и из хаоса нужно будет родиться чему-то новому. Близость человечества к смерти и забвению, возможно, даст людям шанс на краткий миг ощутить красоту разрушенного ими бытия и катарсическое желание построить новый дом...

Я вздрогнул и вернулся в реальность. Мы с Баттерфляй расположились во дворике. Она лежала на изогнутой скамейке, утопая в весенних листьях, почему-то слетевших с близлежащего дерева и облепивших ее. В какой-то миг она даже напомнила мне Офелию. Вот она во сне изменила позу, положив под голову согнутый локоть правой руки. Листья упали, обнажив ее. Ее мог бы нарисовать Тициан, если бы у него был более чуткий вкус к женской красоте. Я огляделся и понял, что пора ее будить — представление вот-вот разыграется в полную силу.

Дело в том, что во дворике разворачивались сразу два действия. Рядом с Мандельштамами играли студенты, соревнуясь в палиндромах. Ими руководила Ада — почему-то из бывших участников уже почти никого не осталось. От играющих отделился и, сердито поглядев на меня, прошел мимо тот самый модно одетый парень, который пытался сжульничать с помощью Сельвинского. Видимо, он понял, кто я такой, и во мне, как в зачинателе игры, увидел соперника и причину его неудачи.

Ну а в центре двора шла свадьба. И схватка. И что-то еще. Это ролевики — в этот день они ставили какую-то сценку. Особенно интересен был главный герой. Рыцарь в доспехах с шипами на плечах, с забралом в виде вытянутой собачьей морды, сделанной каким-то образом из кожуры каштана. Ростом он был сантиметров тридцать. Дело в том, что играл эту роль лукавый Бегемот, он же и был автором эпатажного костюма. Кажется, он всегда хотел походить на какое-то колоссальных размеров чудище, но, увы... физически он был просто бегемотиком. Хотя кого волнует физика на филфаке! Незадолго до представления он кричал на весь двор: «Это же роль специально для меня! Я так люблю разные неожиданные перевоплощения!»

Меня всегда больше интересовали соревнования палиндромщиков. А вот Баттерфляй не упускала случая посмотреть на разыгрываемые представления. Она сбросила

ла с себя дрему и теперь выслушивала мои занудные стенания, иногда переводя заинтересованный взгляд с Бегемота на меня. Вот я сказал:

— Понимаешь, она так красива... Когда я смотрю на нее, как будто люблю картину прерафаэлитов...

Баттерфляй не шевельнулась, напряженно наблюдая за тем, что происходило на импровизированной сцене. На удивление холодным — с металлическим оттенком — голосом она поинтересовалась:

— Ну, ты же не за красоту ее любишь, правда? Не за эстетический восторг?

— Да-да, да... — поспешно согласился я и вздохнул. — Ах, все неважно. Мы снова повздорили из-за какой-то ерунды...

Баттерфляй сочувственно посмотрела на меня враз потеплевшим взглядом. Я угрюмо продолжил:

— Это просто какой-то абсурд. Ну вот сколько на свете пар, которые могут серьезно поспорить из-за постмодернизма? Причем речь идет даже не о литературном вкусе — это бы с полбеды — так мы не сошлись во мнениях по поводу того, можно ли вообще говорить о существовании такого явления.

Баттерфляй как будто удивленно огляделась по сторонам.

— И в чем именно была суть спора?

— Ну, я доказывал, что постмодернизма — как направления второй половины двадцатого века — не существует. Пушкин и Гоголь ничуть не менее «постмодернистичны», чем Пелевин или Сорокин. Я уж не говорю про каких-нибудь обэриутов — и я имею в виду не только поэтику, но и мироощущение... — Я размахивал руками от возмущения. — Короче, мы же просто придумали себе зачем-то, что есть что-то, и делаем вид, что оно существует, вот и получается так, что оно якобы действительно существует...

Баттерфляй заинтересованно уставилась на меня.

— И что на все это сказала Аня?

— Да ничего такого, просто... — Я с досадой отмахнулся. — Она не понимает. И да, конечно, она знает, что я считаю ущербными многие идеи, которые традиционно считают «постмодернистскими». Наверняка думает, что этим объясняются мои нападки. Но я ведь не говорю, что постмодернизм плохой, я говорю, что его в принципе нет.

— Так и все-таки что она сказала?

— Чего нихватишься, ничего нет! А если серьезно, она просто не хочет понять мою позицию. Но она же очевидна! Помнишь анекдот? Постмодернист может сколько угодно рассуждать о том, что все бессмысленно, что означаемое врет, а означаемое исчезает, но если он будет переходить шоссе на красный свет (ведь красный ничего не значит!), он рискует быть сбитым машиной...

Между тем представление достигло апогея. Звенели мечи, визжали дамы. Кажется, одна из них собралась разрушить весь двор своим убойным криком. Но вдруг ей пришлось прерваться. Бегемот выполз из доспеха, подбросил шлем, и звук, поддавшись мановению почти всесильной на филфаке лапы, свернулся в воронку и туда — в шлем — и устремился. Девушка продолжала бесшумно раскрывать рот, Бегемот же приладил шлем к доспеху, и звуковая волна ударила в землю, образовав небольшую дыру, куда вся эта груда железа и каштановых шкурок и провалилась. Лишь верхушка шлема осталась торчать, укрывая остатки бутафории. Бегемот торжественно оглядел зрителей и участников представления. Надо сказать, он серьезно отнесся к своей роли — в этот день все его маленькое тельце было усеяно прилепленными к нему иглами. К спине прицепился все тот же каштан.

— Я люблю превращения, — вел филфаковский дух загадочную речь, как будто специально напуская туману. — Они могут привести к истине. Могут окончательно запутать...

Тумана, напускаемого Бегемотом, становилось все больше. Он уже окончательно скрыл фигуру говорящего, начал обволакивать центр двора. Бегемот продолжал, голос его казался то дальше, то ближе, впрочем, слова уже трудно было разобрать. Наконец все пространство, где разыгрывался спектакль, оказалось укрыто туманной шапкой, образовавшей четкий круг, за пределами которого все оставалось ясно. Вдруг раздались удивленные возгласы. Бегемот с закрытыми глазами вынырнул в неожиданном месте — в углу двора. Он плюхнулся прямо в кольцо, образованное любителями палиндромов. Очередной выступающий уступил место живой скульптуре. Тот, не открывая глаз, на задних лапах двинулся вперед, намереваясь пройти импровизированную сцену насквозь. Сначала шел легко, чуть не вприпрыжку. В самом центре что-то в его походке изменилось. Как будто двигаться стало тяжелее. Бегемот шел, подавшись вперед. В какой-то момент показалось, будто он оттягивал собой невидимую тетиву исполинского лука. Под конец зверек задрожал от напряжения, но все-таки справился, дошел до конца, открыл глаза.

Дрожь усилилась, и вдруг раздался хлопок: все иголки, приделанные к скульптуре, оторвались и полетели в обратном направлении. Бегемот радостно вздохнул и куда-то ушмыгнул. Иглы, оторвавшиеся от его спины, долетели до центра круга — места, где читают свои палиндромы выступающие, — и начали складываться в какую-то фигуру. Цикады, по обыкновению наблюдавшие за соревнующимися, стали недоуменно переглядываться, словно пытаясь понять, петь им или нет. Между тем иглы превратились в линии, линии превратились в фигуру, фигура покинула круг и направилась напрямик к нам. Кажется, я стал свидетелем редчайшей сцены: я наблюдал рождение обитателя филфака.

Игнорируя мое существование, новоявленная скульптура обратилась к Баттерфляй:

— Мадам, позвольте представиться — подпоручик Кижэ. — Он склонился в поклоне, взмахнув шляпой. Баттерфляй, оглянувшись на меня, смущенно улыбнулась. Кижэ сделал шаг вперед и заговорщицки зашептал ей на ухо: — Видите ли, я, в силу некоторых особенностей своей натуры, неплохо разбираюсь в некоторых аспектах всего... недосказанного. Так вот, ваш собеседник — по своей натуре — все никак не может процитировать, что же отвечала ему героиня его истории. Я помогу. Она сказала, — тут Кижэ попытался подражать Аниному грассированию: — «Ты же понимаешь, что ты сейчас описал симулякр? Разве описанная тобой ситуация парадоксальным образом не обосновывает и не объясняет существование постмодернизма?»

Баттерфляй прыснула от неожиданности, затем виновато посмотрела на меня.

— Ну-ну, не надо дуться, — сказал Кижэ и вдруг щелкнул меня по носу. Было холодно и больно. Я ошарашенно смотрел вслед поспешно ретировавшемуся подпоручику. Он зашел в дверь, рядом с которой стоял Чемодан Бродского. Оттуда путь или в столовую, или к административным кабинетам. Интересно, куда отправился Кижэ?

Я встряхнул головой и встал со скамьи.

— Ладно, мне пора. Лекция сейчас кончится, я хотел посмотреть, куда пойдет Аня.

Баттерфляй огорченно покачала головой. Я начал оправдываться:

— Ну а что? Я ж не слезкой тут занимаюсь. Просто... Она говорила, что очень занята сейчас, так как собирает материал для доклада. Если это так, мое присутствие ей не помешает... Она же не на свидание с кем-нибудь идет...

Баттерфляй вздохнула и тихо произнесла:

— Послушай, я скульптура. Я верю в художественное провидение, так что, на мой взгляд, что бы ты ни делал, если уж вам суждено быть вместе, вы будете вместе, не смотря на все твои глупости и подлости. Но скажи, ты хоть заметил, что сегодня впервые, говоря о вас с Аней, употребил слово «пара»? — Она посмотрела на меня,

грустно усмехнулась и продолжила: — Нет, ты был слишком занят, продумывая обвинительную речь... Как бы то ни было, если я все-таки неправильно оцениваю происходящее и твой мир — не художественный текст, то лучшим вариантом будет просто с ней поговорить.

Я проямил что-то невнятное и отошел. Затем вернулся. Баттерфляй холодно смотрела на молчаливого нахохлившегося соловья, присевшего на спинку скамейки. Я вздохнул.

— Я очень ценю твои советы. Ты — живое воплощение искусства, реализованная метонимия всего прекрасного и чуть ли не самая близкая для меня сущность. Ты всегда будешь в моем сердце — так или иначе. — Баттерфляй явно оттаяла и подняла бронзовые веки, уставившись на меня на меня чистыми, почти зеркальными глазами, в которых отражалась моя смущенная душа. — Я всегда буду ценить тебя, и ты всегда можешь рассчитывать на меня. Но ты не лучший советчик, если речь идет о реальной жизни, прости.

Глаза скульптуры потухли, лицо окаменело. Баттерфляй ничего не ответила. Я ушел.

\* \* \*

Я окончательно утратил дар речи. Не припомню, чтоб так напивался в одиночку. Ну, как в одиночку. Кто-то за соседним столом заунывно насвистывал то «Дрянь», то «Седьмое небо». Я пил в «Окопе». Как это знаменитое место стало университетским баром — ума не приложу. Наверное, дело в самом дешевом василеостровском на Ваське, при этом довольно вкусно. А может, дело в принципе противоположности. Милитаристская тематика, модели боевой авиатехники под потолком, схематичные человечки на стенах, танцующие на фоне ядерных взрывов, массивные грязные столы и скамьи... И в этом антураже — хрупкие студентки близлежащих факультетов, которых так и хочется от чего-нибудь защитить. Одно их присутствие посрамляет абсурд окружающей обстановки. Впрочем, на самом деле публика здесь самая разнообразная. Когда мне впервые отрекомендовали «Окоп», сказали следующее: «Здесь собираются студенты, бездомные и преподаватели — только не пытайся угадать, кто есть кто».

В общем, место знаменитое. Здесь можно играть на гитаре, здесь можно пить за счет бармена и владельца Арифа — если, конечно, ты постоянный клиент. Помню, я как-то уговорил его пустить меня на кухню. Мы с Аней тогда заказали горячие бутерброды. Я решил сделать сюрприз и вывел на них кетчупом Анино имя, а она съела и не заметила...

«Окоп»... Здесь всегда можно кого-нибудь встретить. Я вот в этот день коротал вечер в компании зашедших на огонек собственных воспоминаний. Вот передо мной сидит вчерашняя Аня, которая неприятно удивлена тем, что я поймал ее, когда она выходила с лекции Андреева — а говорила ведь, что будет готовиться к докладу. Рядом с ней — сегодняшняя Баттерфляй, она говорит мне, что следовать моде действительно глупо, однако я сам виноват во всем... Она тянется к Ане, чтоб приобнять ее, но не получается: они же из разных временных планов. Аня сейчас смеется, признательно смотрит на меня — нет. Не сейчас, это было несколько месяцев назад — я тогда убедил ее сопроводить меня в традиционной поездке на залив в компании моих экспедиционных друзей. Женя, Вика и Даша приняли ее на удивление тепло, и тогда казалось, что все вечно будет хорошо. Мы говорили о всякой чепухе, рассказывали о себе, передавали по кругу бутылку портвейна и в моменты наивысшего единения радостно восклицали: «Герменевтический круг!» Да, тогда Андреев еще не украл часть ее

души, заразив сердце непонятым холодом. Эй, что это? Чуть не задев меня, Светозар уверенно движется к выходу, перекинув через плечо Гарика. Я улыбаюсь, вспоминая этот момент. Гарик начал подкатывать к Ане, и Свет, знавший, сколько Аня для меня значит, просто подошел к ним, взвалил парня себе на спину, вышел из «Окопа» и ушел куда-то вдаль, неся на себе это смеющееся тело. Как хорошо. Но вот Светозар возвращается, садится напротив, смотрит мне в глаза и громко произносит: «Ариф, будь добр, налей ему кружку воды». А затем я куда-то лечу. Да, здесь я впервые допился до того, что точно знал: наутро буду помнить далеко не все. Это был мой день рождения. Мне потом рассказали, что когда меня выводили проветриться, я шокировал всех даже не тем, что пытался цитировать какие-то — возможно, к стыду моему, собственные — стихи (такое бывает с филологами), а тем, что каждый раз угадывал, сколько окон будет в каждом следующем здании, мимо которого мы пройдем. Потом девочки — а к концу вечера остались только они — вели меня до дома, возвращая долг за все зеркальные ситуации. Как же давно это было. Помню, в метро нас становилось все меньше. Помню: вот Даша остается где-то по ту сторону закрывающихся дверей. Помню: вот мы с Женей в одиночестве выходим на «Лесной», и она спрашивает, в какую сторону идти к моему дому, а я не очень уверен. Мы идем по Лесному, и вдруг посреди дороги я трезвею настолько, чтобы плетущимся языком выговорить что-то вроде: «Это мальчики должны провожать девочек, а не наоборот!» Я требую пойти обратно, Жека отказывается. Тогда я подхватываю ее на руки, чтоб отнести к метро. Она удивленно просит: «Опусти меня». — «Почему?» — «Потому что иначе ты меня уронишь!» Я говорю: «Да ты что!», а сам делаю шаг и думаю: «И правда, еще шаг, и уроню». Потом выясняется, что Даша с молодым человеком ждут нас у метро, и Женя соглашается вернуться туда. Девочки беспокоятся, что я не дойду до дома. Дашин будущий муж смотрит на меня понимающим взглядом и говорит: «Если дойдет до вон той урны и не упадет, то и до дома дойдет». Кажется, у него имя, как у меня, снова странная зеркальность... Я благодарно гляжу на него, поворачиваюсь к урне и уверенно иду вперед. Дойдя до нее, думаю о том, что надо бы повернуться и помахать рукой на прощание, но здраво рассуждаю, что если повернусь, обязательно упаду. Поэтому я продолжаю идти. Иду, иду. Мимо меня проплывают все новые здания, люди, мысли, но я уверенно иду и наконец прихожу в себя.

\* \* \*

Я пришел в себя от прикосновения чего-то холодного к моему лбу. Или наоборот — оттого, что мой лоб обо что-то оперся. Я с трудом разлепил глаза, увидел улыбку того, на кого облокотился. Приобнял его за правое плечо, все еще в три погибели согнувшись и упершись головой в шапку с бубенчиками. Арлекин. Он рад моим ностальгическим воспоминаниям.

Кто-то из друзей, случайно прогуливая пары именно в «Окопе», увидел, в каком я состоянии, и увел в мирную тишину филфака.

— Господи, да что с тобой?!

Я вздрогнул. Эту фразу с какой-то непонятной обидой произнес знакомый голос. Кажется, это голос Баттерфляй. Как стыдно — я тут с Арлекином обнимаюсь. А почему?

Тут я все вспомнил: и проблемы с Аней, и пьянство последних часов. Начало подступать головокружение. Ощущение волшебства, вызванное не искусством, а алкоголем, в реальном мире чревато гадким похмельем. В этот раз филфак почему-то не стал вмешиваться в мои ощущения. Я закрыл глаза. «Я хоч-чу улыбаться, чтобы

не разминуться...» — тихонько пропел я, зачем-то перекатываясь к другому плечу Арлекина. Раскрыл глаза. Теперь маска умело отражала мою резко погрузневшую физиономию. Но я все еще чувствовал, что он меня понимает — впервые в жизни. Я набрался смелости и обернулся. Затем чуть не упал.

Оказывается, на меня с раздраженным непониманием глядела Аня. Не в таком состоянии я бы хотел с ней поговорить. Да я бы вообще не желал обсуждать с ней что-либо. Но пришлось. Я нес какую-то чепуху про следование моде. Про меркантилизм. Про то, как это обидно, когда твои идеализированные представления о жертвенной работе в стол оказываются не близки.

Она долго сдерживалась, прежде чем начать что-то отвечать. Пыталась узнать, что со мной произошло. Потом не выдержала и попросила меня повзрослеть. Нельзя быть таким идеалистом. Вот в чем настоящая моя проблема. Я все мечтаю, а реальная жизнь идет мимо. Даже художественному тексту нужен читатель, не говоря уже о тексте научном. Пора признать это, начать хоть как-то подстраиваться под общепринятые правила игры. Пусть это и неприятно, пусть я и считаю себя на голову выше тех (загадочных тех!), кто эти правила придумывает. Нужно подавать заявки на гранты, заводить знакомства, хоть как-то себя реализовывать. Нужно завязывать с детской наивностью. И в других сферах жизни тоже. А еще если хочется задать какой-то вопрос, надо все-таки набраться смелости и задать его.

\* \* \*

На следующий день, подходя к филфаку, я столкнулся с Жанной — мы с ней когда-то довольно тесно общались. Она вдруг обняла меня с неожиданно торжественным видом. Признаться, я знатно опешил.

— Все хорошо, мы — твои друзья — с тобой. Все к лучшему, давно пора было, ну что это были за отношения, со стороны ведь видно было, что ты в них все вкладывал, а она ничего не вкладывала...

В общем, выяснилось, что Жанна общалась с какой-то знакомой, та — с какой-то другой знакомой, которая случайно слышала, что Аня рассталась с молодым человеком. Поэтому Жанна сейчас открывала мне глаза на то, что Аня меня не ценила, не понимала... Выслушав это, я понял, какая она дура. Жанна, конечно. Серьезно, я ведь не случайно никогда с приятелями личные темы не обсуждаю. Как она может о чем-то судить, если они с Аней вообще почти незнакомы? Если даже я Аню, как выясняется, плохо знаю... И ведь до этого ничего не говорила... Стало как-то противно... Жанна, видимо, почувствовала это, ушла.

Я собрался наконец зайти внутрь, и тут я столкнулся с Настей. Немыслимо ждать чего-то плохого от Насти, и все же на всякий случай я приготовился было к еще одной лицемерной сцене. Но девушка чуть не плакала:

— Мне так жаль! Я недавно виделась с Жанной... Вы с Аней были лучшей парой, что я знала, как же так? Вы уверены? Может, еще не поздно все исправить?

Я пристыженно посмотрел на Настю. Спасибо.

В этот момент я нашел силы признаться себе, что инфантилен, заиклен на своих мечтах и не готов принять реальность. Странное чувство. Я вошел на филфак.

Факультет жил полной жизнью. Я впервые почувствовал, что филфаку сейчас нет дела до меня. Очевидно, это я завишу от него, а не наоборот. Все спешили по своим делам, радовались, смеялись, не замечая меня, — как я в хорошем настроении наверняка не замечаю грустных людей. Что же мне делать?

Но я был неправ, говоря, что никому во дворике до меня не было дела. Меня встретила Баттерфляй, как всегда тихая и спокойная. «Кажется, все?» — только и смог выдать я. Холодная девушка отвесила мне жаркую оплеуху и быстренько раскочегарила романтический настрой:

— Сейчас начнется ее доклад, беги скорей, дурень, исправь все!

От неожиданности я не сразу сообразил, о чем она. На эмоциях обнял и поцеловал Баттерфляй и помчался в актовыв зал. Изящная скульптура выглядела одновременно радостной и смущенной. «Ну хоть как-то приобщился к искусству», — пронеслась эта фраза мне вслед.

\* \* \*

Я успел. Был доклад. И мне было стыдно. Потому что доклад был о феномене моды. О том, как мода связана с желанием приобщиться к тому или иному сообществу и получить определенный символический капитал. О том, как этот капитал потом можно преобразовать. В общем, идея понятная, но интересен был сам материал — в докладе анализировалась мода на филфаке, модные книги, модные преподаватели. Интересно, научно, актуально... — был даже самоироничный пассаж о модном докладе про моду.

\* \* \*

— Ты права. Постой, постой. Ты всегда и во всем была права. И по поводу науки, и по поводу меня. Я не хочу, чтобы наши отношения вот так закончились, я хочу все вернуть. Не перебивай, выслушай, прошу. Я знаю, что я нерешительный, знаю, что бываю слишком сосредоточен на себе. Но это неправда, что я не интересуюсь тобой. Наверное, я просто люблю тишину, бессобытийную гармонию и очень боюсь ее нарушить. Услышать что-то, что может разрушить мой покой. Ты говорила, что я должен задать вопрос. Прости, если он прозвучит по-детски, я тут не слишком опытен. Вот он: «Я тебе нравлюсь? Пойдешь со мной на нормальное свидание?»

Я наконец поднял взгляд. Аня смотрела на меня удивленными глазами. Этими серо-синими глазами, так похожими на мои — чуть другого оттенка. Дальше она произнесла монолог, выбивший жесткую почву из-под моих ватных ног. Начинался он словами «Так это все-таки история любви?». Выяснилось, что мы не расставались, потому что никогда не встречались. По сути, весь любовный сюжет я себе придумал. Это миражная интрига — у любви глаза велики. Вечная история: обманщик обманывает себя, влюбленный влюбляется в то, что выдумал. Все время, пока мы общались, Аня действительно не могла понять, это просто дружеское общение, или же я так неумело пытаюсь за ней ухаживать. Вопрос, которого она ждала, это вопрос о том, есть ли у нее кто-нибудь — вопрос, который должен был внести какую-то ясность. Вопрос был тем важнее, что у нее кто-то был, и это были тяжелые разваливающиеся отношения. И да, она думала, что уж если я испытываю к ней особый интерес, это значит, что я знаю о ее молодом человеке, и тогда, возможно, смысловым стержнем всей этой истории являются наши с ним столкновения. То, что я так ничего и не понял и даже не обращал внимания на этого ее парня — модника, который пытался произвести на нее впечатление, проникнув в компанию палиндромщиков, — доказывает, что я живу в каком-то своем совершенно особом мирке. Кстати, Аня не поняла, что бумажного голубка тогда пустил я — я ведь сделал вид, что ни при чем, а тот — конкурент — там тоже был. Ну а если же я не пытался за ней ухаживать, то у нас тем

более все хорошо, ведь когда друзья спорят на любопытные темы — это нормально и интересно. Кстати, если уж на то пошло, на лекции Андреева они была лишь пару раз — нужно было для доклада. Все «непонятное» для меня время Аня проводила на лекциях Ляпушкиной по герменевтике — тех же, на которых бывал я. А я не мог ее найти, потому что каждый раз, когда заглядывал в аудиторию, так оказывался поглощен парой Екатерины Ильиничны, что не замечал ничего вокруг. В общем, Аня рассказала еще много всего. Но я не запомнил. Значимость всех последующих фраз затянулась в черную дыру сверхзначимого ответа, рядом с которым не видно ничего. Речь про ответ на заданный мной глупый, неправильный вопрос. Ответ «да».

И вот мы стоим у солнечных часов. Я обнимаю Аню. Впервые не как при встрече или прощании. Впервые — можно не разжимать объятия. Мы стоим так вечность и еще чуть-чуть. Это навсегда меняет мою жизнь, потому что теперь я знаю, что моя жизнь — уже одна из самых счастливых в мире. Я могу забыть Анино лицо, забыть эти обстоятельства, забыть, что именно я чувствовал... Но я буду даже в самые тяжелые моменты жить со спокойным осознанием, что когда-то я уже был самым счастливым человеком на свете.

Время, подаренное филфаком, учит воспринимать каждое мгновение как вечно длящееся настоящее. И все же эта вечность заканчивается. В привычное пение птиц вторгается какой-то новый голос — пугающий голос. Я открываю глаза, но обладателя голоса не нахожу. Он как будто доносится откуда-то из кустов, но там, помнится, лишь пасется иногда университетский козел. Мимо нас движется по своим делам трогательная, но тревожная строчка: «Течет и нежен, нежен и течет». Я перевожу взгляд и вижу, что рядом стоит Баттерфляй, радостно глядя на нас. Я шепчу Ане на ушко, что давно хотел ее кое с кем познакомить. Да-да, с той, кто давала мне такие хорошие советы. Я чувствую, что Аня немного ревниво напрягается, видимо ожидая увидеть какую-то студентку, и расплываюсь в смущенной улыбке, представляя следующий момент. Мы разжимаем объятия.

\* \* \*

— Ты — та роза, которой он пел свои трели. — Баттерфляй кладет руку мне на плечо, другой тянется к Ане, но та отшатывается. — Приятно познакомиться.

Аня не отвечает, переводя взгляд с меня на Баттерфляй и обратно. Я пробую сделать шаг в сторону, но изящная рука с бронзовым загаром, налившаяся каменной силой, не отпускает. Я удивленно смотрю на Баттерфляй — на ее лице застыла натянутая улыбка. Аня вдруг говорит, что живой металл — это противоестественно. Спрашивает, знаю ли я вкус губ Баттерфляй. Я поспешно отрицаю. Баттерфляй грустно говорит девушке:

— Если и нет, то обязательно узнает. Каждый, у кого хоть раз была кровь во рту, знает вкус меди.

Аня с недоумением спрашивает, мол, неужели я не понимаю? Не понимаю, чего добивается эта леди Лилит?

Баттерфляй разжимает руку, но я все равно словно окаменел и не могу двинуться. Скульптура девушки встряхивает головой, правой рукой подхватывает распущенные волосы и вытягивает вперед, задумчиво уставившись на них. Те чуть шевелятся на ветру филфака.

— Лилит? Не думаю... Она не чувствовала себя преданной, хотя... кто знает? Эти волосы... Я распустила их для тебя, мой друг. Ты втянул меня в свой мир, челове-

ский. Смертный. Мертвый. Увы, красоте здесь не править. Да и ты — ты думаешь, что управляешь всем в своем мире? Ты так наивен. Да, эти волосы... красивые — способны заманить и привести к смерти. Металлические или живые? Что есть жизнь? Если утверждать, что я зла, тогда я скорее Медуза, нежели Лилит. Интересно, умерла бы я, увидев собственное отражение?

Баттерфляй смотрит в мои глаза, как в зеркало, словно замирая. Через какое-то время отпускает волосы. Левая рука подтянута к шее. В кулачке что-то есть — кажется, гранатовая шпилька для волос. Правая поддерживает левую — Баттерфляй выглядит так, будто сошла с картины Россетти. Вдруг усмехается:

— Живая. Зеркало не страшно. Зато человеческий мир оборачивается смертью для таких, как я...

Я ничего не понимаю. О чем говорит Баттерфляй? А Аня? Она ревнует к скульптуре? Как это возможно? Аня говорит, что это вполне возможно. Возможно, если скульптура или то, что за ней стоит, оказывается для моего болезненного романтического сознания чем-то противоестественно притягательным — вроде Шинели. И вдруг по словам Ани получается, что мне нужно выбрать одну из двух. Баттерфляй шепчет:

— Не слушай ее! Я всегда помогала тебе в любви, и ты должен мне верить. Нельзя жить без любви, но нельзя и отдаваться любви целиком. Это убивает! — Баттерфляй снова хватается за меня, затем переводит взгляд на Аню. Та сердито смотрит на скульптуру, не говоря ни слова. Тирада продолжается: — Да посмотри на нее. Она так красива, и ты думаешь, что с ней ты сможешь жить в реальном мире, но реальный мир жесток! И эта девушка не такая, как ты думаешь. Взгляни: она же не чувствует всей твоей любви... — музыкальный голос Баттерфляй все набирает силу. За спиной ее кружатся цикады, подщелкивающие при каждом слове. — Она не внемлет тебе! Не так, как внимаю я...

Я с ужасом смотрю на Баттерфляй. Потом на Аню. Вспоминаю вечность, проведенную в объятиях.

— Да. Аня не внемлет мне так, как ты. Аня ведь живая. — Я перевожу грустный взгляд на Баттерфляй. — А ты нет, прости. И я ее люблю.

Скульптура на мгновение каменеет, и я высвобождаюсь из застывших пальцев. Аня словно хочет что-то сказать, но передумывает и просто берет меня за руку. Баттерфляй делает шаг назад и растерянно говорит:

— Но ведь ты обещал. Ты говорил, что я всегда буду в твоём сердце.

В руках ее вдруг появляется бронзовый нож. Она направляет лезвие к себе.

— Ты врал... Не будет больше такой весны...

— Поймай! — Я отчетливо понимаю, что происходит что-то не то, но не знаю, как все исправить. — Нельзя заставлять человека выбирать между любовью и искусством — это нечестно! Прошу, не делай этого — ты не должна умирать! Просто не можешь. Жизнь моя станет такой бессмысленной.

Баттерфляй останавливается в нерешительности. Нож падает на землю. Она грустно усмехается:

— Твоя жизнь... А ведь ты жуткий эгоист, знаешь. Что ж... так или иначе...

Баттерфляй резко бросается вперед, широко расставив бронзовые руки — одна направлено в сердце мне, другая — Ане. Ледяная игла пронзает мою грудь, что-то навсегда меняя. Впрочем, все неважно, ведь сейчас медная рука сожмет мое сердце.

Но этого не происходит. Баттерфляй отшатывается. На нее нападает отчаянно кричащий металлический соловей. Не знаю, успела ли столь опасная и дорогая для меня скульптура коснуться Ани, или же поклонник девушки защитил ее. Соловей падает

на грудь Баттерфляй. Та вдруг останавливается, смотрит на него — сначала удивленно, потом ласково и даже с какой-то материнской заботой. Тот что-то отчаянно щебечет. Каменная красавица делает жест, будто хочет взять птицу в руки и убаюкать, как Дева Мария младенца. Она дрожит. Баттерфляй — безупречное творение искусства — падает на колени, вспугнув соловья и прошептав: «Отобрать время силой... Что я творю...» Затем она поднимает нож, закалывает им послушно сложившиеся волосы, выпрямляется и, изогнувшись от боли, протягивает руки к груди. Баттерфляй смотрит на меня, не сдувая железные слезы. Успокоившийся соловей садится ей на плечо, словно придавливая к земле.

Аня жива. Она берет мое лицо в свои ладони и наконец начинает говорить. Она говорит, что я слишком оторван от реальности. Слишком сосредоточен на абстракциях, на образах, которые в моей голове принимают наука и искусство. Да могу ли я опомниться и взглянуть хорошенько на эту мою Баттерфляй? Это ведь она холодная, она на самом деле не чувствует, не слушает и уж точно не способна отвечать — все ответы за нее я придумываю сам. И не только за нее. И в этом проблема.

Баттерфляй, кажется, все каменеет и каменеет во время этой речи, лишь цикады порой тихонько звенят, а Аня все продолжает: ведь я все придумываю, живя в своем мире. И Баттерфляй и ей подобные тому виной. Я говорю, что люблю Аню? Именно Аню, а не тот образ, который создал? Значит, я знаю, какая она? Значит, я интересуюсь ее жизнью, ей самой? Или же искренний интерес к прекрасному Другому легко сменяется традиционным интересом к себе самому в отражении другого? Человек ведь действительно эгоистичен. Я эгоистичен. И живу интересом лишь к себе самому. Да я даже сейчас наверняка ее не слушаю, а представляю, как расскажу эту историю в своем воображаемом романе. «Признавайся!» Так ведь? «Ну что, определился хоть, там все в настоящем времени или в прошедшем?» А я там обладаю хоть какой-то свободой и самостоятельностью?

— Где моя речь? Хотя бы самые важные вещи говорю я сама? Или все ты? И сколько здесь правды?

Да, правды здесь, наверное, немного. А реальности не осталось совсем. Как и Баттерфляй. Она обратилась в неподвижный мертвый металл. Навсегда. Более того — даже память с трудом говорит о том, что только что Баттерфляй спорила, любила, переживала. Жизнь ушла, будто ее никогда и не было, эта жизнь — краска с античной скульптуры. Соловей горестно кричит и улетает. Этой весной я увидел не только рождение одного из обитателей филфака, но и смерть самой прекрасной из них. Сердце физически ноет, напоминая, что что-то от Баттерфляй во мне все же осталось.

Наступает тишина. Аня с неожиданной горечью смотрит на Баттерфляй. Я, кажется, уже давно ничего не чувствую. Наконец я спрашиваю:

— И что теперь с нами будет?

Аня, уже в полной мере овладевшая даром речи и не собирающаяся отдавать его какому бы то ни было повествователю, нерешительно оборачивается:

— А что ты чувствуешь по отношению ко мне?

Я прислушиваюсь к себе. Как ни странно, оцепенение понемногу проходит, точнее, прячется где-то в глубине. Я снова чувствую себя живым и — несмотря ни на что — счастливым.

— Любовь. Я тебя люблю.

Я осторожно замираю. Есть соблазн начать произносить это слово снова и снова, но я знаю, как легко слова могут потерять смысл. Пусть хоть что-то важное останется невысказанным. Нашей маленькой тайной. Рядом с нами зарождается новая жизнь. Кра-

сивые либо крайне значимые хоть для кого-то слова всегда получают жизнь на филфаке. «Любовь», материализовавшаяся из нашего разговора, выглядит прекрасно.

Аня облегченно выдыхает. Затем с улыбкой обращается ко мне:

— А я уж думала, мне придется первой это сказать.

И эту фразу я, надеюсь, не забуду.

Я делаю шаг вперед и заключаю девушку в объятия. Аня делает серьезную мину:

— Но учти, меня больше всего обидит, если ты так и не сможешь измениться ради меня. Я знаю, что я могу меняться, и я готова к этому. Пообещай, что ты тоже будешь работать над собой.

Я собираюсь радостно кивнуть, но затем застываю и выпускаю ее из объятий. Аня, кажется, все понимает. И все же расстроено спрашивает:

— В чем дело?

Я стараюсь подобрать правильные слова:

— Я люблю тебя. И я на многое готов ради тебя. Я обещаю больше участвовать в твоей жизни. Знаешь, я на герменевтике что-то понял про любовь. Мне правда интересно, что у тебя в голове. Теперь я понимаю, как все должно быть устроено: я узнаю какую-то мелочь о тебе, в этой мелочи узнаю себя самого, познаю себя — глобально — затем по-новому гляжу на тебя — ту, которая выстраивается из мелочей, и вижу эти мелочи уже по-другому, как и тебя, и себя, и так далее... Я правда хочу освоить герменевтический круг любви. Но есть вещи, которые я в себе менять не хочу. Дело не в том, что я не могу. Просто... Когда-то я казался себе очень хорошим человеком. Тому мне — мальчишке — очень не понравился бы тот парень, которого ты видишь сейчас. Я стал занудней, циничней (поверь, ты просто не знаешь, каким я был), и этот процесс взросления, наверно, будет только набирать скорость. И единственное, что напоминает о том мне, — это остатки того самого идеализма и мечтательной оторванности от действительности. Я никогда не смогу принимать реальность — так, как принимаешь ее ты. — Я протягиваю руку, чтоб вытереть выступившую на Анином лице слезу. Почему-то даже подушечкой пальца я ощущаю, что слеза сладкая. Из-за любви слезы на филфаке всегда сладкие, даже если человеку горько. Ведь такие слезы — знак общения к чему-то важному. Знак катарсиса. — Я понимаю, что на конференциях нужно заводить знакомства, но я не буду этого делать. Я останусь неторопливым во всем, потому что мне кажется, что это нормально — ценить мгновения жизни, не портя их бытовыми планами на будущее. Вместо того чтобы зарабатывать деньги на хорошую жизнь, я буду пытаться реализовать какие-то безумные идеи, задача которых — не прокормить нас, а прикормить жадную, с черной пастью Лету, куда улетает все. И жить со мной будет тяжело. Что-то со мной не так. Я не хочу меняться.

Мы молчим, прижавшись головами друг к другу. Наконец Аня отстраняется, смахивает слезы — она ведь у меня очень сильная — и встряхивает головой:

— Я тоже тебя люблю. Но это будет нечестно.

Я киваю, соглашаясь, и говорю, что понимаю это. Новорожденное слово «любовь», внимательно слушавшее наш разговор, медленно отступает, тяжело движется куда-то вдаль. Но чем дальше уходит слово, тем легче становится походка, и наконец «любовь» поднимается ввысь и улетает вдаль под мелодию соловья. Аня грустно улыбается:

— Ну что ж, тогда мы теперь хорошие друзья?

Дальше я говорю что-то о том, что всегда готов помочь, буду рядом, ну и... неважно. Очень тяжело. Ане тоже. Но прощаясь, она обнимает меня и бодрим, пусть и слегка дрожащим голосом говорит:

— Эй, выше нос! Все у нас будет хорошо. У каждого из нас.

Аня оглядывается на невидимую отсюда реку и подмигивает:

— Прислушайся! Никакого стука копыт. Раз Петр не перелетел через Неву и здание, чтоб покарать кого-то во дворике, значит, апокалипсис неблизко, мы не так уж разозлили этот город и весь мир, и Петербург еще даст нам шанс найти счастье.

Я улыбаюсь: «Не забудь застегнуться, там ветер». Аня кивает и разворачивается.

Я благодарно смотрю ей вслед. Вот, оказывается, как выглядит расставание. Теперь надо будет обязательно позвонить кому-нибудь из наших общих друзей, попросить их ненавязчиво ее поддержать. Как тяжело все-таки... Я знаю, что будет дальше. Несколько дружеских походов в кино, встреч вдвоем, затем в общих компаниях, но все реже, реже. Пока однажды уже чужими людьми мы не столкнемся в библиотеке, и я узнаю, что она счастливо вышла замуж, и наконец успокоюсь и буду рад за нее. Но пока что больно. И ведь права была Баттерфляй: не будет больше весны.

Какой я дурак. Надо ж было так плохо понять собственную жизнь. Я думал, что это Лахесис мешает Клото, но ведь нет — эта мойра, наоборот, свела нас с Аней. Я ведь перепутал, кто из сестер подслеповат. Мы так понравились Клото, что она даже приостановила плетение, а веретено из ее рук пыталась взять Атропос. И взяла — еще бы! Неотвратимости судьбы пришлось подчиниться даже спокойной мойре, плетущей настоящее. Атропос перерезала нить — но почему-то не нашу, а Баттерфляй, тем самым вторгнувшись не на свою территорию — ох, поссорится она с музами, когда те зайдут на бокал амброзии! А наши с Аней нити разошлись в разные стороны, рождая новый красивый узор. Пока мы были вместе, мы отбирали друг у друга доли гобелена жизни, а теперь мы свободны. И все-таки грустно. И грустно, что так, как на протяжении этой истории, я на свою жизнь уже не посмотрю: мойры превратятся или во что-нибудь грозное, вроде эриний, или — если жизнь поскучнееет — во что-нибудь страшное и неприятное, чему нет пока и названия.

Да и какой из моей жизни художественный текст? Ведь так себе книжка получилась бы. Люди на серьезные темы пишут, ну там жизнь, смерть, общественно-политические кризисы. Стыдно представить, что про эту мою жизнь может кто-то читать, ведь такая ерунда, детские переживания. Как с «Милки Веем», который я подарил девочке когда-то очень давно... Чувствовал тогда любовь... А потом я с семьей переехал, и я ведь этого даже не понимал, не понимал тогда, что где-то в позабытом детском саду с безвкусным Чебурашкой над входом навсегда остается девочка Оля...

Я чувствую, как моего плеча касается чья-то холодная рука. Я удивленно оборачиваюсь. Баттерфляй все так же мертва. Рядом со мной Арлекин. Его изогнутые губы чуть шевелятся, кажется, приглашая следовать за ним. Я иду, не глядя по сторонам. В какой-то момент я останавливаюсь. Вокруг никого и ничего — ни света, ни звука, ни мира. Я вспоминаю, с чего все начиналось, но потом и воспоминания исчезают. Застывающими губами я успеваю еще зачем-то произнести, проваливаясь в черноту:

— А ведь мода дана... Сера... Откуда вонь? В аду. Тут.

Тут чернота почему-то отступает. Появляется свет. Шум. Меня обступают люди. В их руках качается каменная чаша с загадочной жидкостью.

— Это сегодняшний победитель! Как тебя зовут?

Амброзия пахнет только что пережитой историей. Этот запах наполняет мои легкие, поднимается к небу филфака. Аромат любви и расставания летит сквозь время, оставляя меня далеко позади. Я все дальше, дальше — и вот исчезаю совсем, *а терпкий дух наконец дотягивается до чуткого Носа, который только сейчас предлагает читателю уйти — если тот, конечно, захочет.*

---

---

## Владимир ШЕМШУЧЕНКО

### ЯНВАРСКИЙ ДОЖДЬ

Апрельское утро грачами озвучено.  
Уходит в подлесок туман не спеша.  
Еще две недели — и скрипнет уключина,  
И лодка пригладит вихры камыша.

Еще две недели — и синяя Ладога  
Натешится вволю, подмяв берега,  
И в небе проклюнется первая радуга,  
И рыба пойдет нереститься в луга.

И ветер с Невы, как глоток «Vana Tallinn'a»,  
Гортань обожжет... А пока среди льдин,  
Как спящая женщина, дышит проталина  
С лиловым цветком на высокой груди.

\* \* \*

Ноябрьский лес — приют печали.  
Березки — кофе с молоком.  
А мне сейчас бы кружку чая,  
Горячего, да с сахарком!

И кружка чтоб была — «сиротской»!  
(Любой турист меня поймет...)  
Здесь по ночам слезится Бродский  
И Пушкин голос подает:

Его «очей очарованье»,  
Его «унылая пора»  
Всю ночь тревожит подсознание,  
А утром гонит со двора.

Дыханьем пальцы согреваю,  
Ногами листья ворошу:  
Подобен изгнанным из рая —  
И жить, и чувствовать спешу,

---

Владимир Шемшученко родился в 1956 году в Караганде. Получил образование в Киевском политехническом, Норильском индустриальном и Московском литературном институтах. Работал в Заполярье, на Украине и в Казахстане. Прошел трудовой путь от ученика слесаря до руководителя предприятия. Член Союза писателей России, член Союза писателей Казахстана. Лауреат ряда литературных премий. Участник двенадцати антологий поэзии. Автор семнадцати книг стихов. Живет в г. Всеволожске (Ленинградская область).

Вдыхаю хвои терпкий запах,  
 Рябиновую горечь пью,  
 А рядом снег на задних лапах  
 Стоит у бездны на краю...

\* \* \*

<p>По городу гуляют холода —              Не день, не два, а добрых три недели...              Скулят на Невском утром провода,              А раньше пели.              И губы замерзают, и слова,              И голуби в смиренных рубашках,              Аничков мост звенит, как тетива,              И клодтовские кони — все в мурашках.              Все замерло, но лишь на первый взгляд:              Так вопреки всему, неуловимо</p>	<p>В скалу вырастает дикий виноград,              И злые холода проходят мимо.              От центра чуть — и нету никого.              На крышах ледяные ксилофоны.              И все-таки случится Рождество!              И вынесет церковный люд иконы!              Мой зимний город, ты неповторим!              В тебе и небывалое бывает.              Яви небесный град Иерусалим,              И пусть он человек согревает!</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* \* \*

...Федор Михайлович Достоевский  
 В руки студента вложил топор —  
 Пятнами крови заляпан Невский,  
 Кровью пропитан Гостинный двор.  
 И не укрыть свой позор занавеской  
 Сытым рабам золотого тельца...  
 Федор Михайлович Достоевский,  
 Я допишу ваш роман до конца!

\* \* \*

Замерзают березы и жалобно в окна стучатся.  
 На звенящем асфальте растут ледяные грибы.  
 Ну а мне какво — между жизнью и смертью качаться —  
 На изломанной линии жизни под взглядом судьбы.

Хорошо у окошка тетешкать свои рефлексии  
 И березы и слезы морозу назло рифмовать...  
 У калитки дрожит на трех лапах несчастная псина  
 И тихонько скулит... Неохота, но надо вставать.

Надеваю пальто. Выхожу, колбасою воняю...  
 Холодина собачья... «Ну, ну! Ты мне пальцы оставь!»  
 А собачьи глаза — вон какие стихи сочиняют! —  
 Хоть ладонью черпай и на первую полосу ставь.

Ничего. Проживем. Не такое уже проживали.  
«Ну, давай же хромай и за воздух покрепче держись...»  
А морозы и слезы — они на листе танцевали,  
Чтоб собаке — не смерть, а собачья, но все-таки — жизнь.

\* \* \*

Убегает от смерти во сне нецепная собака,  
Раздувает бока и когтями скребет по ковру.  
Ах, какая была с волкодавом прекрасная драка!  
Он пришел, как хозяин, пометить твою конуру...

Спи, надежный мой друг. Завтра будем зализывать раны.  
Я тебя не оставлю и утром налью молока...  
Скоро выпадет снег. На березах повиснут туманы.  
И по первому льду мы погоним с тобой облака!

Жаль, что век твой недолог — совсем уже морда седая...  
Я прошу тебя, псина, от смерти беги со всех ног!  
Ну а если уйдешь — ты достойна собачьего рая —  
У меня на руках абрикосовый дремлет щенок.

## АРТЕМОВСК

Разрыв оторвал от земли  
Вцепившихся в бруствер руками...  
У кошки — боли... У собаки — боли...  
А тут еще я — со стихами!  
Они сюда ночью пришли  
И все как один добровольно.  
У кошки — боли... У собаки — боли...  
Господь, забери их не больно!

\* \* \*

Февральский дождь ворвался в город,  
Раздел деревья и дома.  
Спина сутулится сама,  
Когда, подняв повыше ворот,  
Перехожу Заневский вброд  
У Александро-Невской лавры...  
А где-то звезды бьют в литавры,  
И лето длится круглый год,  
И полной грудью океан  
В объятиях муссона дышит...  
А тут (ба-бах!) сосуля с крыши —  
Огромная, как чемодан

Заехавшей на часик тещи...  
Мне голос был: «Пиши попроще!  
А ты стоишь, как истукан,  
К тому ж в буквальном смысле слова!»  
А я в ответ: «Мне так хреново,  
Что впору заглянуть в стакан...»  
Поставил точку. Задохнулся  
От злого приступа стыда...  
Ведь где-то люди насмерть бьются,  
И кровь дешевле, чем вода,  
И «всероссийские» поэты,  
Помяв заемный камуфляж,

С передовой нам шлют приветы —  
 Оно понятно, Крым-то — наш,  
 Артемовск — далее по списку —  
 Сожженная дотла земля...  
 Я утром был у обелиска  
 В Дубровке... Мокли тополя,

Надгробья на Аллее Славы...  
 Не имут срама те, кто правы!  
 А мы, а ты, а он, а я?!  
 Оно конечно — так бывает,  
 И все случится — но когда!  
 А время между тем смывает:  
 Людей, поселки, города...

\* \* \*

Ледник заплакал, и сошла... строка,  
 И унесла проезжую дорогу  
 И мост, как будто он из тростника,  
 И, прихватив попутно облака,  
 Вприпрыжку поскакала по отрогу,  
 Все на пути бессмысленно круша,  
 Как человек в безумной жажде власти,  
 Когда любая низость — хороша,  
 И жизнь сама не стоит ни гроша,  
 И пролитая кровь — мерило страсти.  
 О, человек с убийством в темном взгляде, —  
 Ты сам — одушевленная вода...  
 Куда, зачем — скажи мне Бога ради —  
 К какой тебе лишь ведомой награде  
 Стремись, чтоб растаять без следа?  
 Чего ты хочешь? Первородной роли  
 В театре, где забвенью правит бал,  
 Где равнозначны и удав, и кролик,  
 Где так любовь замешена на боли,  
 Что даже смерть — всего лишь карнавал...  
 Лети, строка, — не я тебе указ.  
 Кто я такой, чтобы тягаться с Богом?!  
 Я никого и ничего не спас  
 Своим примерно неизящным слогом.

## МАРИНЕ

### 1

Перебранка полешек, бормотанье огня  
 И волос твоих рыжих волнующий запах...  
 Я тебя назову: свет осеннего дня  
 Или, лучше, — предзимье на заячьих лапах.  
 А еще... Из камина возьму уголек  
 И на белом листе (только бы не проснуться!)  
 В простоте напишу всего несколько строк,  
 До которых потом не смогу дотянуться.

Полутон, полусвет — между явью и сном...  
Только ты помолчи, а иначе разбудишь...  
Это снег! Это первый, большой за окном!  
Я его люблю так, как ты его любишь!

2

Я знаю: ты не спишь... Светает рано...  
Глядишь в проем открытого окна.  
Луна ведет созвездий караваны  
Туда, где я пьянею без вина.

Я даже к облакам тебя ревную,  
Да так, что просто кругом голова...  
Ты — птица! Не хочу тебя другую!  
Я без тебя — на солнце сон-трава.

Что я? Когда глаза твои — в полнеба,  
А ветер гладит золото волос...  
Ты — мой родник! Ты — теплый привкус хлеба!  
Ты все, что в этот час со мной сбылось!

Пою тебя, но ты меня не слышишь...  
Шепчу, но неразборчивы слова...  
Ты крыльями любви по небу пишешь...  
Ты — женщина! И в этом ты права!

\* \* \*

Подтаявший снег провалился в теплицу,  
Вконец отлежав за полгода бока,  
Уверен — ему там неплохо лежится —  
Вороны не гадят и нет сквозняка.

А мне почему-то сегодня не спится,  
Сажу у окна и гляжу в темноту...  
Лежит на боку в огороде теплица,  
Неловко коленки прижав к животу.

Фонарь на столбе, как замерзшая птица —  
Дрожит на ветру и не может взлететь...  
Лежит на боку в огороде теплица  
И даже не хочет чего-то хотеть.

И надо же было такому случиться!  
Увидит разор, закручинится мать...  
Лежит на боку в огороде теплица,  
Ей снится, что кто-то идет поднимать...

---

---

Виктор ПАРНЕВ

# БЕЗУПРЕЧНАЯ СИНЕВА

## Повесть

### 1.

Кто знает и любит Васильевский остров, тому ничего объяснять не придется. А кто не знает и пока еще не любит, тому и объяснять нет смысла. Но конечно, пусть читают, я не возражаю. Что-то новое узнают, что-то для себя поймут, а если не поймут, хоть удовольствие получат. От чтения, я имею в виду, от самого его процесса. Есть люди, для которых не столь важно, что написано, важнее как написано. Да, есть такие чудачки, я к ним не отношусь и не понимаю их, но они есть. А уж я-то пишу так, что предъявить мои писания не стыдно никому. Дай бог каждому так владеть письменным словом. Долго шел к вершине мастерства и, кажется, пришел. Не я себя хвалю, другие хвалят, причем многие.

В газетах, в журналах мое имя упоминают почтительно, в литературных всяких обзорах, в литературоведческих статьях. В критических статьях не столько критикуют, сколько превозносят. Ярчайшим представителем чего-то там называют, к славной какой-то плеяде относят, дескать, сохраняю верность лучшим традициям отечественной литературы. На важнейшую из премий дважды выдвигали, но я был категоричен: никаких выдвижений и никаких премий. Благодарю, конечно, за внимание и желание воздать должное при жизни, но не стоит, дорогие друзья, право, не стоит. Не премии и не регалии красят писателя, а мастерство пера и читательская любовь. Ну а с этим у меня пока что без проблем. Льву Толстому и Федору Достоевскому премии были без надобности, а уж я-то без них точно обойдусь.

Так, представляете, меня за эту мою скромность еще больше стали в печати расхваливать, прямо-таки превозносить стали, в пример другим литераторам ставить. Вот, мол, как должен вести себя подлинный классик, он должен прежде всего отрицать, что он классик, и это является самым верным признаком того, что он — классик. Действительно, скромность отличала меня от моих сверстников с самых ранних, с юных еще, лет. Она важнейшая моя особенность наряду с моим литературным талантом. Это редко встречается в наше время, особенно в литературных кругах. Будучи феноменально талантливым, я в то же время скромнен до степени самоуничижения.

Ладно. Успокоимся и выдохнем. Шучу! Конечно же, шучу.

Никакой я не писатель, никакой не литератор. Никто меня ни на какую премию не выдвигал, в газетах и журналах не упоминал, в литературных кругах обо мне слыхом не слыхивали. И скромностью я особой не отличаюсь, не самая это сильная из моих

черт, если честно. Да и пером я владею через пень колоду, разве что слово «корова» через «а» не напишу. Короче, разыграл я вас, друзья мои, не знаю сам зачем. Вы скажете: ну, хорошо, пускай, но при чем здесь Васильевский остров?.. Он появится, будьте уверены, причем довольно скоро. Мне, знаете ли, захотелось поведать кому-нибудь эту маленькую, скромную нашу, василеостровскую эпопею.

## 2.

В который уже раз приходилось переезжать несчастному Сереже Внукову. Нет, с жильем у него все было в порядке, никакой злой хозяин не выставлял его на улицу за неплату, у него была своя законная и притом неплохая комната в коммуналке, в самом центре города на улице Жуковского вблизи ее пересечения с Литейным проспектом. Появлялся в этой комнате он нечасто, но оплачивал ее регулярно. То есть с жильем у него все было в порядке. Переезжал не просто гражданин Сергей Внуков, переезжал художник Сергей Внуков. Из одной мастерской — в другую мастерскую. По воле, как говорится, судеб. Вот уже четвертый раз приходилось ему менять одно свое богемное пристанище на другое, и всегда с понижением в статусе помещения, проще сказать, в качестве. Больше года удержаться в арендаторах ему не удавалось.

То и дело приходилось бедолаге упаковывать свои холсты и подрамники, складывать мольберт, ссыпать в картонные коробки тюбики с краской, перевязывать бечевкой пучки кисточек из колонковой ости, увязывать скатку из матраса, подушки и одеяла, нагружать сумки всякой обиходной мелочью; а книги, а японский двухкассетник, а альбомы репродукций, а плакаты, а рулоны ватмана, а тумбочка, а спальное, в конце концов, место художника, то есть кушетка... Приходилось тащиться со всем этим скарбом на другой какой-то край города, где удавалось найти сносное и, как вскоре оказывалось, недолговременное пристанище. Такова была участь свободного живописца, импрессиониста, экспрессиониста, авангардиста, нонконформиста, кубиста, и бог знает еще кого, потому что Сергей Внуков совмещал в себе все эти ипостаси, сам себя не относя ни к одной из них. Тем не менее он стоически нес на своих хорошо развитых плечах свой мученический крест и только кряхтел иногда во время перемещения тяжестей. Последние два его переезда не обошлись без моей дружеской мускульной помощи.

Теперь его выселяли даже из убогого неприглядного полуподвала на улице Ивановской в Невском районе, и естественно вставал вопрос: а что же дальше? Ниже опускаться было уже некуда. Но в голосе Сережи, сообщившего мне эту грустную новость и попросившего об очередной товарищеской помощи, странное дело, грусти я не услышал. Телефонная трубка, в которую он говорил, излучала даже что-то вроде оптимизма. Он назвал день и время предполагаемой операции «переезд». Не слишком этому обрадовавшись, я пообещал быть на месте без опозданий.

— Куда едем-то? — поинтересовался я, не сомневаясь, что поедем к черту на рога в какой-нибудь подвал, поскольку вариант полуподвала теперь был исчерпан. Ответ меня обрадовал и сильно удивил.

- На Васильевский едем, вот куда, — бодро сообщил Сергей.
- Вот это да! Неужели тебе так подфартило? Или шутки шутишь?
- Никаких шуток. Едем на Ваську, Четвертая линия.
- Четвертая линия?.. Поверить не могу. В каком ее конце?
- Примерно посредине между Средним и Большим проспектами.
- Да ладно. Я тебе не верю...

Четвертая линия между Средним и Большим проспектами — это грандиозно, это супер, это самый-самый вариант, какой только возможен. О лучшем месте для творчества художник просто не может мечтать. Район от Первой до Восьмой линии, между Малым и Большим проспектами в Питере — это как Латинский квартал в Париже, как Сохо в Лондоне, как Пренцлауэрберг в Берлине, как Гринвич-Вилледж в Нью-Йорке или район Сан-Лоренцо в Риме. И вот он вдруг достается многострадальному Внукову. Не поверю, пока не увижу, а увидеть я смогу уже на днях. Если, конечно, Сергей не мочит мне голову.

— Говорю тебе, Четвертая линия, и вовсе не полуподвал. Расписывать не буду, сам увидишь. Мы договорились? Все, давай!

— Постой, а кто-то еще будет помогать? Не вдвоем же нам с тобой корячиться.

— Нас двоих будет достаточно. Кушетку, стол и тумбочку я оставляю, они там не нужны. Мы управимся. А кроме того, я не хотел бы других посвящать, — загадочно сказал он под конец. — Чем меньше людей будут знать мое новое место, тем лучше. В данном случае необходима конспирация. Потом все объясню.

На этом мы закончили наш разговор, и я остался в гадательном недоумении: что же это за помещение, в котором ему не будут нужны его любимая кушетка, его стол и его тумбочка, в которой он хранил многое, в том числе краски? Не в отель же «Редиссон» он переселяется и не в меблированные комнаты со всей нужной обстановкой. И что это за секретность такая, почему нельзя будет знать новый адрес другим его многим знакомым и собратьям по холсту и кисти?..

### 3.

Сергей Внуков перебрался в Питер из своей родной Кубани после армии. Приехал он поступать в Институт физкультуры и спорта, потому что подавал в этом деле большие надежды. Он и в армии не столько пулял на стрельбище из «калаша» или маршировал на плацу, сколько пыхтел и кряхтел на татами, стараясь припечатать к нему лопатками очередного своего армейского соперника. Спортивная борьба хорошо подходила ему по его антропометрическим данным, по его среднему росту, коротким, кривоватым крепким ногам, бычьей шее, общей мускулистости и особо развитому плечевому поясу. Он мог бы быть и штангистом, но к металлу в своих руках относился прохладно, предпочитал ему живое, теплое, порой горячее, как он шутил, общение с человеческим фактором. С его борцовской устрашающей внешностью не сочетались мягкие черты его лица и выражение детскости в светло-зеленых, излучающих доброжелательность глазах.

В институт он поступил легко, учился без хвостов и переэкзаменовок, участвовал в соревнованиях, имел какие-то успехи и уже тянул на кандидата в мастера, как вдруг, уже на третьем курсе, запустил учебу, вскоре вовсе ее бросил, в институте перестал появляться, даже выехал из общежития со всеми своими вещами и вскоре, как и следовало ожидать, был отчислен. Один бывший однокурсник встретил его как-то на улице и узнал, что теперь он лимитчик, работник жилищно-коммунальной сферы, проще говоря, он стал дворником при домоуправлении и получил от конторы служебную личную комнату в коммуналке. Главное же, что узнал его бывший сокурсник и что его невероятно удивило — Сергей стал живописцем. Призвание, так долго, как выяснилось, дремавшее в нем, вырвалось из подсознания и позвало его в даль светлую, принявшую такие вот причудливые очертания труженика жилищно-коммунального хозяйства.

Я познакомился с ним при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных: он с помощью фомки, лома и топора взламывал дверь чужой квартиры, а я с интересом наблю-

дал за этим захватывающим процессом. Нет, он не совершал уголовно наказуемого деяния, напротив, он действовал в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Рядом с ним стояли участковый милиционер, помощник районного прокурора, девушка — судебный исполнитель, а также двое понятых, одним из которых был я. Сергей же был просто техническим работником, которого прислало домоуправление.

Помню, как все мы вошли в эту квартиру, милиционер и прокурор ее тщательно осмотрели и обнаружили в ней, к нашему общему ужасу, «на кровати накрытое одеялом красного цвета мумифицированное мертвое тело женского пола в возрасте приблизительно 70 лет» — так дословно было записано в протоколе, под которым все присутствующие, в том числе и я, поставили свои подписи. Прибывшие санитары завернули легкое, словно охапка соломы, тело бывшей женщины в то самое красное одеяло и вынесли из квартиры. С огромным облегчением я вместе с прочими покинул эту жутковатую квартиру. Дворник Сергей заколотил дверь гвоздями, а прокурор заклеил створ бумажкой со своей печатью. После этого лейтенант милиции сказал, что всем спасибо, все свободны. В первую очередь это касалось дворника Сергея и нас, понятых.

Нам с дворником Сергеем оказалось идти в одну сторону. Ему было несподручно нести топор, лом, фомку да еще стремянку, которую он взял с собою, не зная, понадобится ли она. Я вызвался помочь, понес стремянку, и пока мы шли до его дворничкой в соседнем квартале, мы разговаривали о том и о сем. Он поначалу решил, что я из «органов», и мне пришлось его разочаровать, сообщив, что я простой прохожий, которого на улице остановил участковый и вежливо, очень вежливо и даже заискивая, попросил оказать содействие правосудию, побыть полчаса понятым. У моего нового знакомого сразу отлегло от сердца, и на радостях он пригласил меня зайти к нему погреться. На улице пощипывал мороз, а дело было в феврале, поэтому я принял приглашение.

Таких дворничких мне видеть еще не приходилось. Честно сказать, я раньше не видел вообще никаких дворничких помещений, но это выходило за пределы всех моих представлений. Стены полуподвальной комнатухи были плотно увешаны живописью всех размеров, всех мыслимых красок и их сочетаний. Отдельные картины были в рамах, но большинство были холстами на подрамниках. Какие-то производили впечатление незавершенных работ, иные — только начатых, другие казались, скорее всего, законченными творениями. Все были написаны маслом, причем щедрыми, рельефными мазками, отдельные картины походили скорее на коллажи из лепнины. Сюжета я не нашел ни в одной. Это было беспредметное, отвлеченное творчество. Вихри, штрихи, сгустки красок, разбросанные и размазанные по холсту, будто в припадке безумия. Я с крайним удивлением осматривал неожиданный вернисаж, а хозяин скромно ожидал моей реакции, похоже, радуясь эффекту моего замешательства.

В сущности, удивляться тут было нечему. Поколение дворников и сторожей, о котором столь проникновенно пропел такой же дворник или сторож, ставший затем на многие годы звездой отечественной контркультуры, это самое поколение доживало как раз тогда свои последние романтические времена. Я был знаком с одним писателем (так он себя называл сам), работавшим оператором газовой котельной на Петроградской стороне, так он даже гордился этой должностью, однако не любил ее официального названия и говорил, что он — истопник. В доказательство приводил стихотворение Пастернака:

В пространствах беспредельных  
Горят материка,

В подвалах и котельных  
Не спят истопники.

Ну конечно, спал тот истопник-писатель на своем рабочем месте за милую душу, как и другие все истопники, однако и писать свои нетленные рассказы и романы у него времени оставалось навалом. Потом этот знакомый истопник написал повесть о той котельной, о своих дежурствах в ней, о товарищах-истопниках, обо всей тогдашней отопительно-богемной жизни. Хорошая у него получилась повесть, я ее читал в машинописном виде и действительно считаю, что она очень хорошая. Жаль, что ни один журнал в то время не захотел ее опубликовать, а когда пришли новые времена, она уже выглядела устаревшей. Некоторые произведения литературы хороши только для своего времени.

Знал я также одного сочинителя философских антимарксистских трактатов, так он работал почтальоном, разносил по квартирам трудящихся письма, газеты, повестки из военкоматов и уведомления о пришедших посылках. Писатели, поэты, художники, скульпторы, диссидентствующие публицисты и просто «мыслители» составляли в те легендарные уже годы добрую половину низового персонала коммунальных и иных подобных служб.

Дворник Сергей скромно ожидал моей реакции и оценки своего творчества, а я не рещался ее высказать, опасаясь его огорчить. Решился только задать явно излишний вопрос:

— Это все твои работы?

— Чужих у себя не держу. Конечно, мои.

— М-да-а-а... — многозначительно промычал я, делая вид, будто переживаю и осмысливаю увиденное.

— Ну, и какое впечатление? Нравится моя манера?

— Пока не знаю. Честно говорю — не знаю.

— Это правильный ответ. Если бы ты сказал, что нравится, я бы, во-первых, не поверил, а во-вторых, перестал бы тебя уважать. Живопись не может нравиться или не нравиться, она может только притягивать или отталкивать. Вот тебя как — отталкивает?

— Нет, что ты, ни в коем случае!

— Это честно?

— Абсолютно.

Лицо творческого дворника озарилось удовлетворенной улыбкой. Он пригласил меня располагаться, указав на выдавший виды продавленный диванчик, подмигнул и, пошарив за его спинкой, вытащил початую бутылку портвейна «Анапа». Так состоялось наше знакомство и его неременное ритуальное скрепление традиционным напитком. Он спросил, чем я занимаюсь, а я честно ответил, что не занимаюсь ничем, просто учусь, вернее, доучиваюсь на последнем курсе экономического вуза. Сергей понимающе усмехнулся, было видно, что подобных мне людишек он ни в грош не ставит. Впрочем, лично я ему чем-то приглянулся, в дальнейшем он ко мне благоволил.

За те примерно шесть или семь лет, что мы общались и дружили, я неплохо его изучил, узнал его привычки, странности, чудачества, не понял только одного: с какой стати он бросил свой институт и спорт и стал художником? Ни в детстве, ни в подростковом возрасте у него не возникало никаких поползновений хоть к какому-то виду творчества, не было таковых ни в семье, ни среди его друзей-товарищей. Вид спорта у него был силовой, довольно примитивный, он уже добился в нем успехов, физкультурный институт гарантировал ему карьеру вроде тренерской, непыльное, без-

бедное существование. И вдруг все это побоку, прощай, стипендия, прощай, студенческое общежитие, прощайте, мастера-наставники, прощайте, друзья-разрядники, прощай, спортивная карьера, и здравствуйте, холсты, краски, палитра, кисти, а также метлы, лопаты, скребки, совки и служебная лимитная обшарпанная десятиметровая комната в невзрачном полуподвале.

Сам он неожиданной своей трансформации объяснить не умел. Он даже удивлялся моим попыткам понять ее первопричину. «Решил заняться живописью», — кратко отвечал он на мои вопросы. Хорошо сказать — решил заняться. Это что же, шел по улице человек, шел-шел и вдруг решил: а займусь-ка я живописью! Но так в жизни быть не может. Конечно, он бывал во всех музеях Питера, но кто в них не бывал? Не все же, побывавшие в них, сразу решили переквалифицироваться в живописцы. Другое дело неформалы, художники-авангардисты, экспериментаторы, неконформисты, конфликтующие с «разрешенной», официальной живописью, работающие в пику ей, отвергающие реалистичную живопись. Они сбивались в творческие группы, кучковались, тусовались, устраивали свои рискованные полуподпольные вернисажи, часто на квартирах, иногда при большом везении в каком-нибудь заводском Доме культуры на окраине и всегда под бдительным надзором соответствующих органов.

Вот их и взял за образец бывший спортсмен Сережа Внуков, их творчеством, романтикой их трудных судеб он вдохновился и пошел по жизни их петляющей ненадежной стезей, не обещающей художнику ничего, кроме ухабов и преодолений.

Вираз Сережиной судьбы напомнил мне одного литературного персонажа. Както я поинтересовался, читал ли он роман Сомерсета Моэма «Луна и грош». Нет, о романе он не слышал, не читал его, а про Сомерсета Моэма сказал, что знает, но в дальнейшем разговоре выяснилось, что путает его с Проспером Мериме. Вполне простибельное для борца или штангиста заблуждение, а вот художнику-авангардисту роман мог быть полезен.

Простодушие и непрактичность Внукова были обманчивы, уже через год после нашего знакомства он распрощался с должностью дворника и обзавелся собственным жильем, для чего ему пришлось вступить в фиктивный брак с одной немолодой вдовой, и за деньги, присланные ему с Кубани родителями, он получил от нее во владение довольно неплохую комнату на улице Жуковского. Вдова его не обманула, выписалась и выехала со всеми манатками, а он не обманул вдову, расплатившись с нею в оговоренном размере. Следом за этим он сделался полноправным членом сообщества художников-неформалов с романтичным самоназванием ТЭИИ, что означало Товарищество экспериментального изобразительного искусства. Главное же — к моему несказанному удивлению, у него появились клиенты, проще сказать, покупатели. Стало быть, появились и деньги. Мне оставалось только порадоваться за моего, казалось бы, незадачливого друга-живописца.

Позже я познакомился с некоторыми сотоварищами Сергея по ТЭИИ, а также с их работами и не нашел в них никакого экспериментаторства. По большей части это были давно и хорошо известные наработки европейской авангардной живописи, которую не совсем справедливо принято называть абстракционизмом. Между работами «тэистов» попадались также и реалистичные, понятные любому человеку. Где же тут эксперименты? — удивлялся я. Сергей доступно объяснил мне, что эксперимент у них действительно присутствует в минимальном количестве, а мудреное название они придумали, чтобы отгородиться в глазах властей от всего этого иностранного, авангардного. «Абстракционизм» — плохое слово, «эксперимент» — хорошее, во всяком случае научное, а значит, идеологически безвредное, и прицепиться к нему будет трудно. Но разумеется, власть все равно цеплялась к ним и «пасла» их постоянно.

Использовать свою новую комнату на улице Жуковского как мастерскую Сергей Внуков, однако, не мог: коммуналка была плотно населена, условия для свободного и широкого творчества в ней отсутствовали. Вот он и скитался по случайным более или менее подходящим пристанищам, за которые, к счастью, ему было теперь чем платить.

#### 4.

Наша «газель» свернула со Среднего проспекта на Четвертую линию, проползла примерно половину ее до пересечения с Большим проспектом, притормозила, осторожно свернула влево, в какую-то подворотню и медленно-медленно въехала вначале в один двор, а затем в следующий, в самое василеостровское чрево. Я сидел в покрытом брезентом кузове среди перевозимого скарба, а Сергей в кабине с водителем указывал дорогу к новому своему обиталищу.

Я выбрался из кузова, спрыгнул на землю и услышал, как Сергей торгуется с водителем из-за оплаты. Водитель, мужичок лет сорока, требовал надбавки против оговоренного, ссылаясь на то, что петлять по задворкам он не подряжался, что ему теперь разворачиваться в узком месте и, вообще, рейс левый, а он на работе, его могут подловить гаишники и проверить путевой лист, то есть он сильно рискует, а за риск нужна доплата. Сергей возражал:

— Да какое тут петляние, какие тут задворки? Развернешься нормально, двор позволяет. А за риск ты и так получишь свое, как договаривались.

— Не-е, так не годится. Ты говорил, на Четвертую линию, а что далеко внутрь въезжаем, не предупреждал. Прибавить надо, одним словом.

— Ну, ладно, ладно, черт с тобой, прибавлю. Сгрузимся сейчас, и рассчитаюсь.

— Нет уж, рассчитайся сразу. Когда сгрузитесь, тогда и платить вроде как уже не за что.

— Тьфу! И откуда ты такой взялся со своей колымагой!

Сергей с досадой на лице вытащил свой кошелек и отслюнявил водителю нужную сумму. Мы скоренько поскидывали из брезентового нутра на землю нехитрый художнический скарб, «газель» зафыркала, развернулась и укатила наконец из двора.

— Ну, и куда теперь? — спросил я, озираясь с недоумением.

Двор был безлюдный, темный, мрачный, никаких признаков чего-то похожего на помещение для мастерской мой глаз не усматривал.

— Сейчас, сейчас расскажу, все поймешь... — бормотал Сергей, с раздраженным видом копаясь в своих ящиках и коробках, видимо проверяя наличие и целостность поклажи. Он был недоволен добавкой водителю против оговоренного. При всей широте своей художнической натуры в денежных отношениях он был прижимист.

— Бери эту коробку, — распорядился он, сам берясь за другую коробку, и я последовал за ним в далекий, совсем темный угол двора, где виднелось что-то вроде двери в кочегарку, несомненно, в подвальное помещение.

— Наша задача — быстренько занести вещи сюда, за эту дверь, — объяснил Сергей. — Убрали вещи со двора, и шито-крыто, никакого переезда. А там, за дверью, мы уже себе хозяева. Отдышимся и потихоньку-полегоньку пойдем вверх. Подробности объясню после. Действуем, братан, действуем!

Дверь была заклеена бумажкой с печатью жилищной конторы и неразборчивой подписью. Сергей подцепил бумажку ногтем, аккуратно отклеил один ее край, достал из кармана ключ и отомкнул визгливый замок. Железная дверь с лязгом и скрипом отворилась.

— Работаем быстро, — заговорщицким шепотом скомандовал он, и мы заработали. Когда пожитки были перемещены, Внуков закрыл дверь и запер ее изнутри своим ключом. Я наконец смог перевести дух и оглядеться.

Мы находились в тесном полутемном помещении с цементным полом, приходящимся вровень с землей. Свет давала слабая лампочка, торчавшая из стены под самым потолком, довольно здесь высоким, рукою до него мне было не достать. Имелся и еще какой-то свет, сочившийся непонятно откуда. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я разглядел главный, по-видимому, для нас предмет — начальные ступени винтовой лестницы, из верхнего нутра которой и исходил тот самый едва видимый второй свет, происхождения которого я поначалу не понял.

— Вот, нам сюда, — пояснил Внуков, указывая на лестницу.

— Высоко подниматься?

Внуков помолчал, испытующе глядя на меня, словно раздумывая, стоит говорить мне правду или не стоит. Все же он решился:

— Подниматься будет высоко, и лестница крутая. В этом здесь главная трудность, но это того стоит. Скоро сам увидишь и поймешь.

— Да ты хоть объясни, что там такое, куда мы поднимемся.

— Все объясню, только потом. Придем на место, и все объясню. Давай, берем по коробке и двинули.

Он постоянно обещал все объяснить и постоянно откладывал объяснение. Меня это уже начало раздражать. Что это за загадки, что за детские недоговорки со стороны человека, которого я считал своим другом?

Взяв каждый на плечо по коробу, мы начали подъем. Лестница была крута и нескончаема, голова моя вскоре стала кружиться от крутых поворотов. Внуков шел первым, я отставал от него на один спиральный завиток. Чертова лестница, проклинал я ее, по такой и налегке-то подниматься замучаешься, а тут изволь пыхтеть и упираться. Тусклые лампочки встретились всего в двух местах, большая часть пути проходила во мраке. Понятно, почему Сергей не повез сюда кушетку и стол, они просто не прошли бы по этой лестнице. Но сколько же можно вот так карабкаться и карабкаться в неизвестную высь, крутиться и крутиться словно бы на одном месте?..

— Пришли, уже пришли, — успокоил меня впереди идущий.

Мы оказались на узенькой лестничной площадке, выше которой уже не было ничего. Перед нами находилась обшарпанная дверь, закрытая на всякий амбарный замок и заклеенная такой же бумажкой, как дверь внизу. Лампочка здесь отсутствовала, зато имелось небольшое круглое оконце наподобие слухового, стекла его были запылены до непрозрачности, но некоторый свет оконце давало.

Сергей привычно и уверенно отогнул ногтем бумажку с печатью, откинул дужку замка, который, оказалось, не был замкнут ключом, рывком распахнул дверь, и перед нами открылся длинный, как тоннель, уходящий в перспективу коридор. По правую сторону тянулась глухая стена, скорее всего, внутренняя сторона брандмауэра, по левой стороне шла череда дверей, их было с десяток. Какие-то двери были затворены, какие-то приоткрыты, другие широко распахнуты, из них шел яркий дневной свет. В самом конце коридора тоже виднелся естественный свет, похоже, что шел от окна. Я стоял на пороге и с восхищением взирал на открывшийся вид. Где мы и что это такое?..

— Вперед, за мной! — весело скомандовал Сергей. Конечно, ему было от чего повеселеть.

Мы занесли наши коробки в одну из комнат, и восхищение мое переросло в восторг. После холодных, сырых, темных полуподвалов, на которые я насмотрелся, посе-

шая Внукова в его мастерских, это было не просто хорошее или отличное, а абсолютно идеальное для художника помещение. Обширная, не меньше двадцати пяти квадратных метров, комната с высоким потолком и огромным, во всю стену, окном. Это было даже не окно, а застекление, какие встречаются в оранжереях и в некоторых мансардах. Потолок в этой части комнаты был скошен в сторону окна, и это придавало комнате особую богемность и романтичность.

— Послушай, что это и чье это?

— Ага, удивляешься! Еще бы не удивляться. Это мансарда. Настоящая, питерская.

— Что мансарда, я и сам догадался. Но чья она?

— Моя! — торжественно и гордо ответил Внуков.

— Да ладно сочинять! Где у тебя столько денег, чтобы арендовать такую квартирицу?

— Пойдем принесем вначале мебель, потом присядем, я расскажу.

В соседних комнатах (они все были разных размеров и достоинств) нашлись и стулья, и стол, и тахта, и шкаф для одежды, и даже торшер. В каждой комнате находилось много разного бесхозного, явно брошенного за ненадобностью барахла, начиная с мебели и кончая мелкой кухонной утварью, вроде чайных ложечек. Мансарда несомненно была недавно расселена, и в новые жилища люди взяли только самое ценное и необходимое. Не оставили они в мансарде разве что свои холодильники и телевизоры. Лампочки везде остались вкрученными, свет горел, вода из кранов в кухне и ванной текла, правда, только холодная, но и это было чудом. Собственно, чудом здесь было все, сама эта мансарда в таком месте и в таком виде была подлинным чудом.

Прежде чем отправиться вниз за следующей частью своего скарба, Серега предложил передохнуть. Я вольготно развалился на перенесенной из соседней комнаты тахте, Сергей устроился на стуле рядом. И наконец он стал рассказывать, как вышел на эту мансарду и сколь долго получится ему здесь блаженствовать.

Подфартило ему совершенно случайно. Заехав как-то в арт-салон на Литейном проспекте, где выставлялось одно из его полотен, он столкнулся на улице с бывшим своим напарником по дворницкой эпопее. Напарник был давно уже не дворником, а мастером эксплуатационного участка при жилуправлении на Васильевском острове. Потолковали о былом, решили закрепить воспоминания известным способом. Распивать за углом не хотели ни тот, ни другой, в ресторанах же цены кусались, о чем знали оба. Сергей предложил проехать до его мастерской. Голосонули тачку, до места добрались благополучно и скоро.

Кореш в живописи не рубил, но бывшего напарника безмерно уважал, знакомством с ним гордился, в гениальности его не сомневался. Вот только мастерская... Ну, что это за мастерская?.. Сердце кровью обливается, когда видишь столь выдающийся талант, ютящийся в столь неподходящих для него условиях. Внуков объяснил бывшему дворнику, что хорошие, настоящие мастерские все на учете и все принадлежат городской власти, а сдаются в аренду по льготным расценкам только членам официального Союза художников, в котором он, художник Внуков, не состоит, потому что он художник оппозиционный. Если бы он даже захотел вступить, в этот союз его не примут, но он в него и не хочет. Не хочет потому, что не желает поступаться творческими принципами. Из этого его бывший кореш-дворник понял только, что сегодня будущей знаменитости пока еще не хватает бабок, чтобы снять себе достойное помещение.

Тут-то бывший друг-приятель и вспомнил о недавно расселенной коммуналке на Четвертой линии. Мансарду расселили окончательно, никакому заселению она больше не подлежала. Ее планировали передать под офис некоей бюрократической организации, но в последний момент организация от нее отказалась, сочтя не соответствующей

важному своему статусу. Мансарда зависла, ее опечатали, на какое-то время оставили в покое, а потом о ней просто забыли. Моментом следовало воспользоваться. Со своей стороны эксплуатационный мастер обещал сделать все, чтобы амнезия местной власти продолжилась как можно дольше. Год, во всяком случае, он обещал твердо, при этом надеялся к этому году прибавить минимум еще один.

— Ты полюбуйся, какой вид, — указал Сергей Внуков на окно. — Один здешний вид чего стоит!

И правда, вид был потрясающий. Мы распахнули одну створку широкого, как застекление какого-нибудь пентхауса, окна, и я с восторгом уставился на плоскогорье василеостровских крыш. Оно простиралось далеко до залива, а нам отсюда были видны и Большая Нева, и золотой купол Исаакия, и шпиль Адмиралтейства, и мне показалось, что я разглядел даже Медного всадника.

— Это что, — ликовал и радовался моему восторгу Сергей, — иди за мной, сейчас представлю вид похлеще.

Он провел меня в кухню, раскрыл там высокое окно, которое начиналось прямо от пола, и жестом пригласил на выход. Но куда? Я шагнул и очутился на крыше, на скате, на козырьке из кровельной жести, а в общем, на обширной, не сильно покатоной площадке, словно созданной для сидения на ней в шезлонге с биноклем или зрительной трубой для любования окрестным видом. Мы взошли на гребень кровли, и нам открылся вид в другую сторону: Ростральные колонны, Малая Нева, здание Биржи, Петропавловка с золотым своим шпилем, а на том берегу Невы — Зимний, то есть Эрмитаж. Весь старый Питер лежал теперь перед нами, весь он был сейчас в нашей власти. А еще голубое небо над всем этим и отличная майская, почти уже летняя, лирико-романтическая погодка.

— Над Россией небо синее, небо синее над Невой, в целом мире нет красивее Ленинграда моего! — не удержался я, продекламировал, а вернее, пропел эти старые строки, словно рожденные здесь и сейчас.

— Н-да, Ленинграда моего... — озабоченно отозвался Внуков. — Где он нынче, Ленинград, Петербургом теперь его велено называть. Не нравится мне это имя, не могу никак его полюбить. Холодное оно какое-то, колючее, да еще бургером отдает, и даже бургером. Ладно, слушай, поэт, идем в хату, я тут кое-что обмозговал.

Мы вернулись в мансарду.

— Вот что я надумал. Ты не чужой мне, а я тебе. Верно?

Я подтвердил, стараясь угадать, что он надумал, к чему клонит.

— Тогда бери себе одну комнату и дерзай. Твори свою поэзию, или нет, ты ведь прозу кропаешь. Свою творческую мастерскую получай и пользуйся. На двоих будем держать эту мансарду. Как тебе такое?

— Даже не знаю, что сказать... Не ожидал. Конечно, я согласен. Великодушно с твоей стороны. Прямо подарок такой неожиданный...

— Да ну, какое там великодушие. Комнат здесь до черта, занимай любую. Только не через стенку с моей, я тебе спать не дам по ночам.

Действительно, у Внукова, кроме других его странностей, существовала одна совсем для художника необычная: он писал свои картины по ночам, при искусственном освещении. Писал непременно под музыку из своей японской магнитолы JVC. Особенно любил «Пинк Флойд», и особенно их «Стену». Оказалось, что большую комнату с широким застеклением он берет под мастерскую, а под спальню решил взять соседнюю, меньшую. Я присмотрел себе небольшую уютную комнатку близко к кухне, через две комнаты от пристанища Внукова. Всего в мансарде комнат насчитывалось семь.

## 5.

Разные интересные, важные, веселые и не очень, события происходили между тем в стране. Руководил бывшей империей косноязычный, тугодумный, не всегда вполне трезвый, но все-таки скорее симпатичный дядька. К новому старому имени города я, в точности как и Внуков, привыкнуть не мог. Чем-то холодным, чужеземным и надуманным от него так и веяло. А в самой стране веяло свободой всех и от всего и бандюганским беспределом. Дня не проходило, чтобы не погиб от выстрела в упор или же из снайперской винтовки с чердака очередной крупный чиновник, заведовавший распределением неких благ и допустивший в их распределении ошибку. А то это мог быть главарь преступной группировки, не поделивший выручку от крышевания с другим главарем, еще круче и еще крышеватее. Запросто могли прикончить политического деятеля, не уловившего верного, нужного в данный момент направления политической мысли. Жизнь в стране и в городе вообще была небезопасна, но при этом очень интересна. Мы, молодые современники событий, рассуждая об этом, приводили как пример, которому не нужно следовать, Швейцарию или какие-нибудь Нидерланды. Дескать, в этих сверхблагополучных странах у всех есть все, но жить там было бы неинтересно, пресно, скучно и убого в эмоциональном смысле. Ни в Нидерландах, ни в Швейцарии никто из нас, разумеется, отродясь не бывал.

На далеком Кавказе бунтовало жестокое и дикое, как нам тогда казалось, воинственное племя. Бунтовало, к нашему удивлению, вполне успешно. Великая и могучая армия федералов терпела от него одно поражение за другим. Правда, нас это не сильно волновало, только вызывало раздраженное недоумение: зачем бунтуют и играют в независимость, ведь все равно придется раньше или позже замирииться, как это уже случалось в их истории, точнее, в нашей с ними общей истории?..

Куда хуже было, что нечто подобное происходило и на благословенном плодородном юго-западе нашей бывшей единой страны. «Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи!» Оказалось, мы ее совсем не знали, эту ночь, точнее, этот мрак упертого развязного национализма. Мы, конечно, знали, что он был и раньше, но тогда он таился и скрывался, был неслышен и неочевиден. А теперь прорвало. И одним из самых острых и болезненных вопросов стал для нас, и лично для меня, солнечный полуостров. Завоеванный и освоенный, а затем обустроенный в течение двух веков Россией, населенный именно русскими, он ни с того ни с сего, в одночасье сделался заграницей. Мы по традиции продолжали ездить туда и видели, что там пока еще все по-прежнему, но уже в поезда после Белгорода стали заходить пограничники, а перед Харьковом и таможенники, попеременно российские и украинские. Проверяли паспорта, осматривали багаж, задавали однотипные вопросы: куда едем?.. к кому едем?.. зачем едем?.. надолго ли едем?.. не имеем ли запрещенных к провозу вещей?..

Но ладно бы еще степной Крым, Южный берег с Алуштой и Ялтой, Симеизом и Форосом. Но Севастополь, Севастополь... Гордость, слава, боль и непреходящая тревога всякого россиянина. Неужели все пропало?.. Неужели отдаем?.. Такого быть не может. Не должно такого быть!..

## 6.

Я любил приезжать в Крым на поезде, и непременно через Севастополь. Большинство довольствовалось Симферополем, и это считалось рациональнее. Но рациональность в этом случае была мне чужда. Мне нужна была поэзия, нужна была романти-

ка. Встреча с Севастополем — она всегда как первая. Кто этого не знает и не чувствует, тот не поймет и половины того, что читает сейчас.

Скорый поезд № 7 прибывал сверххранним утром, около пяти. Рассвет еще не намечался, пассажиров встречала роскошная южная крымская ночь. Погода неизменно радовала, было тихо, звездно, тепло и безветренно. Черное, в бриллиантах, бархатистое небо говорило: вот ты и на юге, братец, наслаждайся и цени, ты встречаешься с этим всего раз в году, так созерцай, вдыхай и запоминай, ведь кто знает, всякий раз может стать и последним.

Обожал я выйти из вагона на ночной перрон, остановиться, опустить на землю сумки и прочесть на фронтоне вокзала крупно выведенное долгожданное, звучащее, как гимн, слово «Севастополь». И звезда героя-города над этим словом, рядом с ним. Потом небольшие организационные заботы, необходимо было избавиться от багажа, обеспечить себе свободу передвижения. Камера хранения еще закрыта, она, кажется, с семи, но ничего, всегда можно договориться с носильщиком или с дежурной по вокзалу, они охотно примут под свою охрану за умеренную мзду мои нехитрые пожитки. Затем нужно перейти к автовокзалу, который тоже еще спит, но он вот-вот уже откроется. Как только касса заработала, беру билет до Симеиза, но не на ближайший рейс, а на такой, чтобы иметь, по крайней мере, два часа для ритуального гулянья по памятным местам. И вот уже занимается слабый поначалу, а затем все более уверенный свет на востоке, над темными холмами Инкермана, над Малаховым курганом.

Еще пока темно, огни проснувшегося города отражаются в черной воде Южной бухты, окружающие бухту холмы тоже просыпаются и начинают подсветляться гирляндами электрических фонарей. Просыпается уже и солнце, нежно-розовая заря постепенно разливается и ширится над восточными городскими окраинами. С вождением смотрю на верх холма, где уже ясно виден главный для меня объект внимания — круглое светлое здание панорамы «Оборона Севастополя». Туда я поднимусь всене-пременно. Но вначале следует позавтракать.

Ночные привокзальные кафешки существуют, и владельцы их прекрасно осведомлены о приходящих поездах, поэтому сейчас они к моим услугам. Можно выпить кофе, скушать разогретую в микроволновке булочку с сосиской, полакомиться кексами с изюмом или круассанами а-ля франсе. После завтрака в животе приятно потеплело, потеплело и на душе, и жизнь теперь казалась полностью удавшейся. Теперь я бодр и готов к любым героическим действиям. Сейчас главное действие — восхождение к Панораме, к Историческому бульвару и еще ко многому интересному, что находится там, на холме.

А рассвет уже все заметнее, как поется по другому, правда, поводу о другом, извините за выражение, регионе. Да что «заметнее», уже попросту светло, уже все в летних крымских красках, каких больше нигде нет. Бухта, малые суда, приткнувшиеся к ее берегам, железнодорожные пути, вокзал, проезжающие ранние автомобили, рейсовые автобусы, городские троллейбусы, пешеходы, которых все больше. И над всем этим голубеющее в вышине, а на востоке уже пламенеющее небо с последними гаснущими одна за другой южными звездами.

Можно подняться по длинной, полого огибающей холм дороге, но я знаю тайную, укромную тропинку, она очень круто выводит меня сразу на вершину холма, прямо к Панораме. Те немногие, кто знает об этой тропинке, да у кого при этом еще ноги по-спортивному крепки, тому тропинка в самый раз. И вот я, запыхавшийся, но уже отдышавшийся, стою у круглого, похожего на мраморный шатер, а может, на античный храм строения. Панорама открывается не скоро, попасть внутрь до моего отъезда невозможно. Но мне это и не нужно, я бывал там много раз, все знаю наи-

зуть. Мне достаточно постоять возле нее, обойти ее по окружности, благоговейно разглядывая по пути установленные в нишах бюсты персонажей севастопольской страды. Даша Севастопольская, матрос Кошка, адмирал Корнилов, адмирал Нахимов, адмирал Истомина, генерал Хрулев, хирург Пирогов, артиллерист и писатель Лев Толстой...

Затем надо пройти по безлюдному пока еще Историческому бульвару — только птицы щебечут и прыгают по деревьям да пожилой дворник сгоняет метлой в кучку налетевший древесный мусор, — пройти мне нужно к мемориалу Четвертого бастиона. А Четвертый бастион — это и есть то главное, к чему меня тянет в первую очередь, когда я в Севастополе. Малахов курган — это тоже, конечно, святыня, но Четвертый бастион...

Вот я уже стою у корабельной пушки, глядящей своим жерлом в сторону неприятеля. По бокам у нее корзины и мешки с землей, защитный ее бруствер. Присаживаюсь на лафет, достаю из сумки фляжку, отворачиваю крышку-колпачок, наполняю ее коньяком. Это мой традиционный ритуал. Аккуратно проглатываю содержимое и мысленно желаю мирного упокоения всем павшим здесь героям. То, что они все герои, никаких сомнений.

Подхожу к гранитной стеле с рельефным узнаваемым профилем из белого мрамора и в который уже раз, который год подряд читаю хорошо знакомое:

*«Великому русскому писателю Л. Н. Толстому, участнику обороны Севастополя на 4-м бастионе, 1854—1855 гг.».*

Двадцатилетний артиллерийский подпоручик. «Севастопольские» его рассказы с восхищением и упоением читал Хемингуэй, читал и с грустью признавал, что сам так написать не сможет. Неплохая для иноязычного писателя рекомендация, нельзя не согласиться. Хемингуэй был честным и самокритичным автором, чем выгодно отличался от множества прочих придумщиков и сочинителей.

Дальше можно просто пройти по красивейшему из бульваров с таким красивым многозначным именем, как «Исторический». Сюда стоит приходиться из-за одного уже только памятника Тотлебену, который, в сущности, является памятником всем вместе героям севастопольской обороны, так много на нем изображено персонажей.

И наконец, итог, венец, конечный пункт моей мечтательной прогулки — здание библиотеки в самом конце бульвара, на спуске уже к городу. На закругленном светлом фасаде крупный портрет Льва Толстого, молодого, в офицерской форме севастопольского артиллерийского подпоручика, и ниже его строки, от которых замирает сердце:

*«Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах».*

И вот это все — эту стелу на Четвертом бастионе, эту пушку, глядящую в сторону неприятеля, эту библиотеку, бюсты Даши Севастопольской, матроса Кошки, адмиралов Нахимова и Корнилова, памятник Тотлебену, Южную и Северную бухты, Малахов курган, памятник затопленным кораблям — это все я должен почему-то отдать тем, кто все это открыто презирает, а меня, который любит все это, открыто ненавидит.

Да с какого же, черт подери, перепугу?!

## 7.

Большая для меня была загадка: как могли в прошлом обитатели мансарды пользоваться этой длинной, узкой и такой крутой винтовой лестницей, по которой мне-то, молодому и пока еще спортивному, подниматься и спускаться утомительно? Загадка разрешилась до смешного просто. Обитатели мансарды этой чертовой лестницей

вовсе не пользовались. Как у всякой мало-мальски нормальной квартиры, у мансарды имелись обычная лестница и входная «парадная» дверь со стороны кухни. Входная дверь была снаружи опечатана и заколочена гвоздями, а изнутри заслонена придвинутым к ней старорежимным массивным платяным шкафом. Винтовая лестница до революции наверняка служила запасным, пожарным, или, как тогда говаривали, «черным» ходом. В последние десятилетия «черная» лестница оставалась не действующей ввиду опасности, которую представляла ее крутизна. О существовании этой лестницы, как сообщил мне Сергей Внуков, знали даже не все сотрудники жилищного технического хозяйства. Мы с Сергеем пришли к выводу, что при надлежащем соблюдении конспиративных условий нашего здесь обитания мы смогли бы продержаться в мансарде весьма долгое время.

Я пребывал в самом лучшем, приподнятом расположении духа. В моей жизни началось что-то новое, слегка, правда, рискованное, но при этом сулящее какие-то прежде неведомые романтические ощущения. Конспиративная квартира. Тайное убежище для двух творческих личностей. Честно говоря, из нас двоих творческой личностью был один только Внуков, а я лишь пользовался его дружеским щедрым расположением. С некоторыми критическими оговорками он и меня причислял к творческим личностям по одному лишь основанию, что я пытался что-то сочинять. Внуков был моим первым читателем и безжалостным, к сожалению для меня, критиком. Несколько уже раз я подсовывал ему бумаги с плодами моих прозаических излияний. По первому разу вердикт его был суров до чрезвычайности.

— Фигня! Ты, конечно, обидишься, но это именно фигня. Как говорят в народе по такому поводу: ни ситцу, ни бархату.

— По содержанию или по форме? — робко поинтересовался я.

— И по тому, и по другому. Нет, пишешь ты красиво, гладко и, что особенно меня раздражает, очень грамотно. Все запятые, все тире и многоточия у тебя на своих местах. В школе ты наверняка писал сочинения на одни пятерки. Но мы с тобой уже не в школе, мы взрослые мужики, нам по двадцать восемь лет.

— Мне двадцать шесть недавно исполнилось...

— Да какая разница! Ну, двадцать шесть, ну пусть двадцать восемь. Ты уже взрослый, но мысленно ты еще мамин сынок, от этого твои проблемы в творчестве. Живешь с родителями, в армии не служил, из школы в институт, из института — в контору типа «Геркулес». Не жизнь, а канитель. Нет настоящего жизненного опыта. От этого и пишешь ты гладко, причесанно. Скучно, прямо скажу, пишешь. Ну, и, кстати, содержание... О чем этот рассказ? В нем нет сюжета, нет истории, нет хоть какого-нибудь конфликта.

— Что нет конфликта, с этим я согласен. Но по-моему, это не обязательно. Я старался передать картины крымской природы в горах, на прогулке. Там у меня и тропа серпантинном, и хвойный лес, и нагромождения камней от горных обвалов, и запах можжевельника. Мне казалось, я сумел передать...

— Да ни шиша ты не сумел. Ну, описал природу, ну и что? Не может быть литературы без сюжета, без истории. Назвал свое творение рассказом, а ни о чем в нем не рассказываешь.

— У Тургенева, у Бунина много таких рассказов с картинами природы, но без фабулы.

— Ах, у Бунина... Ну, так сравнийся с ним по уровню таланта, тогда уж и берись за описание природы. К тому же это было в конце девятнадцатого века, а мы с тобой живем на рубеже двадцатого и двадцать первого. Сегодня и Бунин не нашел бы своего не то что читателя, а даже издателя. Другие времена, другие песни. Короче говоря, ищи себя, авось найдешь. Писать-то ты вполне можешь, по-моему.

— Ну, хоть за это спасибо.

— На здоровье. Валяй, шуруй. Пиши дерзко, грубо, без этой твоей гладкописи. Время грубое, и писать следует в духе времени грубо.

Ну нет, подумал я тогда, писать грубо я точно не буду, потому что не умею, не приучен и учиться этому не стану. Но в целом критику я признал для себя полезной. От гладкописи надо избавляться, это верно. И сюжет, пожалуй, должен быть в произведении. Это он подметил верно: если рассказ, значит, нужно рассказать о чем-то, а не картинки, будто слайды, выставлять для обозрения. В общем, вывод для себя я сделал: писать следует учиться, но не у кого-то, а у самого себя, нащупывая постепенно собственные стиль и язык. Странно, что я не был даже в малой степени обескуражен резкой критикой Сергея, а напротив, преисполнился азарта и решимости работать над собой.

Кстати, порицающий меня за бессюжетность Внуков в своих собственных живописных работах превосходно обходился без сюжетов, и даже более того — без предметов. Большинство его картин представляли собою жирные мазки, штрихи, разводы и похожие на космические туманности пятна во все полотно. Первое время после нашего знакомства я подозревал, что он попросту неумелый, доморощенный мазилка, возомнивший себя гением палитры и холста. Но нет, довольно скоро я имел случай убедиться, что ошибаюсь.

Однажды я застал его перед только что законченным портретом девушки с большими синими печальными глазами, задним фоном для нее служили огни ночного города. Портрет был замечательно хорош, как хороша была и сама девушка. Я высказал свое полное одобрение Внукову, ожидая, что он примет мою похвалу с радостью и благодарностью, но я опять ошибся. Он хмуро буркнул что-то вроде «это так, для тренировки, чтобы не забыть, как пишутся портреты». Определенно он кривил душой, и портрет этот, и девушка для него что-то значили. Позже я обнаружил на обороте холста название картины: «*Кое-что из памяти*». А еще позже я узнал, что он целый год посещал вольнослушателем рисовальные классы в Академии художеств, то есть в Институте живописи имени И. Е. Репина, причем считался там способным рисовальщиком с натуры. Не таким уж беспредметником и не таким уж самоучкой был на самом деле мой товарищ Сергей Внуков.

Если кто из нас двоих и был самоучкой, так это я. Что я умел и что знал? Решительно ничего. Институтское экономическое образование было с моей стороны большой глупостью. К экономике, к ее теории и практике я индифферентен, очень мало что в ней понимал и в своей конторе, на своей должности чувствовал себя чужаком. Я давно уже подумывал о расставании с полученной неинтересной мне профессией, только не знал, что делать дальше, чем заняться, как обеспечивать себя хлебом насущным. Но теперь моя ситуация начинала меняться. Теперь я уже знал, что делать дальше. Из конторы я уволюсь, из родительского дома переселюсь в наше с Внуковым подоблачное царство живописных и литературных муз. Решительно и твердо я порву с сопливым своим прошлым. Впереди меня ждут неопределенность и опасности. Уж, по крайней мере, бедность и жизнь впроголодь мне обеспечены. Вот и чудесно. Будь что будет, а что будет, то и ладно. Моя участь — это участь самоучки. Самоучка — человек, который учится без посторонней помощи, не отвергая в то же время никого и ничего.

## 8.

У памятника Грибоедову напротив ТЮЗа кучковались какие-то люди. Похоже, что шел митинг. Митинги в те годы были рядовым явлением, вроде подростковой

игры в мяч где-нибудь во дворе. Я двигался как раз по той стороне улицы, шел от Пяти углов в сторону метро «Пушкинская». Из любопытства приостановился и стал слушать.

Толпа собравшихся казалась толпой только издали, человек собралось около полусотни, да и те явно были прохожими, так же, как я, приостановившимися из любопытства. Ораторствовал белобрысый парень с ручным мегафоном. По бокам от него стояли двое таких же парней, светловолосых и в одинаковых черных одеждах, напоминающих униформу охранников. В первом ряду зевак выделялись еще несколько такого же типа парней в черном, они изображали из себя зрителей и время от времени делали попытки возбудить толпу, выкрикивая «правильно!», «верно сказал!» и яростно аплодируя. Толпа оставалась, однако, огорчительно для заводил безучастна, ни голоса не подавала, ни аплодисментов не подхватывала. Один из троицы возле памятника держал слегка склоненный красный с белым кругом флаг, в круге по белому черным стояли три буквы «РОД». Поодаль от памятника скучали два милиционера.

Заметив в жидкой толпе любопытствующего нового человека, парень с мегафоном торжествующе указал на меня, словно я был важным гостем, которого заждались:

— Вот я вижу, люди подходят и подходят. Это не может не радовать нас, организаторов мероприятия, это вселяет в нас дополнительные надежды. Главное, что к нам идет молодежь. Впрочем, почему я говорю «идет»? Нет, она не просто идет, она тянется к нам. Тянется потому, что мы — движение молодых. Кто не знает, как читается наше название, я поясню, оно читается как Русское общенародное движение, в сокращенном виде — РОД. Двойной глубокий смысл у нашего названия. Мы русские, и мы все один род. Мы — родственники, вот что мы хотим донести до всех вас. И самое важное, что мы движение молодежи. Это не значит, что мы отвергаем старшее поколение, нет, мы его не отвергаем. Но впереди бесстрашно шагаем именно мы, молодое поколение именно русских людей. Мы — активисты, мы побуждаем народ к действию. Мы шагаем впереди, как... как... — оратор запнулся, подыскивая сравнение.

— Как гитлерюгенд, — подсказали из толпы.

— Что-о!.. — взбеленился парень с мегафоном. — Кто это там вякает? А ну выходи сюда, я взгляну на тебя, недоносок!

— Провокатор, — определил стоявший по левую от него руку соратник.

— Провокатор, именно провокатор! — подхватил через мегафон главный парень. — Слышь, выходи к нам, повтори то, что сказал! У нас с провокаторами разговор короткий. — Оратор погрозил в сторону голоса из толпы кулаком изрядного размера. — Ну, что не выходишь? Забздел? То-то же!..

Два милиционера поодаль насторожились, выражение скуки с их лиц сползло. Толпа, слегка испуганная, стала расступаться и редеть. Парень с мегафоном понял, что перестарался.

— Да нет, конечно, я имею в виду переносный, так сказать, смысл. Мы мирные люди, наши действия не носят насильственного характера. Но наш бронепоезд, как поется в песне, стоит на запасном пути. Какие же мы гитлерюгенды? Это несправедливое сравнение. Вот вы, вновь подошедший, — парень указал движением головы и свободной рукой на меня, — вот вы скажите, молодой человек, не бойтесь, скажите прямо, разве мы похожи на какой-нибудь там гитлерюгенд?

Я не стал уходить от ответа.

— Нет, на гитлерюгенд вы, пожалуй, действительно не похожи. Скорее, на штурмовиков. Штурмабтайлунген, в точном переводе — «штурмовые подразделения». Вот на них вы действительно немного похожи. Там тоже была в основном молодежь, но уже взрослая, крепкая физически, в униформу одетая. Очень даже на вас похожая. То есть вы на нее. Не обижайтесь. Вы меня спросили, я ответил.

— Ну, ладно, ладно, — со смущенной, снисходительной улыбкой возразил парень. Похоже, он вовсе не был обозлен, скорее даже польщен. — Ладно вам, какие мы штурмовые отряды... Мы, конечно, готовы к борьбе, в том числе и физически, в том смысле, чтобы дать отпор разным вражеским силам. Но мы мирные люди, я же вам говорю. Мы стоим за русскую нацию, против присосавшихся к ней всяких... ну, против сионистских прихвостней, высасывающих из нас, русских, жизненные соки. То есть в смысле не буквальном, а, так сказать, в фигуральном понимании...

Дальше я не стал слушать. Осторожно, очень медленно, чтобы не привлечь к себе внимания организаторов, пятясь задом и двигаясь боком, я выбрался из совсем уже поредевшей толпы и крадущимся шагом проследовал в нужном мне направлении.

## 9.

Дом, к которому я устремился, стоял в Казачьем переулке, рядом с известной в городе общественной баней. Совсем близко находился еще более знаменитый дом по улице Гороховой, 64. У экскурсоводов он значился как Дом Распутина, и действительно он был последним пристанищем того скандально известного персонажа. То и дело к дому подходила организованная группа любопытствующих граждан, и дамочка-экскурсоводша, надрывая голосовые связки, чтобы перекричать шум уличного движения, описывала жизнь приближенного к царской семье хитроумного Гришки. Меня этот дом и эти заезжие группы не интересовали совершенно, меня интересовал другой здешний дом, а в нем один подъезд, а в нем большая коммунальная квартира на четвертом этаже.

Я трижды, с интервалом в три секунды, надавил кнопку звонка.

— Дома? — спросил я открывшую мне тетку моей девушки Алины.

— Сидит, малюет на своем рабочем месте. Проходи.

Везло же мне на творческие натуры. Мало было живописца Внукова, так год назад я познакомился с милой девушкой, оказавшейся выпускницей художественного училища по части графики и оформительства. Промучившись не более полугода в должности учительницы рисования в пятых-седьмых классах, она всем сердцем осознала, что не к тому устремлена ее тонкая девичья натура, и в духе времени поменяла стезю, приблизив ее к более полному материальному содержанию. Занялась моя Алина художественным частным промыслом. Оказались у нее хорошие способности к росписи деревяшек в духе хохломы, но со своими сюжетами и расписными приемами. Деревянные заготовки ей поставлял старичок-боровичок, ее партнер по этому легкомысленному вроде бы бизнесу, а готовую продукцию сбывал другой ее партнер, торговец сувенирами в киоске возле Спаса на Крови. Разумеется, ни о каких патентах и налогах моя милая Алина знать не знала, слышать не хотела.

Она сидела на табурете в углу кухни и раскрашивала тонкой кисточкой верхнюю часть матрешки средней величины.

— Привет, — сказал я, войдя.

Не выпуская из рук ни матрешки, ни кисточки, она приподнялась с табурета и подставила мне для поцелуя щеку. Я звучно ее чмокнул. Возившаяся у плиты соседка возмущенно фыркнула:

— Совсем совесть потеряли. Краской кухню провоняют, так еще и... всякое такое.

Заниматься росписью изделий в комнате Алине не позволяла тетка, выдворяла ее для этого дела в кухню. Против кухни энергично возражала соседка, но ее Алина научилась игнорировать.

— Я должна закончить, посиди, пожалуйста. Чай вон можешь себе заварить, — распорядилась Алина.

Я сделал себе чай и, прихлебывая его, сидя за общим обеденным столом, наблюдал, как она заканчивает работу. Как все же здорово иметь талант хотя бы в такой области. На моих глазах примитивная яйцеобразная деревяшка превращалась в молодую русскую народную красавицу. Вот и личико обрисовалось, причем вовсе не такое глуповатое, какие обычно приписывают матрешкам, а, напротив, милое, осмысленное, умное. Затем цветастый полушалок, прикрывающий русую головку, из-под полушалка что-то вроде сарафана, и все это в ярких красках, в цветочках, в узорах. Изделия Алины пользовались спросом, «уходили» хорошо, как сообщал торговец из киоска.

— Ну а низ может и подождать, — решила она, придирчиво разглядывая надетую на два пальца верхнюю часть новосозданного шедевра.

Мы расположились за столом и принялись за чай уже вдвоем. Говорили о том и о сем, что нового, хорошего и не очень хорошего в нашей с нею жизни и вообще в стране. Собственно, я завернул к Алине только с одной целью: сообщить, что круто изменяю свою жизнь, перехожу на положение богемы без рубля в кармане, а заодно похвалиться обретенной башней из слоновой кости, как мысленно стал называть мансарду. Обе новости Алина восприняла с недоверием, но что касается мансарды, убедить ее мне все же удалось. Поверив наконец, она даже руками всплеснула:

— Вот это здорово! Фантастика какая-то. Ты просто счастливiec, ты и твой Внуков. Даже не верится, что такое бывает. Начнешь писать уже по-настоящему, вдали от суеты, на небесах обетованных. А я вон как вынуждена ютиться, на коленке работаю в буквальном смысле. Слушай!.. — она испытующе посмотрела на меня. — Слушай, а может, и мне там найдется местечко? Семь комнат на двоих — куда вам столько? Поговори с этим твоим Внуковым, замолви за меня словечко, а?..

— Да я и сам уже подумал о тебе, — признался я. — И так думал, и эдак. Непростой вопрос. От Сереги требуют конспирации, иначе его друг может пострадать по работе. А Серега требует конспирации от меня. Никто не должен знать, а тем более приходиться к нам, чтобы не засветить. Я поговорю, конечно, но обещать не могу. Во всяком случае, попробую. Имей в виду — лично я целиком за тебя, но решает он. Трудный будет разговор, очень трудный. Все упирается в нелегальность нашу и в необходимость конспирации.

— Конспирацию я гарантирую, ты ведь знаешь меня, я не балаболка, не трепло. Я могу быть вам полезна по хозяйству. Уборку сделать, на кухне что-то сообразить. Мне главное — иметь свое местечко подальше отсюда, — она с кислой миной обвела взглядом прокопченную дореволюционную коммунальную кухню.

— Ладно, позже разберемся, кто из нас кому будет полезен. Давай-ка собирайся, прихорашивайся к выходу в высший свет. Двигаем на Загородный, в джазовую филармонию.

Проходя час назад мимо этого очага культуры, я заметил афишу, обещающую нечто интересное: «Романтический саксофон. Баллады, блюзы, эвергринь. Джазовый квартет под управлением Э. Бузотеева». Пропустить такое было грех.

— Но там же цены несусветные, и выпивку заказывать обязательно, — неуверенно возразила Аля.

— Ничего, я приглашаю. Имею право потратиться по случаю обретения убежища Монрепо.

— Хорошо, но платим поровну, я за себя вполне способна заплатить.

— Я знаю, что денег у тебя больше, чем у меня, но разве в этом дело? Я пригласил, значит, я и плачу, и прошу этот вопрос больше не обсуждать. Собирайся, у нас меньше часа, а еще билеты покупать.

На концерт мы попали относительно легко. Я был удивлен тем, что билеты нам достались на хорошие места у сцены, а цена их была та же, что у мест в конце зала. Все сразу объяснилось, как только зазвучал романтический саксофон. Квартет — ударник, контрабас, рояль и тенор-саксофон — был сыгран, дело свое знал, композиции были подобраны из проверенных временем, но господи боже, как они гроыхали! Какой там романтизм, какие блюзы и баллады! Музыканты выжимали из своих инструментов всю возможную громкость, словно им платили не за музыку, а за децибелы. Особенно напрягался саксофонист, по-видимому, это был сам Э. Бузотеев. Он багровел, на лбу и висках у него вздувались синие жилы, глаза выпучивались и наливались кровью, до того он старался выдуть из своего тенора максимум звука. На балконе и в конце партера слушать, по-видимому, было можно, но у нас вблизи сцены на столиках дребезжали фужеры, а в ушах у меня скоро стало звенеть.

«Джазмены хреновы, — мысленно обругивал их я, — да приглушите вы, идиоты, звук, ведь вас слышно не только в любом конце зала, но уже и на улице. Неужели вы не понимаете, придурки, что играете не рок-н-ролл, а джазовые мягкие стандарты, для которых нужно „пиано“ или на худой конец „меццо форте“, но уж никак не „фортиссимо“. И помедленнее, помедленнее, не гоните так темп. Можно подумать, что вы опаздываете в аэропорт и вам нужно поскорее завершить концерт. Вот вы играете „Нитку жемчуга“ и „Звездную пыль“, это же красивейшие старые мелодии, еще тридцатых годов. Что же вы так дудите и спешите, словно хотите сделать из них „Танец с саблями“ из балета Хачатуряна? Чудаки вы на букву „м“, тудыть-растудыть, вдрабадан вашу мать!»

С досады я наклюкался коктейлей на такую сумму, что смог бы приобрести на нее подержанный саксофон. Алина, не будучи знатоком и ценителем джаза, переносила испытание музыкой легче, но и она была встревожена таким напором звука. Во время небольшого антракта я несколько пришел в себя и успокоился, но во втором отделении попытка возобновилась.

Я нашел для себя выход в том, что стал разглядывать внушительный зад пианистки. Она сидела за роялем на табурете вполборота к нам, и я отметил про себя: вот это то, что надо. На ней были черные брюки в обтяжку и белая блузка, и когда она поднималась раскланяться, было видно, что фигура у нее отменная, особенно нижняя задняя часть. Не удержавшись, я сказал вслух: «Вот действительно высший класс!» Алина проследила за моим взглядом, поняла, куда он устремлен, и я получил от нее ощутимый тычок в бок.

Когда гроыхания окончательно стихли, к нам с видом святой невинности подошла молоденькая официанточка. Я поначалу твердо решил расплатиться полностью, как обещал Алине, но когда она также полезла в свою сумочку, мою волю словно парализовало. В результате мы оплатили свои джазовые муки фифти-фифти.

## 10.

Реакция Сережи Внукова на мою робкую просьбу принять в нашу дружную, но сугубо мужскую команду девушку-художницу по имени Алина оказалась неожиданной. То, что она именно художница, которая, как и сам Внуков, нуждается в помещении для мастерской, явилось, по моему мнению, основным аргументом в ее, а значит, и в мою пользу. Выслушав мое сбивчивое, неуверенное ходатайство, Сергей словно бы смутился и начал бубнить что-то невразумительное.

— Да вот, жизнь конкретна в отличие от искусства. Мы предполагаем так, а выходит чаще всего по-другому. Бывает, все у нас бывает. Главное, что мы, мужики, полностью

обойтись без баб не можем. Во всех известных смыслах. Нет, я не о тебе, тут можно говорить широко. Я и сам такой, морально неустойчивый, как говорили когда-то. Ну, и что делать в таком случае? Надо нам что-то решать. Как, говоришь, твою краплю зовут? Алина?.. Да, красивое имя, звучит музыкально. А вот Татьяна — это будет проще. Н-да... И что же нам с ними делать, с этими Алинами и с этими Татьянами?.. Похоже, выхода у нас с тобою нет, дорогой мой брателло...

Из этого загадочного монолога в конце концов вытекло неожиданное сообщение: у Внукова есть давнишняя зазноба по имени Татьяна, она надомный мастер по мехам, по женским шляпкам и еще по каким-то дамским причиндалам, и она тоже просится в нашу мансарду. Татьяна эта была незамужней молодой женщиной с ребенком пяти лет, жила с матерью в квартире, хотя и отдельной, но однокомнатной, где не было условий для ее надомного промысла. Между тем этот промысел был делом изрядно доходным и необходимым для Татьяны и ребенка, учитывая отсутствие алиментов от неизвестного отца. В общем, выходило так, что Внуков склонялся к решению ее приютить. А для симметрии, по принципу равных его и моих прав, он склонялся также к мнению приютить и Алину. Растолковав мне эти жизненные обстоятельства, он озвучил свой окончательный вердикт: пусть обе женщины въезжают и вливаются в наш только что бывший мужским, а теперь уже смешанный коллектив.

Вердикту этому я почему-то не знал, радоваться или нет. Целых две дамочки — не многовато ли для башни из слоновой кости, о которой я мечтал и обретению которой так обрадовался. Да и башня ли теперь это, убежище ли Монрепо? Вопрос, однако, был решен и утвержден, мы расширяем круг мансардных обитателей, убежище становится подобием семейного пансионата.

Долго ожидать перемен не пришлось. Первой вселилась моя Алина. Я помог ей втащить к нам в мансарду по непривычной еще для нее лестнице пару картонных коробок, в одной из которых лежали кисточки, растворитель и краски, а в другой деревянные заготовки для будущих сувенирных шедевров. Спальные принадлежности и прочее необходимое в быту женщине барахлишко она обещала привезти днями позже без моей помощи. Себе она выбрала средних размеров комнату между моей комнатой и спальней Внукова. Это мы с нею решили вдвоем, учитывая то, что ее работа шума не производит, поэтому не будет мешать Внукову, который первую половину дня отсыпается после ночных творческих созиданий. А первую свою в мансарде ночь она, разумеется, провела у меня, в моей комнате. Это была восхитительная, романтическая ночь, одна из лучших в моей жизни. Ведь мы с нею были в подоблачной вышине, и в переносном, и в самом что ни на есть буквальном смысле.

Уже темнело, город начал зажигать огни, когда я вывел ее из кухонного окна на крышу, чтобы показать, где мы находимся и какой отсюда открывается чудесный вид. У нее даже дыхание перехватило. Ей до сих пор не приходилось побывать ни на одной из питерских крыш, а такую высоту, как эта, она просто не представляла. Кроме всего прочего, мы были на Васильевском. Само уже это слово звучало богемой, романтикой и приключением.

— Это так здорово... Это так здорово... — повторяла она, порывисто вышагивая по крыше туда и сюда, стараясь разглядеть все, что можно, вдалеке и вблизи.

Я крепко держал ее за локоть, опасаясь, что восторженные чувства лишат ее осторожности и она подойдет к самому краешку кровли. Никакого ограждения здесь не было, а внизу, на глубине тридцати пяти метров, неосторожного человека ожидал заасфальтированный грунт двора-колодца. Но какие это были мелочи в сравнении с майским вечером и ожидающей нас безмятежной майской ночью, первой на-

шей ночью здесь. А сколько еще впереди здесь таких ночей, никто не знал, никто не мог предугадать...

## 11.

Неподалеку от нашего дома с мансардой, на подходе к метро «Василеостровская», я заприметил нечто похожее на длинную очередь. На меня дохнуло давним, не совсем еще забытым временем. Очередь, когда что-то дают, причем дают наверняка что-то необходимое и дефицитное — как можно безучастно пройти мимо? Инстинкт толкал нас незамедлительно пристроиться к хвосту, застолбить себе место и только после этого поинтересоваться, что дают, почему дают и сколько в одни руки. Но ведь те времена давно миновали. Тем не менее была очередь. Я решил разобраться, в чем дело.

Хвост очереди выглядывал из проходного двора, а голова терялась в его глубине. Люди в очереди активно переговаривались, вид имели возбужденный и оптимистичный. Что-то впереди их ожидало радостное или, по крайней мере, приятное.

Очередь начиналась у окна первого этажа, обыкновенного окна, обыкновенного первого этажа обыкновенного питерского старого дома. Окно было низкое, на уровне груди человека среднего роста. Над окном тянулся крупно выведенный лозунг:

ОТКРЫТОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. ДОХОДНОСТЬ.

Ниже этого лозунга красовался другой лозунг буквами помельче:

Ни один ваш рубль не исчезнет без пользы.

На самом же окне была укреплена табличка с обещанием:

5 % в день — 35 % в неделю — 150 % в месяц.

И еще ниже, совсем уже мелко:

Прием денег от населения. ООО «Банк „Народный инвестор“».

«Жулье!» — однозначно определил я.

— Жулье, стопроцентное жулье! — громко сказал пожилой мужчина в очереди другому пожилому мужчине. — Но меня им не обжулить. Я сам объеду их на воровных, они и вякнуть не успеют. Надо знать, как с такими ухарями иметь дело. Понимаешь, тут главное — вовремя с крючка соскочить. Такие шурики затевают свою игрушку примерно на полгода. Первые два-три месяца проценты выплачивают исправно, чтобы побольше людей завлечь. Завлекут нужное количество людей, в смысле количество денег, выплачивать перестают. Дескать, это временная приостановка, чисто технические причины, со дня на день выплаты возобновим. Ну, люди дураки доверчивые, продолжают нести деньги. Еще месяцок подурчат людей, а потом — фью-ю! — ищи ветра в поле. Словно их и не было. Вот, значит, и следует уловить момент, чтобы свое по максимуму получить и вовремя отвалить.

— А вы что же, этот момент сможете определить? — с недоверием, но и с почти-тальной завистью спросил собеседник.

— Почему же не смогу, смогу обязательно.

— Но как, каким таким образом?

— А вот это уже дело личное. Каждый определяет, как может. Нутром нужно чутя, собственным своим нутром. Чтобы максимальный куш сорвать и при этом не пострадать. Я чую, у меня нутро чувствительное, оно меня не подведет, будь уверен, земляк.

— И все-таки на сколько времени вы посоветуете мне вложиться?

— Извини, земляк, я ничего не советую. Думай сам и сам решай. Я сказал тебе, что у них средний срок всей этой заварухи полгода, но может, и больше, а может, и меньше. Только меньше — это вряд ли, за малое время им хороших денег не собрать. Я-то знаю, на сколько вложу свои деньги, но это мое дело, а ты думай сам. Я точно буду с барышом, а уж ты как сумеешь.

Близко стоявшие в очереди жадно слушали бывалого инвестора, по лицам их было видно, что они мыслят точно так же: надо успеть сорвать куш и вовремя слинять. Я тоже слушал с интересом, но и с большой долей скепсиса. Конечно, дяденька мыслит верно, но ведь те жулики в окошке — они не глупее, что-нибудь да придумают и оставят этих дяденек и тетенок без их денежек. Нет, кого угодно, но только не меня можно надурить с помощью обозначенных процентов доходности, кстати, доходности действительно заманчивой. Пять процентов в день... Где еще найдешь навар такого уровня?..

От окошка отходили люди, держа в руках и пристально разглядывая красивые голубые бумажки, полученные ими взамен отданных денег. Классика жанра, подумал я, глядя на этих простодушных людей с голубыми бумажками. Ох, и доверчив же наш народ, ох, и доверчив...

Размышляя о доверчивости нашего великого многочисленного и многострадального народа, я покинул проходной двор с длинной и все прибывающей очередью к банковскому окну и проследовал своим маршрутом к станции метро.

К вечеру, однако, мои мысли вернулись к той очереди и к тому окну с процентами дохода. Я пытался отгонять их, но мысли вновь и вновь напоминали мне о плакатике с цифрами: пять процентов в день, тридцать пять процентов в неделю, сто пятьдесят процентов в месяц. Неплохой прибыток, очень неплохой. И дядька тот, безусловно, говорил все правильно. Если не жадничать, если поместить деньги на короткий срок, снять навар и сразу слинять, то получается совсем неплохо. Денег у меня немного, но в заначке кое-что имеется, и если расчетливо, осторожно поместить их, скажем, на месяц, то... Сто пятьдесят процентов прибыли. Из ничего, на ровном месте я удвою с гаком свои деньги. Один месяц — это разумно, это реально, это практически безопасно. Что может случиться за один месяц? Ничего за такой срок случиться не может. Риск, конечно, есть, но минимальный. А без риска не бывает ничего вообще. Рискнуть? Рискну! Решено и подписано.

На другой день я достал из шкафа свою заначку в наличных купюрах, потом зашел в Сбербанк и снял со счета большую часть денег, впрочем, эта сумма была невеликой. В целом же сумма получилась значительной, а будучи удвоенной, делала меня на какое-то время обеспеченным человеком. Деньги мне были теперь ох как нужны, ведь я уволился с работы и уже третий день являлся человеком без всяких доходов. Про мансарду я родителям рассказал все как есть, а про увольнение с работы благоразумно умолчал.

В приподнятом настроении, ощущая себя отчаянным рискованым удальцом, я поехал на Васильевский, к той очереди и к заветному банковскому окну.

Уже на подходе к знакомому проходному двору я ощутил тревожные импульсы. Никакого хвоста очереди, как это было вчера, из двора не выглядывало. Вчера хвост изгибался, завивался и растягивался по тротуару. Сегодня отсутствовали какие-либо его признаки. Я инстинктивно ускорил шаг. Войдя во двор, вздохнул с облегчением:

двор был полон народу. Облегчение тут же сменилось недоумением. Народ не был очередью, народ был бурлящей, гомонящей, негодующей толпой.

Не без труда протиснулся я к заветному окну. Окно находилось на месте, оно ничем не отличалось от других окон первого, второго, третьего и других этажей. Но теперь это было простое окно. Никаких девизов, реквизитов, лозунгов, табличек с обещанием процентов. Наваждение какое-то.

Люди вокруг меня требовали милицию, прокурора, депутатов, мэра. Требовать требовали, но с места не трогались, топтались во дворе у окна и обменивались возмущенными репликами. Я молчал. Я был обескуражен, но испытывал скорее облегчение. Мой гешефт не удался по неподвластным мне обстоятельствам. Я снова был свободен и ни от кого не зависим. Мои деньги остаются при мне, увы, в своем прежнем размере.

Рассерженные вкладчики стучали по стеклу окна, некоторые вошли в подъезд и стучали в квартиру. На стук вышла, видимо не в первый уже раз, немолодая обозленная тетенька и прокричала:

— Вот я сейчас точно милицию вызову! Какой, на хрен, банк, откуда здесь банк, вы мозгами своими раскиньте! Это моя квартира, и катитесь вы все отсюда! Говорю же вам, я неделю на даче сидела, посадками занималась. Знать не знаю, какой банк вам тут приснился. А ты не суй мне свою цидулку, я тебе своих цидулок могу под нос сунуть каких угодно! — заорала она на женщину, пытавшуюся предъявить ей голубую бумажку.

Я не стал дожидаться милиции или разбития стекол. Мне все было понятно до последней запятой. Бог, или кто там сверху, ведает делами на земле, сберег мне мои денежные накопления. Мне следовало бы перекреститься, но креститься правильно я не умел, поэтому только сплюнул три раза и зашагал скорее прочь из этого недоброго злокачественного двора.

## 12.

Мои родители находились со мною в непростых отношениях. Возможно, это я находился в таких отношениях с ними. Отношения между самими родителями тоже нельзя было назвать уж очень простыми. Все трое мы перекрестно находились друг с другом в непростых отношениях. Так постепенно и незаметно сложилось в нашей семье за последние примерно два года. А когда-то все было нормально или, может быть, почти нормально. Постоянно нормальными отношения между людьми быть не могут, особенно между близкими родственниками, вынужденными долгие-долгие годы жить вместе под одной крышей.

Разумеется, дело было не в крыше как таковой, а в количестве и метраже жилых комнат. Наша двухкомнатная квартира в хорошем центральном районе на набережной канала Грибоедова вблизи Львиного мостика кому-то вполне могла показаться отличным, престижным жилищем. Комнаты были равновеликие, хорошего метража, с высокими потолками, но только две, а нас, взрослых обитателей, трое. Пока я был малолеткой, это обстоятельство трудностей не вызывало, а если и вызывало, я их не замечал. Но потом я подрос, из мальчика превратился в совершеннолетнего юношу, затем в молодого мужчину двадцати пяти лет, а у отца с матерью к этому времени обозначилось что-то похожее на охлаждение и отчуждение. Я оказался между ними чем-то вроде постороннего, ни к одному из них не примыкающего, ни одному из них не сочувствующего, для каждого из них бесполезного, почти лишнего человека. Так я фантазировал себе в то время, а на деле это было, безусловно, не настолько драматично.

Я и тогда, и впоследствии старался понять, размышлял, с чего это вдруг разладились отношения между отцом и матерью. Никаких внешних причин для разлада у них не наблюдалось, никто из них не обвинял другого хоть в чем-то мало-мальски серьезном. Все сводилось к перепалкам-перебранкам по бытовым пустяковым вопросам. Пустяковые-то они пустяковые, но атмосфера в доме стала напряженно нездоровой. Это отражалось и на мне, я вслед за ними становился раздраженным без причины и постоянно пикировался с ними обоими.

Повзрослев и научившись думать, я пришел к однозначному выводу, что причиной всего этого явилась элементарная усталость отца с матерью друг от друга. Отцу до пенсии оставалось четыре года, матери всего два, поженились они, когда им едва перевалило за двадцать, так как же им было не утомиться от ежедневного, ежечасного, неотступного общения друг с другом, общения днем и ночью, в праздники и будни, в отпускные и в рабочие дни, в здравии и в болезнях?.. Тут было от чего задуматься мне самому.

Неужто и меня ожидает нечто подобное? Раньше ли, позже ли наверняка я женюсь. И непременно только по любви, так я железно решил заранее. Не поддаваться никаким соблазнам вроде обширной жилплощади у невесты или влиятельного, вельможного ее папочки. Я знал одного парня, женившегося только потому, что у его невесты отец был Героем Советского Союза со всеми полагающимися ему льготами, выплатами и другими широчайшими возможностями. Ничего хорошего из этого брака не вышло, я имел возможность наблюдать его от стадии знакомства до раздела жилплощади после развода. Упаси меня бог от такого семейного счастья. С милой рай и в шалаше.

Ну, хорошо, пускай не в шалаше, а в комнате четырнадцати квадратных метров (это я так просто, для примера) в коммунальной квартире где-нибудь в Кузьмолове или в Купчине. Год, два, три, или сколько там выпадет лет безмятежного счастья и полной гармонии отношений, и вдруг — такое, как у матери с отцом... Взаимные упреки, недовольство непонятно чем, раздраженность без причины и, как следствие, отдаление друг от друга. И хорошо еще, если отдаление обоюдное, значит, баланс отношений, без виноватых. А если раздражается и отдаляется только один, другой не понимает, в чем он виноват, страдает и переживает — что тогда?.. Хороший мне урок и назидание на всю мою будущую женатую жизнь.

Когда я сообщил вначале матери, а затем отцу о мансарде и о своем временном, а кто знает, может, и долговременном, переселении в нее, я уловил на лицах обоих родителей что-то похожее на одобрение и словно бы облегчение. Нет, они вовсе не радовались моему уходу, это была только первая произвольная реакция, которую они сейчас же постарались пригасить, сделать для меня неразличимой. Но я все равно ее различил, и я понял, что она означает. Они смогут отдохнуть не только от меня, но также друг от друга. Мать с несколько ненатуральной тревогой спросила:

— Если это что-то вроде общежития, как ты сказал, то где ты будешь кушать, где стираться, что там вообще за обстановка?..

— Там есть все, что нужно, мама, есть ванна, есть электрическая плита, есть холодильник (в этом я приврал, подержанный холодильник мы раздобыли и притащили потом). В общем, все будет нормально, ты не беспокойся.

— Ну, как же не беспокоиться... Постельное белье, полотенца, одежда...

— Все свое возьму отсюда. Комнату мою ты, конечно, можешь занять, если хочешь.

— Но ведь ты не насовсем, надеюсь?

— Думаю, не насовсем, но кто знает, как там все сложится.

Отец был по-мужски краток и конкретен:

— Ну, смотри, не знаю, что там у вас за компания, но если так решил, это дело твое. Материальная помощь нужна?

— Пока вроде бы не нужна. Надеюсь, что и не будет нужна. Ты не беспокойся, у меня расходы небольшие.

— Если что нужно, не стесняйся, говори. Навещать-то нас собираешься?

— Господи, да я же не за границу уезжаю и даже не в другой город.

— Ну, хотя бы звони, держи в курсе.

— Обязательно, не тревожься.

Я подумал, что невольно делаю для родителей доброе дело, освобождая для них свое место. Они теперь будут жить в разных комнатах, спать на разных кроватях, в отдельных постелях, и кто знает, может, все у них по этой причине наладится. Во всяком случае, хороший шанс у них для этого теперь появился.

### 13.

Татьяна оказалась миловидной женщиной лет тридцати, домашнего, скорее даже домохозяйственного вида, да в общем-то, по сведениям, полученным от Внукова, она домохозяйкой и была. О ее существовании и о ее близких с Внуковым отношения я до сих пор не ведал, хотя самого Внукова хорошо знал не первый год. Возможно, отношения их не были постоянными, но, скорее всего, он их умышленно не афишировал по каким-то личным своим соображениям. Как бы там ни было, она вскоре появилась и обосновалась в мансарде со всеми многочисленными атрибутами ее надомной нелегальной трудовой деятельности.

Атрибутов оказалось больше, чем я мог предположить. Мы с Сергеем, отдуваясь и пытая, трижды спускались и поднимали наверх ее коробки и узлы, и главное — ножную швейную машинку с электрическим приводом. После того как она заняла наиболее подходящую ей свободную комнату, совсем свободной оставалась лишь одна. Была еще одна свободная, но у нее протекал потолок, и потому мы с Сергеем определили, что она послужит кладовкой, хранилищем разных, ненужных пока нам вещей.

Выбрав день и час, когда все четверо обитателей нашей подоблачной квартиры были налицо, Сергей Внуков созвал общее собрание. Мы расположились в кухне, рассевшись вокруг общего обеденного стола. Сергей на правах ответственного лица и куратора председательствовал и держал речь.

— Значит так, дамы и господа. Положение наше шаткое, но небезнадежное. Необходимо установить и соблюдать жесткие правила, если мы хотим пользоваться этим замечательным местом долго и плодотворно. Даже у себя дома, в собственной квартире, мы соблюдаем определенные правила проживания, а здесь мы не дома, и не просто не дома, здесь мы нелегалы, что-то вроде подпольщиков. Давайте исходить из этого и соответственно этому жить.

— Я уже все объяснил Але, она в курсе, — сказал я.

— Хорошо, что объяснил, но это другое. Я тоже Татьяне все объяснил, а сейчас мы собрались, как бы сказать, официально. Не трали-вали между собой, а за этим столом вчетвером.

Татьяна при упоминании ее имени подтверждающе кивнула, дескать, да, он объяснил.

— Так вот. Давайте, ребята и девочки, жить невидимками. Нас здесь нет. Понимаете? И вообще никого здесь нет. Конечно, пока мы в мансарде, как вот сейчас, особо можно не волноваться. Но жизнь устроена так, что мы не можем сидеть здесь безвылазно. Мы уходим и мы приходим — вот в чем главная опасность. Мы можем быть за-

мечены и засвечены на входе. Входить и уходить придется по всем правилам конспирации. Допустим, ты хочешь уйти. Спустился до нижней двери — не открывай ее сразу, постой, послушай, нет ли кого во дворе. И даже если нет никого, не распахивай сразу дверь, приоткрой ее чуточку, выгляни, осмотришься, тогда уже выходи и сразу запри дверь ключом. Бумажку не забудь поправить, будто дверь опечатана. Истреплется бумажка, друг мой, который нам эту мансарду устроил, новую нам приклеит, он обещал. Бумажка должна быть, бумажка — наша подстраховка. Ключи от нижней и от верхней дверей я уже заказал, дубликаты все получают завтра. Это первое.

Второй вопрос о тишине. Под нами жилая квартира, вход в нее с другой лестницы, мы с теми людьми не столкнемся, но если начнем шуметь, они нас услышат и доложат куда следует. Поэтому живем тихо, музыку слушаем на малой громкости, во весь голос не кричим, каблуками по полу не стучим, никаких шумных работ не производим.

— А как же моя швейная машинка? — обеспокоенно спросила Татьяна.

— Нет, это пустяки, она только жужжит, я уже проверял, а гвозди заколачивать никто из нас вроде бы не собираются. Теперь еще о приходе. Когда приходим, тут дело попроще. Загляни вначале во двор, если никого, то смело проходи к двери, отпер ее быстренько, зашел, запер дверь изнутри. Бумажку тут уже не поправишь, но делать нечего, приходится рисковать. Чем осторожнее будем себя вести, тем дольше здесь продержимся. По-моему, все ясно и понятно. Вопросы у присутствующих есть?

— Один вопрос ты забыл осветить, а он очень важный. Насчет гостей и разных посетителей, — подсказал я ему тему, уже обсуждавшуюся между нами.

— Да-а... Это действительно важный вопрос. И очень сложный, прямо скажем. Мы тут все делаем занимаемся, при которых подразумеваются клиенты. Как же нам быть в таком разе?

— У меня лично приходящих клиентов не будет, — сообщила Алина. — Свою продукцию я отношу в торговую точку сама. Заготовки тоже приношу сама, а работа у меня тихая. Со мною точно без проблем.

— Со мною тоже без проблем, — вступила Татьяна. — Мы, вообще-то, уже говорили об этом, — она кивнула в сторону Сергея. — Дома ко мне клиенты ходили, конечно, но я изменю технологию. Снимать мерку с клиента, договариваться, примерку — все дома, а здесь только рабочий процесс. Мне давно так хотелось, чтобы не работать в жилой комнате, где ребенок. А вообще, сейчас у меня не сезон, заказов будет до осени мало.

Татьяна была шляпницей и скорняком, в сезон изготавливала зимние женские шляпки различных фасонов, а также была отличной, как говорил мне Внуков, швеей, специализировавшейся на женских брюках неджинсового покроя, всякие там карго, капри, бриджи, галифе и прочие мудреные модели для фемин.

— А у меня как раз самый сезон пошел, — призналась Алина. — Туристы начинают уже приезжать, лето на носу, а это у нас, сувенирщиков, самый горячий сезон.

— Понятно. Кстати, у нас еще имеется писатель. — Внуков иронически посмотрел в мою сторону. — У писателей клиентов, к счастью, нет, только издатели и читатели. Возможно, когда-нибудь будут штурмовать нашу мансарду, в надежде увидеть гения пера и компьютерной клавиатуры и, если очень уж повезет, получить от него автограф, но пока что до этого далеко. Остаюсь один я. И тут я, братцы мои, порадовать вас не сумею. У меня клиенты есть, и они будут сюда приходить. Смотреть и оценивать картины художника клиент должен именно в мастерской художника, и это без вариантов. Уклоняешься, не показываешь клиенту свою мастерскую, значит, ее у тебя и нет, значит, ты не художник. Но я уже продумал процедуру. Буду договари-

ваться о встрече на углу или у метро и приводить буду лично, а также лично провожать на улицу, до выхода из двора. Уверен, никакой беды на наши головы мои клиенты не накличат. Вот такой у нас расклад.

Все было всем понятно, дебатов не последовало. А когда на столе появились литровая пузатая бутылка красного испанского вина, стаканы, конфеты и яблоки в вазе, стало уже совершенно ясно, что официальная часть собрания завершена.

#### 14.

Лето — плохая пора для напряженных трудов праведных, для усидчивости и вообще для какой-либо серьезной работы. Лето — пора беззаботности, легкомыслия, пора загородных поездок и прогулок, пора пикников на обочине, пора бадминтона и летающей тарелочки, купаний, загораний, пора шорт и прозрачных блузочек у девушек, витания в облаках и обманчивого ощущения, будто жизнь удалась и будто вообще она сулит одни радости. А что касается работы... Нет, какая может работа в таких райских обстоятельствах. Работа будет, но еще не скоро. Осенью. Вот это время года как нельзя лучше подходит для созидания и сотворения. Пасмурное небо, затяжные дожди, похолодавший воздух, поздние рассветы и другие признаки угасания — вот это и есть время для большого самоуглубленного труда. Недаром же укоренилось стойкое понятие «Болдинская осень», указывающее на огромную потенциальную плодотворность этого времени года.

Так я утешал и оправдывал себя в июне и июле, откровенно и с удовольствием предаваясь бездельничанью. В сибаритстве моем виновато было в первую очередь именно лето, которое выдалось в этом году непривычно для наших краев жарким, солнечным, знойным. Понемногу начал отлынивать от своих живописных занятий даже мотивированный и дисциплинированный Внуков. Вспомнив свое спортивное прошлое, он не реже двух раз в неделю на полдня убегал к Петропавловке для оздоровительного купания в холодной и быстрой течением невской воде. Чтобы не бегать так далеко в одиночку, он почти насильно привлек к своим оздоровительным мероприятиям меня.

Примерно через часик после завтрака мы с ним надевали майки, шорты, кеды, кепочки-бейсболки от солнца и спускались с наших поднебесий на грешную землю. Неспешной трусцой пробегали по Четвертой линии до Большого проспекта, поворачивали влево на Кадетскую линию, пробежав по которой оказывались на Университетской набережной, дальше до Биржевого моста через Малую Неву, по мосту до парусника, плавучего ресторана, и вот мы уже на Заячьем острове, бежим вдоль серых гранитных, не радующих глаз даже солнечным летом бастионов Петропавловской крепости.

На пляже, понятное дело, уже полно народу. Нам это безразлично, мы не ложимся загорать, подобно тетенькам и дяденькам с детишками и без. Мы раздеваемся на песке до плавок, расходимся метров на десять и начинаем перебрасываться тарелочкой, она была под майкой у Сергея на спине во время бега. Летающая тарелочка, если пользоваться ею умело, замечательный спортивный снаряд. Вроде просто невесомый блин из пластика, а какое напряжение дает всем мышцам и какой азарт. Пляжники помоложе смотрят на нас с завистью и просительно: возьмите, дескать, нас в игру, мы тоже так хотим. Мы принимаем преимущественно девушек, но физически подходящих парней тоже. В конце концов образуется круг из пяти, шести, восьми человек, и красная наша тарелочка летает от смуглой в узеньком бикини брюнетки к накачанному парню с ежиком на голове, от него к белотелой пока еще, но, конечно, тоже

в бикини блондинке, от нее к Сергею, от него ко мне и так до бесконечности, то есть до полного нашего с ним утомления.

Благодарим партнеров и партнерш, прячем тарелочку под уложенную на песке одежду и идем купаться. Не первый уже год купаться здесь запрещено, но мы с Сергеем оба созданы для нарушения запретов. Стремительно и дерзко мы бросаемся в воду и плывем саженками на глубину под небольшим углом наперерез течению. Вода чертовски холодна, но это нас только подзадоривает, подгоняет и придает куража. Проплыв с полсотни метров туда и с полсотни обратно, мы так же стремительно выскакиваем на берег. Дежурный по пляжу, слоняющийся с мегафоном по песку туда-сюда, не успевает заметить наш заплыв и среагировать на нарушение. Если же он все-таки замечает и реагирует, мы включаем дурочку: а мы не знали, мы приезжие, мы здесь впервые, мы из Мухосранска, и мы больше так не будем. В дело снова пущена тарелочка, а потом мы еще и еще нарушаем запрет на купание. Заплывать у Петропавловки меньше трех раз было бы просто стыдно для таких отвязных авантюристов, как мы с Внуковым. С нашими мансардными делами и заботами мы и здесь ощущали себя рискованными парнями, нелегалами, подпольщиками, чужими среди своих и своими среди чужих.

Петропавловка была для нас эпизодами, физкультурным мероприятием, а большей частью мы пропадали за городом, там, где поплавать можно было вдоволь и без нарушений. Лучшим местом для купания мы признавали Озерки, но только второе, Среднее, озеро. К воде там полого спускался обширный песчаный холм, и по этому наклонному песку шикарно было скатиться и плюхнуться в воду, достаточно здесь глубокую для опытного пловца. Часто мы ездили на залив: в Солнечное, в Комарово, в Репино, в Зеленогорск. Пляжи там отличные, особенно в Зеленогорске, целый песчаный аэродром, на котором смогли бы уместиться все пляжники Питера, но купаться в мелководном заливе нам было неинтересно. Не хватало терпения идти и идти по колено в воде по каменистому дну сотню, две, а то и три сотни метров, пока вода не дойдет до груди, чтобы наконец поплыть по-настоящему.

Выезжали большей частью мы с Алиной, иногда к нам присоединялся Сергей, и еще реже Татьяна. У нее дома был малолетний ребенок, и хотя его надежно опекала бабушка, добрую половину времени она проводила там, с сынишкой и с матерью, и лишь другую половину в нашей гоп-компании, в мансарде. Вопрос о том, кто же отец ребенка и где он, время от времени появлялся в моей голове, но женщине таких вопросов не задают, а Сергей, который, безусловно, что-то знал, от разговора на эту тему явственно уклонялся. Я сделал для себя вывод, что если кого этот вопрос и касается, то исключительно самой Татьяны и, возможно, в какой-то степени Сергея Внукова, а мне проявлять любопытство значило бы демонстрировать дурное воспитание. Алина тоже иногда отлучалась в свою коммуналку к тетке, бывало, что и ночевала там, но с нею все было понятно. Отношения у нас с ней сложились идеально ровные. Между двумя нашими женщинами отношения установились также ровные, не то чтобы они сделались подругами, скорее добрыми соседками по нашей коммунальной — в данном случае от слова «коммуна» — квартире-мансарде.

Когда нам с Алиной ехать никуда не хотелось или ехать ей не хватало времени из-за большого числа заказов на сувениры, мы устраивали загорание на крыше. Мы лежали на расстеленном одеяле в темных очках совершенно голенькие, потягивали охлажденное светлое пиво и похрустывали яблоками, рядом стояла магнитола, из которой не слишком громко звучал оркестр Каравелли, или Берта Кемпферта, или Перси Фейта, питерское солнце припекало нас и поджаривало, перед нами во всю ширь растянулся наш город, и ничего лучшего в такие минуты мы для себя не желали.

Но когда Алина отсутствовала и я ночевал в одиночестве, меня посещали мысли далеко не радостные. Лето — это, конечно, чудесно, и пусть оно длится как можно дольше, думал я, только что же потом? Сейчас я прикрываюсь летом как причиной своего творческого бездействия, но ведь лето неизбежно подойдет к концу, а у меня за душой как не было ничего, так ничего и не появилось. Хорошо, пускай не за душой, а в мыслях, в планах, в заготовках. Я пытаюсь писать, я самонадеянно решил, что это будет основным моим жизненным делом, я с работы уволился, я переселился в эту вроде бы удобную, располагающую к дерзаниям студию, но внутренней уверенности в себе у меня не прибавилось. Чтобы написать что-то стоящее, нужны жизненные сюжеты. Чтобы обладать жизненными сюжетами, надо знать жизнь. А разве я ее знаю?..

Факт, что я не знаю жизни и пока еще ничего не умею, постепенно стал до меня доходить именно здесь, в мансарде. Наивно я полагал, что стоит мне оторваться от прежней рутины, переместиться в богемную тусовочную среду, как тут же на меня снизойдет вдохновение, сюжеты начнут рождаться в голове, опережая один другого, и шедевры так и потекут из-под моего пера. Все это оказалось фантазией, миражом.

Другой вопрос: так ли уж прав Внуков, утверждая, что сюжет однозначно необходим и что я должен непременно поведать читателю какую-либо историю? Соглашаясь с ним на словах, я до конца не был в этом уверен. Вся литература Серебряного века опровергала такую теорию. Не говоря уже о поэзии, где большей частью нет сюжета, а есть только ощущения, даже проза того времени носит характер экспромтов, картинок с воображаемой эфемерной природы. Должно быть, это вообще дело личных пристрастий как для автора, так и для читателя. Понять, с какой я стороны, тяжелая задача для меня. Вначале мне казалось, что я — бессюжетник, импровизатор. После критики Сергея Внукова стал думать по-другому. Только одно дело думать, а воплощать на бумаге свои думы — это ведь совсем другое. Ничего у меня на бумаге покамест не воплощалось.

Я не раз ловил себя на том, что завидую и Сергею, и Алине, и даже Татьяне. Каждый из них имел свое дело, и каждый свое дело знал. Ближе всех мне была по понятным причинам Алина, и ее дело я знал хорошо. Наблюдать за ее работой мне нравилось. Я наблюдал и всякий раз удивлялся, как это у нее так здорово и так запросто получается, из ничего — произведение искусства. Она расписывала деревянные заготовки матрешек, ванек-встанек, пасхальных яиц, солонок, сахарниц, кухонных разделочных досок, декоративных суповых ложек.

Вот, например, такая сугубо утилитарная штука, как разделочная доска. Она брала заготовку и вначале долго ее разглядывала, прикидывая, как будет действовать. Вооружалась простым карандашом и начинала наносить тонкими линиями основу будущего цветного узора. Вскоре доска покрывалась, словно паутиной, едва видными причудливыми загогулинами, ни на что пока еще не похожими. Карандаш сменялся кисточками и рядом выстроенных открытых уже баночек с красками, и тогда начиналось главное действие. На моих глазах невзрачная карандашная паутина превращалась в роскошный букет алых маков, обрамленный венком зеленых, вроде как лавровых, листьев. Результат всегда был замечательный, я в этом убежден без всякой связи с нашими личными отношениями. При этом я ни разу не видел перед нею выкроек, трафаретов, альбомов с вариантами росписи, нет, она это придумывала тут же, на ходу, руководствуясь только своей моментальной фантазией. Это было несомненное творчество, а никак не ремесленничество.

Еще меня озадачивала и слегка даже пугала ее отрешенность во время работы. Меня она не видела, не слышала и давала понять, что не хочет ни видеть, ни слышать.

Если, забывшись, я пытался с нею заговорить, она обращала на меня отсутствующий взгляд, и этот взгляд говорил: слушай, парень, ты, конечно, мой друг и любовник, но сейчас отвали, тебе нехрена делать, а я, как видишь, работаю, причем работаю на нас двоих, ты ведь ни шиша не зарабатываешь, ты фактически мой содержанец, так что подожди, пока я не закончу. Я, должно быть, преувеличивал, приписывая ей такие мысли, но если бы они были, они были бы справедливыми. Говорить с нею во время работы можно было разве что, когда она покрывала лаком уже готовую, хорошо просохшую красочную роспись.

Впрочем, для своего оправдания я могу сообщить, что не таким уж нахлебником был я у моей замечательной труженицы. Я взял на себя должность мальчика-посыльного, связного между нею и ее партнерами. У одного я получал и привозил ей заготовки из бука, дуба, ясеня, березы, а другому, который торговал сувенирами у Спаса на Крови, отвозил готовые изделия и получал с него выручку за реализованные экземпляры. Алина говорила, что этим я сберегаю ей кучу времени, которое она с успехом тратит на изготовление дополнительного числа сувениров.

## 15.

Однажды в конце августа Сергей Внуков вернулся откуда-то в мансарду озабоченный и взволнованный. Он сообщил, что у него наметился очень важный и очень денежный клиент, сиречь покупатель. Причем этот покупатель — иностранец, немец, следовательно, заплатить может валютой, долларами или евро. Конечно, это не самое главное, но и пустяком назвать такое обстоятельство нельзя. Немец этот видел несколько работ Сергея в разных экспозициях, обратил на них свое немецкое внимание, записал или запомнил имя автора, а недавно на одной из выставок встретился и с самим автором. Он был, по-видимому, из тех коллекционеров, что выискивают новые многообещающие имена, приобретают их картины в надежде на будущую широкую известность авторов, а значит, на возросшую цену их живописных творений. Естественно, он высказал желание побывать у художника в мастерской, увидеть его прочие, не выставленные пока еще работы. Естественно, Сергей высказал свое охотное согласие, они договорились о дне и часе встречи, и встреча должна была состояться сегодня, уже через пару часов.

Женщины в мансарде в этот день отсутствовали, чему Сергей, по его словам, был очень рад, ему не хотелось, чтобы его мастерская произвела на иностранца впечатление общежития или, того хуже, коммунальной квартиры. Вообще, на мой взгляд, он придавал визиту заезжего гостя слишком уж большое значение, слишком уж переживал и волновался о впечатлении, которое произведет на него он сам, его работы и наша мансарда. Конечно, выйти со своими работами на международный уровень было бы для него просто здорово. Но уж так волноваться и так беспокоиться по поводу какого-то визитера и его толстого кошелька с долларами... Видеть Сергея таким было мне огорчительно.

Немец оказался именно таким, каким можно было представить себе среднего, типичного немца: лет около сорока, высокий, плотного сложения, светловолосый, при этом еще и хорошо загорелый, скорее всего, где-нибудь на Кипре, в Греции, в Турции, на Балеарских островах. Он явился не один, а с нашим русским парнем, якобы переводчиком, но Внуков заподозрил в нем (он мне это после сообщил) консультанта, специалиста по местным художникам-авангардистам, чтобы немец по неопытности не заплатил лишнего.

По лицам вошедшего покупателя и его спутника было видно, что они удивлены и утомлены подъемом по нашей бесконечно длинной и крутой винтовой лестнице. Позже я предположил, что именно этот факт сбил с них кураж и сделал покладистее в процессе обсуждения цены картины.

Мне Сергей заранее отвел роль своего не то агента, не то ассистента, в общем, помощника, и хорошо хоть не мальчика для смешивания красок и мытья кисточек. От меня требовалось просто находиться рядом, изображать из себя знатока живописи, поддакивать Сергею, а на возможные скептические пассажи гостей отрицательно покачивать головой и всем видом показывать несогласие.

Гости разглядывали полотна, изредка перебрасывались краткими немецкими фразами, по их виду нельзя было определить, удовлетворены ли они увиденным или разочарованы. Немец, как видно, был тертый калач, умел владеть собой и не показывать своих эмоций, и его спутник также умел придавать своему лицу выражение бесстрастности. Тем не менее эмоции им все же пришлось проявить. На одном полотне немец задержался, стал передвигать его, поворачивать так и этак, отходил от него, подходил, снова отходил. Я торжествовал: полотно это нравилось мне самому. Картина представляла собою глубокую синеву, похожую на небесную, но скорее космического характера. Кроме голубой и синей, других красок в этой картине не было. Голубизна имела вид воронки и затягивала в себя взгляд зрителя, ощущение было, что ты летишь сквозь нее. Это было нечто трудно выражаемое словами. Я, помнится, предложил Сергею назвать картину «Just Blue» по названию одной из композиций группы «Space». Название можно было перевести как «Безупречная синева», «Абсолютная синева» или просто как «Синева», «Голубизна». Сергей, однако, к моему предложению отнесся равнодушно, и картина оставалась без названия. Я давно заметил, что он из упрямства не следовал никаким советам в том, что касалось его творчества.

Немец что-то сказал своему спутнику. Тот повернул подрамник с полотном обратной стороной, не нашел там названия и перевел вопрос немца:

— Как называется эта работа?

Сергей замаялся, он, видимо, старался вспомнить вариант, предложенный мною, но вспомнить не мог. Еще немного, и он мог смазать впечатление, явно произведенное на гостей полотном. Полотно без названия ощущается как неполноценное. Я понял, что должен спасать положение.

— Позвольте, я отвечу за Сергея Васильевича. Мы как раз на днях обсуждали название этой картины и окончательно его утвердили, автор просто не успел подписать его, как положено. Дело в том, что эта работа навеяна музыкой. Не вообще музыкой, а совершенно конкретной музыкальной пьесой. Вы, конечно, знаете Дидье Маруани и его электронную группу «Спейс», что по-русски значит «Космос». Сергей Васильевич, да и я тоже, мы оба являемся горячими поклонниками этой музыки, часто ее слушаем. Это полотно создано под влиянием и буквально в процессе такого прослушивания. Собственно, это иллюстрация музыки сфер, космического, так сказать, звучания и самой идеи космоса как фактора, вдохновляющего художника на творчество. Межгалактические пространства, беспредельность Вселенной — вот что хотел отобразить художник в этой картине. Пьеса, которая звучала в момент окончания работы над картиной, называлась «Just Blue». На наш взгляд, лучшего названия для этого полотна быть просто не может. Это и есть его подлинное и окончательное название — «Just Blue».

Выслушав перевод моей эмоциональной тирады, немец обратил на Внукова вопрошающий взгляд. Тот молча, решительным кивком, подтвердил мое сообщение.

— Но тогда вам следует поставить на картине ее название, — сказал на своем языке немец, а его спутник нам перевел.

Я внутренне похолодел. Сергей не смог бы написать эти английские слова правильно. В вопросах языкознания мой друг был не слишком силен. Кажется, назревало фиаско. Сергей растерянно смотрел на меня. И тогда меня осенило.

— Уважаемый... Генрих, кажется, да?..

— Генрих, совершенно верно, — подтвердил переводчик.

— Уважаемый Генрих, вы сейчас наш гость. Вы обратили внимание на эту картину, и вполне заслуженно обратили, она того стоит, эта картина. Но у нее нет названия. То есть фактически оно есть, оно уже приготовлено, но не надписано должным образом. Благодаря тому, что вы это заметили и подняли этот вопрос, картина окончательно и бесповоротно обрела свое название. В каком-то смысле мы вам за это благодарны. И в знак благодарности мы предоставляем вам право... да нет, мы вас просим, именно просим, чтобы вы сами лично написали на обороте полотна название картины и поставили сегодняшнюю дату. А потом автор поставит рядом свою подпись. Это будет справедливо по отношению к вам, и это будет знаменательно. Надеюсь, вы согласитесь на такое сотрудничество.

— O, ja, natürlich! Besser danke! (О, да, конечно. Большое спасибо) — с энтузиазмом воскликнул немец, как только спутник перевел мою речь. У немца прямо глаза загорелись, до того ему пришлось по душе мой неожиданный финт.

Мигом сообразив, что к чему, Внуков протянул ему черный маркер, и Генрих по-немецки аккуратно, каллиграфично вывел на обороте холста это самое злосчастное название «Just Blue», а рядом тогдашнюю дату. Сергей, получив от него маркер и поколебавшись, выше или ниже ставить подпись, поставил ее выше, размашисто, но разборчиво — С. Внуков. И это было только начало настоящего разговора. Я уже всем нутром чувствовал, что без этой картины немец Генрих от нас не уйдет.

— Какова цена этой работы? — спросил через переводчика Генрих.

Вопрос этот переводчик почему-то обратил ко мне, и глядел он вопросительно именно на меня. Я указал на Сергея, показывая жестом: вот автор, владелец, он же и продавец, все вопросы к нему. Повисло молчание, во время которого Внуков, несомненно, лихорадочно соображал, сколько запросить, чтобы не промахнуться. Потом он заговорил.

— Вы, между прочим, забыли вначале спросить, продается ли эта картина вообще.

— Да, конечно, — согласился переводчик. — Так она продается?

— Я об этом пока что не думал, но раз уж ваш друг обратил на нее внимание и раз вы об этом спрашиваете, то я могу сказать, что да, она может быть продана.

— Так скажите тогда вашу цену.

И Сергей сказал. Я чуть не поперхнулся. Таковую цифру я лично выговорить не сумел бы. Но гости не выглядели обескураженными. Они обменялись несколькими фразами, после чего переводчик сказал:

— Это слишком дорого. Мы можем предложить...

— Вы извините, но я не торгуюсь. Я назвал цену, она вас или устраивает, или не устраивает, и тогда картина остается в мастерской. Когда-нибудь она найдет покупателя.

Генрих ненадолго погрузился в раздумья. Затем — была не была! — решительно рубанул в знак согласия рукою воздух. Переводчик словесно подтвердил его жест.

— Если вы удачно подберете раму, впечатление от картины усилится, — сообщил Внуков.

— О, да, я знаю, что рама имеет большое значение. Я, конечно, подберу соответствующую, — перевел ответ Генриха его спутник.

Сергей взялся упаковывать картину, Генрих взялся отсчитывать извлеченные из желтой кожаной барсетки купюры.

— Желательно половину суммы в долларах или в евро, — высказал пожелание Внуков.

— Не вопрос, — лаконично отозвался переводчик. — Нынешний курс знаете?

— Не знаю, но вы-то, наверно, знаете. Я вам доверяю.

Сергей пошел провожать гостей до низа, во двор, причем он сам нес обернутую бумагой «крафт» столь дорогую, как оказалось, его сердцу картину, обретшую наконец-то название, а заодно и покупателя. Отсчитанные немцем деньги остались лежать на столе в мастерской. Я взял бумажку в пятьдесят евро, подержал, потом положил назад, в общую кучку. Дизайн этих денег мне никогда не казался удачным. Наши деньги мне нравились куда больше.

Когда Сергей вернулся, вид у него был задумчивый и не очень веселый. Он подошел к деньгам, но не стал их пересчитывать или убирать в ящик стола, просто посто-ял немного, глядя на них.

— Неплохо мы их окрутили, правда ведь? — похвалил я себя и его.

— Окрутил их в основном ты. Возьми свою долю. Половина будет многовато, все-таки писал картину я. Четвертая часть будет в самый раз. Возьми свои деньги.

— Ты это всерьез?

— Абсолютно. Если сам сейчас не возьмешь, я насильно всучу.

Впоследствии я еще не раз задумывался, как правильно перевести это самое «Just Blue», и всякий раз приходил к выводу, что пусть не самым точным лингвистически, зато самым подходящим будет именно «Безупречная синева».

## 16.

Однажды я наблюдал за работой Татьяны. Она изготавливала женскую меховую шапку. Какая чудачка заказала ей зимнюю шапку в разгар лета, я не представляю, но эта чудачка явно неглупа, она действовала по пословице «Готовь сани летом», а кроме того, летом у Татьяны на все зимнее были льготные расценки. Вместо головы заказчицы перед Татьяной располагался «болван», такая деревянная округлая колода, повторяющая форму человеческой головы. По форме этого «болвана» она шила вначале из меха норки верх шапки, которому затем требовалось придать жесткость и снабдить изнутри шелковым подкладом. Жесткости будущей шапке придавал каркас из бортовочной ткани. Каркас в точности повторял форму шапки, но бортовка сама по себе жесткости не обеспечивала, для этого ее приходилось пропитывать столярным клеем. Да, именно простейшим дедовским столярным клеем, который Татьяна растапливала с помощью водной бани в кухне на плите. Запах от растопленного столярного клея был еще тот, он распространялся по всей мансарде. Как она прежде работала с этим клеем в своей однокомнатной квартире с ребенком, можно вообразить. Пропитанный клеем каркас из бортовки надевался на «болвана» и высушивался. В высушенном виде это был уже жесткий хороший каркас, обеспечивающий шапке нужную форму, и никакого неприятного запаха от него не шло. Конечный результат Татьяниной работы — готовая к носке зимняя женская шапочка из норки — вызвал у меня искреннее восхищение общим своим видом и качеством изготовления.

Люди вокруг меня трудились, каждый что-то производил, выдавал реальную, зримую и осязаемую продукцию, и только я в нашей маленькой богемно-трудо-вой

коммуне оставался человеком без определенных занятий. Конечно, я изображал какое-то глубокомыслие, время от времени уединялся в своей комнатухе, раскрывал ноутбук (правда, не всегда включал его), придвигал к себе стопку чистых листов бумаги формата А4, а затем надолго задумывался. Друзья мои наверняка были уверены, что я либо уже творю, либо, по крайней мере, обдумываю сюжетные ходы будущего грандиозного по объему и по глубине мысли литературного опуса. Я и вправду все это время обдумывал, только не сюжетные ходы, а проклятый для меня вопрос: за свое ли я пытаюсь взяться дело, и не лучше ли мне, пока не поздно, переквалифицироваться в управдомы, в слесари-водопроводчики или на худой конец в консультанты-продавцы импортной бытовой техники. Глубинное чувство подсказывало мне, что нет, это не лучше, что я хочу и могу писать и могу создать нечто стоящее, что-то такое, что будут с интересом и с пользой для себя читать незнакомые мне люди, а не только Сергей Внуков или Алина, которые из сочувствия могут меня похвалить, а про себя подумать, что мои писания так себе, и на подлинную литературу не тянут.

Главная для меня трудность заключалась в не разрешенном пока еще вопросе: важнее, *что* ты пишешь или *как* ты пишешь. Насчет *как* у меня, кажется, получалось, во всяком случае, Сергей признавал, что свой язык и даже свой стиль у меня точно есть, но вот по поводу, *что* или, вернее, *о чем* я пишу, тут у него имелись большие сомнения. По его мнению, в моих первых, пробных, текстах не было серьезного содержания, не было сюжета и не было интриги, без которых литература таковой считаться не может. Да, конечно, интриги в формальном понимании этого слова в них не было. Но всегда ли она так уж важна? Обязательно ли в литературном произведении должны быть интрига, конфликт, обостренные отношения между героями?.. Да и сами герои — они обязательны ли?.. Вопрос этот по-прежнему для меня висел в воздухе.

Я знаю немало очень неплохих, во всяком случае, запомнившихся мне рассказов, где не происходит ничего значительного. В некоторых не происходит вообще ничего. Скажем, двое персонажей разговаривают, обмениваются какими-то доводами, мнениями, упреками, что-то или кого-то вспоминают. Прикуривают, курят, нервно стряхивают пепел в пепельницу, тушат в ней сигарету. Пьют пиво, вино или что-то покрепче, продолжая что-то для себя выяснять или стараясь в чем-то убедить собеседника. Ничего для себя не выяснив и ни в чем собеседника (и читателя тоже) не убедив, расходятся, и на этом рассказ заканчивается. О чем он? Для чего написан?.. Большой-большой вопрос. Тем не менее рассказ такой был, и, что самое странное, читать его было можно.

Или вот еще такой рассказ. Парень договорился встретиться с девушкой на автобусной остановке, причем на кольцевой. Мобильных телефонов тогда еще не водилось, созвониться, когда человек в пути, было нельзя. Парень пришел на остановку и ожидал. Время встречи подошло, потом прошло, но девушка не появлялась. Парень прохаживается, присаживается на скамью, встает, снова прохаживается, девушка все не приезжает. Автобусы приходят с интервалом в четверть часа, но ее в этих автобусах нет. Прошло полчаса, потом час, полтора, автобусы приходили, девушка не приезжала. Парень уже понял, что девушка не приедет, позвонить ей он не может, остается только ждать без надежды и гадать, в чем причина. Ждать уже бессмысленно, но ждать он продолжает в надежде на чудо. Прождал больше двух часов и только после этого ушел. Вот весь рассказ.

Если бы это был эпизод из повести об их отношениях, то понятно. Но это самостоятельное литературное произведение. По всем формальным признакам — бессодержательное. Но я-то этот рассказ запомнил и даже пересказал сейчас! Я запомнил переживания этого парня, его вначале надежду, потому ее утрату, его подавленность

в конце рассказа. В самом рассказе таких слов, как «подавленность» и «утрата надежды», не было, но у читателя, то есть, у меня, остались именно такие ощущения. Вот и суди после этого, обязательны ли в произведении сюжет, конфликт, интрига.

Темное, вообще, это дело — искусство, и особенно литература. В музыке, в живописи всегда можно укрыться за красками и звуками, истолковать их так и этак, обвинить критикующего в непонимании, в недостаточной подготовленности, а попробуй укрыться за своими собственными словами, которые ты перенес на бумагу и предложил читающей публике. Тоже, конечно, можно отбояриться, обвинить нападающего в устарелости подхода, в субъективности восприятия. А какое еще может быть восприятие, кроме как субъективное? Полтора десятка критиков (допустим, что их столько), и каждый субъективен в своем восприятии и, следовательно, в оценке. Тысяча читателей (допустим, что их тысяча), и каждый ох как субъективен. Никакой объективности в искусстве вообще не существует ни у автора, ни у публики, ни у критиков.

Вот так я спорил неизвестно с кем, ломал свою голову над теорией вместо того, чтобы что-нибудь делать на практике. Я уже и сам начал сомневаться, что сумею сделать что-то реальное. Кто увлекается в литературе теорией, тот чаще всего не годится для творчества. Я это понимал, и это понимание должно было, как я надеялся, уберечь меня от творческого тупика. Инстинкт самосохранения подсказывал мне отбросить блуждания и самокопания и, не мудрствуя лукаво, взяться за перо.

В который уже раз я приходил к простейшей из возможных истин: делай дело, которое делать ты хочешь и можешь, а результат оценивать в любом случае придется не тебе. К тому же у меня уже появилось несколько идей в части темы и сюжета и даже несколько черновых набросков будущих прозаических текстов.

## 17.

Ничто хорошее не может длиться долго.

Утром в первых числах октября мы с Алиной завтракали в кухне. Дни стояли теплые, солнечные и не очень еще походили на осень. Окно было распахнуто вовсю, мы оба сидели к нему лицом, прихлебывали кофе и любовались чистым синим-синим небом и тянущимся к горизонту разнообразием василеостровских крыш. Какой-то посторонний звук вмешался в эту утреннюю идиллию. Звук был не чем иным, как громыханием кровельной жести под ногами человека, идущего по нашей крыше. К этому мы не были готовы ни психологически, ни организационно. Мы так уже привыкли к полной и надежной отгороженности от внешнего мира, мы так были уверены в нашей конспиративности, в нашей для всех посторонних невидимости. Появление чужака прямо здесь и сейчас — это гром среди ясного неба.

Мы когда-то обсуждали, что делать, как себя вести, что говорить, если нас застигнут у входа на лестницу, если застигнут на лестнице, застигнут у двери в мансарду, а также если начнут стучать в дверь и требовать открыть ее, когда мы внутри. Решили ни в коем случае не выдавать друга Сергея, обеспечившего нам это пристанище. Мы знать его не знаем, о мансарде узнали от бывших ее жителей, ключи к дверям подобрали самостоятельно. На стук в дверь и требование открыть решено было не отзываться, затихариться, а в крайнем случае потом объяснить, что боялись бомжей и грабителей. Все дальнейшие объяснения и разборки Сергей Внуков брал на себя, а нам запретил вступать с кем угодно в какие-либо переговоры по поводу мансарды. Единственное, чего не предусмотрел ни Внуков, ни кто-то другой из нас, это появления незваных визитеров с крыши, через кухонное окно.

Их было двое. Они остановились у раскрытого окна снаружи и удивленными глазами смотрели на нас с Алиной. Нельзя сказать, что они сильно растерялись, но явно мы были для них неожиданностью, в точности как и они для нас. Не спрашивая нашего согласия, они вошли через окно в кухню и оказались с нами лицом к лицу. Один — мужчина лет тридцати пяти, в цивильном, другой — молодой парень в рабочей спецовке, в каких ходят работники при домоуправлениях, электрики, плотники, водопроводчики.

— Так, так... — сказал тот, что в цивильном. — Это что же значит? В расселенном и опечатанном нежилом помещении, оказывается, живут люди. Да еще спокойно гоняют по утрам чай. Сладкая парочка, так, что ли? Нашли себе прибежище, гнездышко свили. Ну-ка говорите, кто такие, как сюда попали!

К этому моменту я уже успел кое-как овладеть собой, поэтому ответил довольно спокойно:

— Может, это вы вначале скажете, кто вы такие и почему мы должны вам докладывать о себе?

— Ах вон что... — удивился моему нахальству мужчина в цивильном. — Ну, допустим, я начальник эксплуатационного участка, фамилия моя Михалев, обследую с жестянщиком состояние кровли в порядке подготовки к зимнему сезону. Помещение это целиком на моей ответственности, как и весь дом, между прочим, да еще ряд других домов. Вот я вам доложил. Теперь давайте вы докладываете. Кто такие, как сюда проникли? Неужели через это окно? В таком случае как на крышу попали?..

— А можно узнать ваше имя и отчество?

— Ну, допустим, Валентин Игоревич.

— Понимаете, Валентин Игоревич, мы с девушкой здесь гости. Здесь располагается мастерская одного известного художника, и мы у него в гостях.

— Мастерская художника?.. — искренне изумился Михалев.

— Да, художника, очень известного. Он член Союза художников и других многих творческих объединений. Лауреат международных премий. Дипломант. Сейчас я его разбужу, он, знаете ли, отдыхает после напряженной ночной работы, готовится в эти дни к большой персональной выставке в Конногвардейском Манеже. Он вам все объяснит.

— Интересное получается кино. Не просто одна сладкая парочка, а еще и какой-то художник. Какая такая мастерская? Никаких мастерских здесь быть не должно без оформления договора аренды. Самовольное проникновение и захват помещения — вот как это называется. Зовите вашего художника, пусть объясняет ситуацию.

Он не сказал «а ну ведите меня к вашему художнику», он не пошел сам в глубь мансарды разбираться в ситуации, он оставался в кухне — значит, он на всякий случай решил проявить осторожность.

— Сейчас, сейчас, одну только минутку!

Я подошел к спальне Внукова и затарабанил в дверь. Он действительно, скорее всего, дрыхнул. Вскоре он отозвался сонным голосом. Я вполголоса объяснил через дверь, что у нас происходит и почему он нужен позарез. Через минуту он вышел уже одетый и готовый к серьезному разговору. Мне он шепнул мимоходом: «Уходите к себе, я буду разговаривать один. И Татьяне скажи, чтобы не высовывалась, пока они здесь». Татьяна наверняка была у него в спальне, и визитерам видеть ее было вовсе не обязательно.

Мы с Алиной удалились в ее комнату, которая находилась ближе других к кухне, дверь я оставил приоткрытой, а сам то и дело высовывался в коридор, надеясь услышать и что-то понять из важного для всех нас разговора. Собственно, решался вопрос

нашего здесь нахождения, не больше и не меньше. Какие-то обрывки разговора мне удавалось услышать.

— ...Да, я признаю, что это самовольство, но и вас прошу проявить понимание... С официальными помещениями под мастерскую сейчас сложно... Нет, что вы, никакой пожарной опасности... Я сам не курю, и мои гости не курят...

— Воду вы из системы берете, электроэнергию потребляете, этим огромным помещением пользуетесь... Мой недосмотр, я давно должен был мансарду обесточить, а воду перекрыть...

— Я готов немедленно компенсировать...

— Вижу, что вы человек ответственный, но я при своей должности, я обязан сделать все по правилам...

— Даю вам слово, что все как было тихо, так и будет. А за свет и воду, я же говорю, готов в тройном размере...

— Чтобы никакого открытого огня, никаких электрических обогревателей... И никаких прогулок по крыше, вы нам кровлю можете попортить... Кстати, протечки в мансарде имеются?..

— Протечка одна есть, могу сейчас показать...

— Свою мастерскую с картинами тоже покажите, еще неизвестно, правда ли, что вы художник... В любом случае не надейтесь, что вы здесь задержитесь...

— Это я понимаю, но прошу вас войти в положение...

— А в мое положение вы не хотите войти?.. Мне за вас под суд потом идти...

— Ну, зачем же сразу под суд, какие к этому основания... Вы могли про мою мастерскую не знать, могли нас не увидеть, разве нет?..

— Но ведь я увидел, правда же?.. Давайте показывайте, где у вас протечка...

Сергей провел визитеров в нежилую комнату со следами протечки на потолке, после чего начальник Валентин Игоревич послал парня в спечовке на крышу искать и отметить там слабое место, а сам прошел с Сергеем в мастерскую. Вряд ли начальника интересовали внучковские картины и его творческий метод, я не сомневался (и надеялся), что за закрытой дверью речь у них пойдет о «компенсации» в денежном выражении.

Когда эти двое вышли из мастерской, я попытался по их лицам угадать итог переговоров, но лица их оставались непроницаемы. Однако факт, что начальник не стал заглядывать в другие комнаты, сразу прошел обратно в кухню и удалился через окно на крышу, откуда пришел, этот факт меня обнадежил. Сергей тут же созвал общее собрание. Мы все четверо уселись в кухне за столом, и Внуков заговорил:

— Положение серьезное. Это начальник моего друга, который нам устроил мансарду, значит, тот нам уже не поможет. Начальник покрывать нас не хочет, чтобы не рисковать должностью. В конце месяца у него ожидается комиссия по готовности к зимнему сезону. Воду и свет он действительно должен был отключить давным-давно, просто прошляпил. Теперь обязан отключить немедленно. Вопрос осложняется тем, что есть свидетель, этот парень-кровельщик, он может сболтнуть кому не следует. Валентин обещал провести с ним беседу, проинструктировать его, но гарантии нет. Я, конечно, простимулировал Валентина под видом оплаты электричества и воды. Он взрослый человек, видал всякие виды, все понимает, но выше своей головы прыгнуть не может. И все-таки я кое-чего добился. Он дал нам месяц. Представляете — целый месяц! А ведь вполне мог вызвать милицию, составить акт, протокол и все такое прочее. Нам дали бы два или три дня, чтобы исчезнуть, и немедленно отключили бы воду и свет.

— А сейчас не отключат? — с надеждой поинтересовался я.

— Сейчас нет. Во всяком случае, пообещал. Я его неплохо простимулировал.

— Мы с Алей возместим тебе свою долю, мы ведь все участники.

— Потом поговорим. Женщин, я думаю, не стоит сюда приплетать.

— Конечно, я имел в виду только себя.

Мы погрузились в молчание, думая каждый о том, что будет с ним через месяц.

— Н-да-а... — резюмировал Сергей. — Обещан нам был год и даже больше, а по факту получается полгода, да и то неполные. Снова мне искать помещение под мастерскую. Такого, как это, у меня уже никогда не будет.

Он обвел взглядом нашу кают-компанию, как мы с некоторых пор стали называть кухню, словно старался запомнить ее во всех мелочах, остановил взгляд на распахнутом окне, которое служило также дверью на крышу, и задумчиво уставился в синеву чистого неба, распростертого над городом, над нашим домом, над нашей мансардой.

— Это ужасно, — высказалась Алина. — Я так уже привыкла, здесь так хорошо работается.

— А мне-то каково, — отозвалась Татьяна. — Тащить назад все мое хозяйство, а потом опять при ребенке меха кроить, клей растапливать. Сейчас у меня самый сезон начинается, зима на носу.

Всем будет непросто, подумал я, за исключением разве что меня. У меня нет ни швейной машинки, ни мехов, ни подрамников, ни холстов, ни мольберта, ни деревянных заготовок для расписных сувениров, у меня здесь нет ничего, кроме того, что можно унести в небольшой сумке. Я пострадаю меньше всех. Вернусь к родителям в привычную квартиру. И ничего нет в этом радостного. Отступить на заранее подготовленные позиции — что в этом радостного? А у Внукова, например, и заранее подготовленных нет, ему придется начинать с нуля. Я, конечно, буду помогать ему, как помогал и прежде переезжать с места на место. За месяц-то он найдет что-нибудь подходящее.

Да, но как же быть с Алиной? Как быть мне с нею, как быть ей со мною, как быть нам друг с другом? Полгода жизни вместе — это разве ничего не значит? Очень даже значит, но для обдумывания этих вопросов у меня не хватало решимости. И все же решать нужно. Я это чувствовал, она порой безмолвно меня спрашивала: ну, так как же будем дальше?.. Ведь не может все это обернуться эпизодом, страничкой, которую следует перевернуть, когда подойдет время... Я постепенно созрел и, кажется, уже созрел для правильного мужского поступка. Через месяц, через месяц, все окончательно будет сделано через месяц...

— Этот месяц надо с пользой провести, — подумала вслух Татьяна. — Заготовлю шапок столько, чтобы на всю зиму хватило. Размер в основном идет стандартный, а если окажется маловата, у меня есть «болван» для растяжки.

— Правильная мысль, — подхватила Алина. — Надо потрудиться, а то мы больше прохлаждались, развлекались. Нас выселяют, значит, надо изготовить хороший запас.

— Объявляю месячник ударного труда! — саркастически, официальным тоном сообщил Сергей. — Все на перевыполнение норм выработки! Изготовим матрешек и шапок столько, чтобы враг лопнул от зависти! Эх, жалко, что меня этот почин не коснется, мое искусство вне всяких норм, зависит только от вдохновения. А вот наш писатель может постараться и что-нибудь сотворить за этот месяц. А то что же, целых полгода впустую. Неужели так и не родишь здесь ничего?..

— Рожу, — твердо пообещал я. — Почти уверен, рожу. Раз сроки поджимают, выбора у меня уже нет. Сюжет в голове зародился и укрепился. Обещаю выполнить план по написанию талантливого текста в срок.

— Слышу речь не мальчика, но мужа. Включайся в социалистическое соревнование. Наши цели ясны, задачи определены, расходимся по рабочим местам. Собрание окончено, товарищи!

С нерадостной улыбкой, не согласующейся с шутливой его речью, Сергей поднялся из-за стола и поплелся по коридору в свою мастерскую. Его мне было жалко больше всех.

## 18.

Выезжали мы из мансарды в первых числах ноября. В кают-компании устроили прощальный ужин со свечами, с запеченной курицей, с шампанским, с застольными песнями. Грустно было, очень грустно прощаться навсегда с этим чудесным пристанищем. Под конец ужина мы вышли на крышу и дружно прокричали: «Чао, бамбино, сорри!» Извинялись как бы перед Васильевским островом за то, что покидаем его, хотя и не по своей воле.

Накануне приходил начальствующий Валентин Игоревич, уединялся с Сергеем в опустелой уже мастерской, намекал, что свет и воду можно пока еще не отключать, протянуть недельку, возможно, другую, получится целых полмесяца. Но мы уже заранее решили, что съезжаем, и тянуть резину с ненадежными отсрочками не станем. Тем более что многие вещи уже были перемещены на новые места.

Внуков с Татьяной сняли на двоих в старом фонде нечто похожее на однокомнатную квартиру на первом, очень низком этаже, почти в полуподвале. Разделили комнату на две неравные части, одна, бóльшая, часть для Внукова с его мольбертами, другая, меньшая, для швейно-меховых Татьянинных манипуляций. Спальное место, естественно у них было одно. Похоже, Сергей начинал созреть для их одновременного визита в отдел записи актов гражданского состояния. Я лично слышал, как он обронил что-то вроде: «В конце концов, это не вариант, что ребенок растет без отца».

Что до меня, то я дозрел до правильного решения еще месяц назад. Дозрел и сообщил об этом Але. Надо было видеть ее глаза, когда я в шутливой форме высказал мысль, что не вижу более возможности для продолжения своего холостяцкого положения и ее затянувшегося девичества. Заявление мы подали, как только окончательно покинули мансарду. Вопрос с жильем, конечно, был вопросом всех вопросов. Мы решили копить деньги на собственную квартиру, а до того снимать, как многие молодожены. Я устроился на работу в салон сотовой связи, причем босс с учетом моего высшего экономического образования сделал меня сразу менеджером, а не продавцом, как я предполагал. Жалованье для начала положил не слишком щедрое, но обещал существенно повысить, если я себя проявлю. За последний этот месяц в мансарде Алина так хорошо потрудились, что долго еще могла не думать о сувенирной продукции.

Неплохо потрудились в этот месяц и я. Днями, а то и ночами корпел над бумагой, а потом барабанил по клавишам ноутбука, переносил нацарапанное моим неразборчивым почерком (он у меня действительно ужасный) в электронную память с ее идеальной вордовской каллиграфией. Законченную маленькую повесть я не стал показывать ни Внукову, ни Татьяне, ни даже Алине. Возможно, никогда не покажу. Прототипы очень редко бывают довольны своим изображением в литературе. Тут можно нарваться не только на недовольство и критику, но и на ссору и даже на полный разрыв отношений. Хотя я абсолютно убежден, что ничего обидного про них не написал, немножко даже приукрасил. Все же судят пусть не прототипы, а читатели, это намного надежнее и объективнее, а для автора безопаснее.

Сомневаюсь, что буду писать еще что-то, но зарекаться не стану.

Между прочим, эту самую мою маленькую ностальгическую повесть вы только что сумели наконец осилить, дочитали ее до конца.

---

---

Максим ЗАМШЕВ

**ВРЕМЯ БЕЗ ХРОНОЛОГИИ**

Ты перекладывай ком на ту  
Полку, что выше других.  
Ты у процентщицы комнату  
Снял, почему же притих?  
Мед превращается в патоку,  
Смотрит студентик в трюмо.  
Не повторяется каторга,  
Время и правда дерьмо.  
Страшная, злая, недужная  
Есть у процентщицы дочь.  
До отвращения не нужная  
В комнату ломится ночь.  
Место — сегодня намоленно,  
Завтра — сгорело дотла.  
Кровь хорошенько посолена,  
Чтобы не сразу текла.

\* \* \*

Если разгонишься со слова «дорогая»,  
Обвинят в подражании Бродскому.  
Если срифмуешь его с Огайо,  
Примут за иноагента уродского.  
Женщины копят на модные укольчики,  
Чтобы выглядеть гладко и мило.  
Раньше мы пели «Время колокольчиков»,  
Но время беспилотников все затмило.  
Когда-нибудь мы станем одной страной  
И будем веселы, как Василий Теркин.  
Просыпаясь в гостинице с развороченною стеной,  
Понимаешь, что сервис не на «пятерку».

---

Максим Адольфович Замшев — поэт, прозаик, критик, переводчик. Родился в 1972 году в Москве. Окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и Литературный институт им. А. М. Горького. Лауреат литературных премий им. Николая Рубцова, Николая Гумилева, Дмитрия Кедрина, Александра Грибоедова. Произведения переведены на пятнадцать языков. Живет в Москве.

\* \* \*

Фронтовики молчали о войне  
 И на расспросы скупно отвечали.  
 Они-то знали, дело не в цене,  
 А в океане горя и печали.  
 Фронтовики всегда держали строй,  
 Я помню их — не ордена, а планки,  
 Они простили Сталину и танки,  
 И самолеты фрицев над Москвой.  
 Фронтовики держались чуть в тени,  
 Девятого встречались у Большого  
 И вспоминали тех, с кем шли они  
 К Варшаве, Вене, Праге, Кишиневу.  
 СССР в руинах. А звезда  
 Кремлевская блестит, как в карнавале.  
 И мы не удержали города,  
 Которые они отвоевали.  
 Когда из ста всего один живой,  
 Снега забвенья падают в долину,  
 Они теперь ведут небесный бой,  
 Равнение держа на середину.  
 Пускай Россию не понять уму  
 И триколор на кладбищах трепещет.  
 Теперь я понимаю, почему  
 Я вижу сон, что называют вещим,  
 И в этом сне идет один солдат  
 И девушкам подмигивает местным.  
 Но путь его ведет не на парад,  
 В могилу, где проснется неизвестным.

\* \* \*

Романтический герой  
 Поломал случайно зонт.  
 И куда-то делся понт,  
 Но остался целый рой  
 Боли, злобы, неудач,  
 Дождь идет, как чей-то плач,  
 Попадают капли в рот,  
 Дождь идет, как сотня рот,  
 Дождь идет не так, как снег,  
 Пастернак в двадцатый век

Бросил снега целый том,  
 Дождь сегодня не о том.  
 Романтический герой —  
 Это я. Пора домой  
 В кучевые облака,  
 Где эфирная тоска,  
 Где на землю грустен вид,  
 Где сорваться норовит  
 Вниз горячая слеза.  
 Я не против. Только за.  
 Попадает дождь в глаза.

\* \* \*

Следую по Николаевской улице  
 В сторону Царскосельского вокзала.

Для чего петух нужен курице?  
Она ему — для утреннего вокала.  
Хочется жить максимально нелепо,  
Ни о чем не думать, особенно о дикции.  
И балдеть от того, что пасмурное небо  
Не находится ни в чьей юрисдикции.  
От верха идти постоянно к низу.  
Верх — на другой стороне земли.  
И купив в магазине запретную книгу,  
Радоваться, потому что не замели.  
Говорить красиво: не пламя, пламень,  
В хоре ценить не сопрано, альт.  
В подворотне из-за пазухи вынуть камень  
И просто положить на сухой асфальт.

\* \* \*

Юность подкрадывалась, чтоб ударить по голове,  
Завернуть в шинель, выставить наружу нас.  
Родина исчезла в предпоследней главе,  
Мы верны присяге, она нарушила.  
Мир артачился. Я доказывал.  
Собирал солдатиков, фотографии артистов.  
Я ему столько всего показывал,  
А он оставался в злобе неистов.  
Из прошлого остаются только открытки,  
Что не отправил тем, кого так любил.  
И с озера Чад жираф прыткий  
Убежал к крокодилам на реку Нил.

\* \* \*

Из Чистых прудов вырастаю, в смятенье народ:  
— Зачем из пруда вылезает такой идиот?  
Зачем из сержантов вернулся и стал рядовым?  
И сколько печали хлебнул, чтоб остаться живым?  
А что там в котомке его? Мандельштам, Гумилев,  
Кому пригодится из прошлого этот улов?  
А я размышляю: гуляя по Чистым прудам,  
Практически ходишь по кругу. Вода зелена.  
И пруд одинок. Ничего никому не отдам,  
Ни Колю, ни Осипа. Воеет сиреной струна.  
У девушки чай остывает. Терраса пуста,  
И жизнь не сыграешь, как Листа играют с листа.  
А имя создателя «Бесов» начнется на «фэ»,  
Девчонка смеется, но он не приходит в кафе,  
Из всей хронологии вынули время мое,  
И прачка стирает на Мойке матросам белье.

\* \* \*

Нащупывая разницу между нами,  
 Мы поняли, что она большая.  
 Что ж! Утешимся снами,  
 Будущее не разрешая.  
 Место мое — поезд и самолет,  
 Тебя — на уста влюбленным,  
 Если не поскальзываешься в гололед,  
 Чувствуешь себя ущемленным.  
 Гвоздь экзистенции входит в кость,  
 Чем все закончилось, то и верно.  
 Все развивается вкривь и вкось,  
 И это закономерно.

\* \* \*

Времена идут,	По усам текло,
Как бойцы по полю.	А куда попало?
Временем надут	Заклучили мир
Каждый час в неволе.	Кошка и собака.
Крайнего найдут,	Дирижер-факир
Прокричат: «Доколе!»	Выступил из мрака.
«Времени капут!» —	Все теперь видней
Утром скажут в школе.	Расщепленным ядрам.
И плохой поэт	Больше нет коней
Выскажется спешно:	Над Большим театром.
— Я пишу сонет	Только грустный Карл
Нынче как депешу.	Смотрит с постамента.
А поэт-трепло	Кто украл коралл?
Скажет: «Все пропало!»	В этом суть момента.

\* \* \*

Жалко мне всех и никого не жалко,  
 Жалость голая, как гололед.  
 Палка стреляет раз в год, палка,  
 Остальное — дни напролет.  
 Новые русские всегда остаются новыми,  
 Иногда с деньгами, иногда без.  
 Но всегда они, потрясая основами,  
 Новый демонстрируют нам ликбез.  
 Осенью все увядает. Когда-нибудь  
 И это увянет. Превратится в гербарий,  
 В воспоминание. Ты в баню будь  
 Готов выдвигаться. Чужими гербами

И флагами увлекаются ценители безымянные,  
По новой осени они пройдутся рьяные.  
Никого не жалко. Себя жалеи.  
Но лень.  
На чужую мельницу воду лей,  
А со своими мельницами воюй,  
Потому что сейчас все еще июль,  
И распарено, как в бане, убранство аллей.

\* \* \*

Хотела Брюсова убить  
Петровская в Политехническом.  
О времена, где духа сыть  
В экстазе плавала нервическом.  
Такой любви теперь и днем  
С огнем не сыщешь.  
Пара зуммеров,  
Чтоб их оставили вдвоем,  
В ватсапе понарошку умерли.  
А Брюсов будет большевик,  
Такой поэт предусмотрительный.  
Ужалит страсть, как борщевик,  
Ожог оставив предварительный.  
Что предваряет сей эксцесс?  
Зачем скрипим чужими скрепами?  
Чтоб Слава был КПСС,  
С Оксюмироном<sup>1</sup> бился рэпами,  
Чтоб не терялась крипты нить  
В хитросплетеньях новой этики  
И чтоб резвился Скриптонит,  
Смеша любителей фонетики.  
И где Петровской пистолет?  
И почему не вспомнить третьего?  
И где она сквозь сумрак лет  
Ренатой бешеной нам встретится,  
Чтоб Белого не наказать,  
Чтоб вечно слышать только «милая»  
И Ходасевичу сказать:  
— Да что там Брюсов? Ведь убила я.

\* \* \*

Мы сели на такого удачливого конька,  
А он взял и превратился в коня.  
И теперь меня гложет ужасная тоска,  
И, наверное, не одного меня.

---

<sup>1</sup> Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.



Зарядку дева делает с утра,  
В учебнике... Какой подарок царский  
Народу, что с утра бредет к метро  
И лезет в поезд, чтоб успеть на службу.  
Давайте тост поднимем за нутро  
Народное. За Сталина! За дружбу!

\* \* \*

Я просыпаюсь, мерещится, что в лесу,  
Люди танцуют, кушают тирамису,  
Это бесцветные люди, я чую их,  
Пес не проснулся, не держит их за чужих.  
Как же едят они, будто за много лет  
Кто-то в лесу им устроил такой банкет.  
Будто впервые танцуют они в лесу,  
Заяц и волк превратились в одну лису,  
Заяц и волк из мультфильма «Ну, погоди!»,  
Вместо айкью остается один айди.  
Мне бы за ними, но лес охраняет их,  
Кто-то на землю случайно роняет стих,  
Стих — это строчка, она прорастет одной  
Сорной травинкой, что светится под луной.  
Полно артачиться, держим дуду в руках,  
Волк из мультфильма по-прежнему в дураках.  
Я засыпаю, и снится туман, тоска,  
Где настоящее? Прошлое у виска,  
Заяц на волка поглядывал свысока  
Только в мультфильме. А волк говорил: «Пока!»  
Кончатся скоро мультфильмы, начнется жизнь,  
Ты ее с танцем ночным не забудь, свяжи,  
Чтобы увидеть, как дети найдут в лесу...  
Что это будет? Конечно, тирамису.

\* \* \*

Станислав  
Нейгауз играл по двенадцать часов  
И потом писал  
отцу: «Я что-то понял».  
Теперь многие не  
носят часов,  
И каждое место  
на планете топоним.  
Станислав  
Нейгауз жил по нотам  
И переиграл  
руку.

Прогресс  
облегчает жизнь идиотам.  
А на умных  
нагоняет скуку.  
Станислав  
Нейгауз — тень на стене,  
Он либо святой,  
либо...  
И что бы вы ни  
думали обо мне,  
Я всем говорю «спасибо».

\* \* \*

Хотя подушку грызи, хоть головой бейся,  
 Русскими становятся иностранные слова,  
 В проклятом опен, проклятом спейсе  
 Снова появляется трын-трава.  
 Трын-трава, без рода и племени,  
 Ей все равно, что связь, что линк,  
 Прорастала в Сталине, прорастала в Ленине  
 И к Трампу подбирается через Старлинк.  
 Она снимается в каждом клипе,  
 Она заменяет хэв на хэд,  
 Она вырастает из башки хиппи,  
 Ее ощущает даже скинхед.  
 Он приносит немалую пользу,  
 Она побеждает любую рать,  
 Он прилепляет Германию к Польше,  
 Чтоб «где твои ляхи?» потом орать.  
 Ты от нее никуда не денешься,  
 Она солдатский впитала пот,  
 Он предлагает тебе не денежку,  
 Она предлагает тебе джекпот,  
 согласишься, будешь, как Жюльен Грак,  
 Жить во Франции лет так сто.  
 А если нет? Помни, рак  
 Долго пятится, чтоб попасть на стол.  
 Да что это я о Жюльене Граке!  
 Врангеля дух, со мной свяжись,  
 Если просыпаешься в слезах и страхе,  
 Значит, приснилась настоящая жизнь.  
 Врангель в Константинополе не нашел покоя,  
 Медные трубы, Крым, рим...  
 А для концовки я придумал такое:  
 Нету травы, но остался трын.

\* \* \*

Ты думаешь, я поэт,  
 Интеллигент, дерьмо?  
 Я отвечаю решительно: — Нет!  
 Я обыкновенное эскимо.  
 Потому что из Алушты,  
 К нам приехал Потомушта,  
 Потомушта — так назвали  
 Португальца, трали-вали.  
 Он фанат Артема Дзюбы,  
 Он с утра не чистит зубы.

Ты думаешь, я эскимо фирмы «Нестле»?  
Ну ты и русофобка!  
А я думаю, есть ли  
У тебя из «Икеи» коробка?  
Александро Потомушта  
Себстьяно дон Мишель  
К нам приехал из Алушты,  
Вот такая канитель.  
Разве Дзюба из Алушты?  
Потому что, потому что..  
Ты думаешь, я просрочка,  
Почему я почернел, почему?  
Склоняй же меня срочно,  
Эскимо, Эскима, Эскиму,

К нам приехал мощный рэпер,  
Он с утра почешет репу,  
Говорил поэт Державин,  
Вы играйте, как Аршавин,  
Но фанат Артема Дзюбы  
Рэп читает, скалит зубы.  
Главное — для нас кино.  
Покупайте эскимо!

\* \* \*

Какая безбрежная даль и как много печали,  
Когда проиграем, опять превратимся в Бальмонта.  
Когда скандинавские боги Россию зачали,  
Земля задрожала и взывала от понта до понта.  
Из греков в варяги ходили туда и обратно,  
Ходили в Казань, на Сибирь наступали ногой,  
Боролись за правду, ее понимая превратно,  
Взывали к признавшей чужого Марии Нагой.  
Любого правителя утром встречали с восторгом,  
А вечером пили, гуляли и власти кляли.  
Война начинается смертью, кончается торгом,  
Потом превращается в Жана Батиста Люлли.  
Война мифологий по-прежнему в самом разгаре,  
Мария Нагая сказала, что труп на земле  
Не сын ей, что он самозванец, что Шуйский в ударе,  
Что все это кончится плохо — поляком в Кремле.  
Да кто там теперь разберет, что болтала Мария,  
История пачками всех посадала в утиль.  
Давайте сначала дождемся Четвертого Рима,  
Жгута, обезбола, повязки и автомобиль.  
Откроем шкафы под гремящую пляску скелетов,  
Костями гремят, исхудали, пока доросли.  
А после в безбрежную даль без обратных билетов  
С Безумным Бальмонтом и с Жаном Батистом Люлли.

---

---

Татьяна ОКОМЕНЮК

# ПОСЛЕДНЯЯ ПРИСТАНЬ

## Рассказ

Отношений с дочерью и внуками Виктория Максимилиановна Закржевская не поддерживала. Бывшая актриса была разочарована своим «одноклеточным» потомством. Ни дочь, ни внуки не продолжили их с мужем театральную династию, в жены-мужья взяли черт-те кого — ни образования, ни манер, ни благородного происхождения. Зять Виктории Максимилиановны был родом из деревни и всю жизнь проишачил прорабом на стройках. Жена старшего внука кашеварила в детском саду. Младший крутил романы с «дворовыми девками», у которых — ни ума, ни породы, ни толковой профессии. Изгадили, мерзавцы, генеалогическое древо старинного дворянского рода Закржевских.

Внуки даже внешне походили на папашку-деревенщину. К ее советам совсем не прислушивались, должного почтения не оказывали. Дочка тоже звезд с неба не хватала: в школе училась посредственно, от занятий с репетиторами уваливала, в театральный поступать отказалась — пошла на библиотечный. С тех пор всю жизнь нюхает книжную пыль, зарабатывая полторы копейки. Ну, и кому из них наследство оставлять? За пару дней же все промотают!

Окончательный разрыв с родными у Закржевской произошел два года назад. Старший внук как раз собрался жениться, и перед молодыми остро встал жилищный вопрос. Избранница внука Женька-лимита жила в общежитии, сам он — в двухкомнатной квартире вместе с отцом, матерью, братом и огромной немецкой овчаркой. Вот и решили молодые подселиться к бабке: у нее целых три комнаты в центре города, есть помощница по хозяйству — значит, не надо будет ни убирать, ни готовить. Но не на ту напали.

— Об этом не может быть и речи, — отрезала Виктория Максимилиановна. — Я — заслуженная артистка, а значит, заслужила спокойную и комфортную старость. Избави бог меня с моим больным сердцем от каких бы то ни было подселенцев.

— Тогда давай разменяем твою трешку на двушку в центре и однушку, где получится, — уговаривала ее дочь. — Молодожены должны жить отдельно.

— Что значит «должны»? Сначала пусть обеспечат базу для создания семьи и только потом женятся, а не садятся на шею родственникам. Со мной этот номер не пройдет.

---

Татьяна Владимировна Окоменюк родилась в 1962 году в Днепрпетровске (Украина). Окончила филологический факультет Тернопольского государственного педагогического университета. Публикуется в литературных журналах Германии, Австрии, России, Беларуси, Греции, Бельгии, Франции, Чехии, США, Израиля, Латвии, Украины. Автор 30 книг художественной прозы, изданных в Германии, США и России. Лауреат литературных премий имени: А. С. Грибоедова, А. П. Чехова, А. Т. Твардовского, Л. Н. Толстого, В. В. Маяковского, святого благоверного великого князя Александра Невского. Живет во Франкфурте-на-Майне.

И не прошел. В итоге родня перестала общаться с «эгоистичной бабкой» и ни на свадьбу, ни на крестины правнука ее не позвала. Даже с семидесятилетним юбилеем не поздравила.

— Да-а-а, стареть надо на Востоке, там уважают пожилых людей, — с обидой в голосе говорила Закржевская домработнице Зинаиде. — Наши же если и подадут стакан воды, то только по бартеру. Вся надежда на какую-нибудь приличную богадельню.

— Какая богадельня, Максимилиановна? Бог с вами! Вы у нас еще о-го-го! — замала та руками. — Вон на каких высоких каблуках еще ходите! Да вы еще всем молодым форы дадите, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

И сглазила. Через два дня, спускаясь во двор по лестнице, женщина оступилась и кубарем скатилась вниз по ступенькам. В результате — перелом шейки бедра со смещением.

В больнице она держалась молодцом, пыталась шутить с медиками, читала им стихи:

Какое блаженство подняться с асфальта  
И знать, что твое небывалое сальто  
Закончилось не инвалидной коляской,  
А просто испугом и маленькой встряской<sup>1</sup>.

Вот тут актриса ошиблась. Ее история закончилась именно инвалидной коляской. Правда, немецкой, очень дорогой, с электроприводом и вертикализатором. Коляске предшествовали длительная терапия и реабилитация. От операции врачи категорически отказались из-за противопоказаний, связанных с заболеванием сердечной мышцы.

Беда не приходит одна. Пока Виктория Максимилиановна лежала в больнице, Зинаида скончалась от острой тромбоэмболии. Перед артисткой встал вопрос: «Как жить дальше?» Рассчитывать на заботу родных не приходилось. Сама она не справится. Пустить в дом чужого человека, посулив ему квартиру, — верный путь попасть на тот свет в самое ближайшее время. В сухом остатке — богадельня, как она и предполагала.

Женщина открыла свой ноутбук, набрала в поисковике: «Дом ветеранов сцены» — и стала изучать отзывы насельников — именно этим монастырским термином она называла жильцов пансионата, который, как писали на сайте, предназначен для оказания услуг стационарного социального обслуживания престарелых работников театров.

Плюсов у пансионата было достаточно: комфортабельные одноместные комнаты с ванной, санузлом и прихожей. Для прогулок на свежем воздухе — открытые балконы и чудесный зимний сад. Пятиразовое питание с диетическим заказным меню. Постоянное медицинское наблюдение. Ежемесячные выезды на спектакли и концерты, экскурсии в музеи, храмы и картинные галереи. Есть в ДВС большая библиотека, концертный зал, помещение для проведения творческих встреч и чаепитий. Имеется собственная церковь и даже свое небольшое кладбище. И насельников немного — всего девяносто человек.

«А что? — подумала женщина. — Эта богадельня вполне тянет на мой последний приют» — и стала писать заявление в районное управление социальной защиты населения. Вскоре в пансионате кто-то умер, и Закржевская заняла освободившееся место.

В Доме ветеранов сцены ее сразу невзлюбили, как персонал, так и насельники. Ничего удивительного — Виктория Максимилиановна вела себя с окружающими, как ба-

<sup>1</sup> Инна Бронштейн.

рыня, сделавшая им большое одолжение своим присутствием. В первый же день она устроила скандал из-за того, что ей не разрешили перевезти в ее комнату любимое пианино. Ей объяснили, что инструмент есть в концертном зале и в комнате отдыха и при желании можно помуцицировать там, дабы не мешать громкими звуками соседям по этажу. Закржевскую ответ не удовлетворил.

— На вашем сайте написано, что вы создаете ветеранам сцены комфортные условия, максимально приближенные к домашним. И где оно, это приближение? Раз уж за свое пребывание в пансионате я отдаю три четверти своей пенсии, вы должны предоставить мне право обставлять МОЮ комнату так, как я считаю нужным.

— Пианино — это не кресло-качалка, не трюмо и не любимый комод. Это — источник шума. Комфорт одних не должен достигаться за счет дискомфорта других, — терпеливо объяснял ей заместитель директора.

— Что ж, — дернула плечиком отставная актриса, — придется написать жалобу в Департамент труда и социальной защиты населения, а дубликат отправить уполномоченному по правам человека.

Очередной скандал разгорелся через три дня после того, как Закржевская ознакомилась с содержанием памятки «Десять заповедей старого человека», висевшей в комнате отдыха. Памятка призывала:

1. Сохраняй «здоровье духа», которое является основным критерием общего здоровья.
2. Старайся не давать советы, когда их не просят.
3. Относись к поступкам своих взрослых детей спокойно, помня, что их поведение запрограммировано твоими генами и твоим поведением.
4. Береги своих друзей, особенно тех, с которыми в течение десятилетий работал вместе или жил рядом.
5. Научись смотреть на себя со стороны.
6. Старайся не критиковать окружающих и не воспринимать критику болезненно.
7. Не ностальгируй по старым временам.
8. Не считай, что все должны подстраиваться под тебя, а не наоборот.
9. Чтобы избежать снижения активности, сохраняй старые и ищи новые интересы.
10. Прибавляй не годы к жизни, а жизнь к годам, объединяясь, общаясь, выстраивая новые отношения.

— Это что такое? — без стука въехала она на своей крутой коляске в кабинет старшей медицинской сестры Анны Егоровны.

Последняя была женщиной крутого нрава, и ее побаивались не только насельники, но и руководство пансионата.

Медсестра даже головы не подняла от своих бумаг, продолжая что-то писать.

— Я к вам обращаюсь, — повысила голос Закржевская, вытянув вперед руку со своим сотовым телефоном, на экране которого белел какой-то фотоснимок. — Это не заповеди, это — памятка для дебилов и унижение достоинства уважаемых людей. Пожилой — еще не значит идиот. Мало того, что в этой писульке вы неуважительно обращаетесь к ветеранам труда на «ты», так еще и отчитываете их, как последних недоумков: «посмотри на себя со стороны», «не давай советов», «не обижайся на критику». Это Дом ветеранов или зона строгого режима? Я отправлю фото ваших заповедей в центральные газеты.

Медсестра была спокойнее психоаналитика.

— Где вы сейчас должны находиться? — строго произнесла она.

— Я? — растерялась актриса, и весь накал ее благородного гнева тут же потух.

— Сейчас вы должны быть на процедурах в физиотерапевтическом кабинете, — глядя в монитор, произнесла Анна Егоровна. — У вас сейчас дарсонвализация, УФО и фонофорез. Не заставляйте себя ждать. А вечером мы с вами обязательно побеседуем на тему соблюдения порядка в нашем пансионате. Вы здесь — всего несколько дней, а жалоб на вас уже — выше крыши. Если вы не согласны с правилами внутреннего распорядка нашего учреждения, которые сами же подписали, мы не будем настаивать на вашем дальнейшем пребывании здесь. Список людей, ожидающих путевки в ДВС, довольно внушителен.

Актриса недоуменно захлопала ресницами. Не ожидала она подобного поворота. Приехала с претензией, рассчитывая на извинения, а уезжает с предупреждением о возможном исключении из списка насельников богадельни. Вот так номер! Возмущенно фыркнув, Виктория Максимилиановна лихо развернула инвалидное кресло и молча поехала к выходу.

— Кстати, о заповедях старого человека. Их составил академик Бехтерев Владимир Михайлович, — бросила старшая медсестра в спину удаляющейся Закржевской. — Свой протест можете отправить его потомкам в виде «открытого письма» в Интернете.

Виктория Максимилиановна не намерена была возвращаться к этому неприятному разговору, поэтому не стала встречаться с Анной Егоровной ни вечером, ни утром, ни днем. Она вообще объезжала ее десятой дорогой, как, впрочем, и обитателей пансионата, толпой ковылявших на кружки, совместные чаепития и шахматные турниры. В «стадных» мероприятиях она участия не принимала. Принципиально.

Артистка, как на помеле, носилась по территории ДВС, втыкая свой любопытный нос в каждую щель. Так она познакомилась с садовником, изложившим ей основы декоративной стрижки деревьев. Завхозом, ознакомившим ее с графиком проведения ремонтных работ. Дворником, показавшим служебный вход на территорию пансионата со стороны парка. Водителем дэвээсовского автобуса, раскретившим самое безопасное место в салоне в случае аварии.

А однажды Закржевская стала свидетельницей беседы палатных медсестер — пожилой и молодой.

— Успокойся, никто тебя не уволит, — утешала пожилая плачущую девушку. — Руководство прекрасно понимает, с *каким* контингентом мы работаем.

— Но он бросил в меня тарелку с кашей и назвал малолетней мерзавкой, — всхлинула та. — Сам ведь меню заказывал.

— Что ты хочешь от артистов погорелого театра? Правильно Станиславский назвал их с... детьми. Так это он о молодых говорил, старые те вообще...

— Как я могу дальше работать, если они меня просто ненавидят?

— Они не тебя, они жизнь свою старческую ненавидят. После шестидесяти у любого человека начинают нарушаться нейронные связи, и он постепенно впадает в неадекват. Это — не зловредность, а физиологические и психические состояния, свойственные болезням позднего возраста. Все наши жильцы страдают различными сосудистыми и эндокринными заболеваниями. Отсюда раздражительность, непереносимость шума и духоты, снижение настроения, слезливость, эгоцентричность, вечное недовольство... Своими капризами они часто доводят окружающих до белого каления. Чтобы работать со стариками, надо иметь железные нервы и понимать, что пребывание даже в элитной богадельне для них — психическая травма. Еще недавно они были звездами, небожителями. Их засыпали цветами, им дарили подарки, давали звания и награды. У них брали автографы и интервью. К ним прислушивались, им подражали. Носи-

лись с ними как с писаной торбой, и вдруг — бац! — все закончилось. Пенсия, болезни, уход из жизни друзей-ровесников. Ошизившая от их выкрутасов родня отфутболивает обузу на попечение государства, а то тоже не в восторге от такого приобретения. Но деваться некуда — оно обязано обеспечить старику доживание. Поняла, Лиза? О-бя-за-но!

— Поняла, — кивнула та головой. — Однако же в вас они тарелками не бросают.

— Потому что я с ними не дискутирую и никогда их не уговариваю. Не хотят есть — не надо, забираю поднос и уношу. К концу дня они уже шелковые — едят все подряд и просят добавки.

— И все-таки я схожу к Анне Егоровне, попрошу ее о переводе в геронтологическое отделение.

— Думаешь, в первом корпусе намного легче? Девки говорят, к ним на днях такая фря въехала на мерседесовском инвалидном кресле — полный ататуй! Закржевская. Артистка в звании народной. Хозяйку Медной горы играла в фильме «Каменный цветок». Так эта блудная дочь Мельпомены в образ-то вошла, а выйти из него забыла — склероз. Ведет себя так, что все вокруг просто фигеют: грубит, не здороваётся, громко хлопает дверью. Мнит себя недооцененной современниками мегазвездой — совсем колпаком поехала. По ночам смотрит телевизор, потом храпит до упора, завтрак и обед пропускает. Ни с кем не общается, мероприятия игнорирует, по любому поводу высказывает свое авторитетное мнение. Хотела собственный рояль сюда припереть, тренькать на нем по ночам. Не разрешили. Так она грозилась написать жалобу не то в ООН, не то в Гаагский трибунал. Одно слово — маразм.

Лицо Виктории Максимилиановны исказила недовольная гримаса, ее глаза выпучились, лоб покрылся холодной испариной. «Еще посчитаемся!» — мысленно пообещала она сплетницам своего отделения и, сглотнув слюну, поехала прочь.

По дороге актриса встретила направляющуюся на обед группу насельников. «Какие же они все жалкие и смешные, — подумала женщина, разглядывая своих друзей по несчастью. — Деда — все с клюками и костылями, плешивые, суетливые, беззубые. Бабки — с седыми кудельками, аляповатыми румянами на щеках и криво накрашенными губами. У одной чулок спустился. У другой из-под черного платья торчит желтое кружево комбинации. Третья забыла в пиалке с водичкой свою вставную челюсть и, сообщив об этом компании, засемила в обратную сторону. Боже, какой ужас! А разговоры про болячки? У одного — понос, у другого — защемление нерва, третьему кошмары снятся. Нет! Общаться нужно исключительно с молодежью, от нее подзаряжаешься. Только где ж ее взять?»

Бог услышал молитвы Виктории Максимилиановны и вскоре послал ей новую палатную сестричку — двадцатилетнюю Лизу Самохину. Ту самую, которая на прошлой неделе жаловалась коллеге на грубость лежачих пациентов.

Девушка сразу ей понравилась — стриженная под воробушка, маленькая, худенькая и при этом довольно сильная и расторопная. Единственное, что смущало Закржевскую, это плохо скрываемый страх в глазах Лизы и нотки заискивания в ее голосе.

— Вот что, Лизонька, давай с тобой сразу договоримся: бояться меня не надо, — погладила она Самохину по руке. — Все, что тебе обо мне наговорили, — полная ерунда. Нет у меня ни маразма, ни склероза, ни заскоков. Есть стандартные требования. А характер у меня вовсе не вздорный, просто он у меня есть. Поняла?

Девушка кивнула головой.

— Обещаю, что ни бросаться тарелками, ни оскорблять тебя я никогда не буду.

— А откуда вы знаете про тарелки?

— Живу долго... и немножко читаю мысли.

С тех пор все свободное от других пациентов время Лиза проводила с Викторией Максимилиановной. Она ухаживала за актрисой, гуляла с ней по зимнему саду, терпеливо выслушивала ее длинные монологи о театре.

— Деточка, сегодня найти в Москве нормальный классический спектакль просто невозможно. Везде сплошной концептуализм и «прогрессивное» видение режиссера, — с пафосом восклицала актриса на очередной прогулке. — В семнадцатом веке врачи говорили: «Прибытие паяцев в город значит для здоровья горожан куда больше, чем десять нагруженных лекарствами мулов!» Понимали великую силу искусства. А сейчас что? Театр нынче уже не храм. Я еще застала времена, когда на премьеру приходили в приподнятом настроении. Дамы переобувались в бархатные туфельки на шпильке и пудрили носики. Мужчины были в костюмах, женщины — в вечерних платьях в пол, а сейчас уже никто не удивляется зрителю в спортивных штанах и толстовке с капюшоном. Это же такой моветон! А мобильные телефоны? Во всех театрах перед спектаклем делают аудиообъявления с просьбой выключить сотовые телефоны. И что? Всегда находится парочка идиотов, чьи аппараты оживают в самый напряженный момент спектакля. Часто даже не звонком, а гимном Советского Союза или куплетом из какой-нибудь пошлой песенки. Нет, ты только представь себе: идет пьеса «Дядя Ваня», Соня произносит свой знаменитый монолог «Мы отдохнем», обращенный к Ивану Войницкому, и тут с первого ряда на весь зал:

Поспели вишни в саду у дяди Вани,  
У дяди Вани поспели вишни.  
А дядя Ваня с тетей Груней нынче в бане,  
А мы с друзьями погулять как будто вышли.

А хамы, которые выходят из зала, не дождавшись окончания спектакля? Так торопятся получить в гардеробе свое барахло, что топают прямо по ногам зрителей и плюют на артистов, которые выходят на поклон... Если им их лапсердаки дороже искусства, зачем тогда они явились в театр? Вот такой, деточка, пердимонюкль с горностаем...

— Виктория Максимилиановна, а можно личный вопрос? — робко произнесла девушка. — Если не хотите, можете не отвечать.

— Валяй! — остановила коляску Закржевская.

— Во всех комнатах наших жильцов на стенах в рамках висят фотографии их детей, внуков, правнуков, других родственников, а у вас нет ни одной. Только — икона, афиши из ваших спектаклей, ваш портрет в костюме Хозяйки Медной горы и какие-то металлические таблички...

— Не металлические, а платиновые, — снисходительно улыбнулась актриса. — На них выгравированы высказывания известных людей о театре. На одной строки Григория Горина:

Театральные безумства!  
Нет пленительней и слаще!  
Кто почувствовал, тот знает.  
А иначе — не понять,  
Что мы ищем? Что обрящем?  
Почему хотим все чаще,  
То ли в пьесе, то ли — в ящик,  
Но сыграть! Сыграть! Сыграть!

На другой — Александра Вертинского: «Актёр всегда один, но зато он — бог. А боги одиноки». На третьей — русского шансонье Якова Боярского:

Когда строку диктует чувство,  
Оно на сцену шлет раба.  
И тут кончается искусство  
И начинается судьба.

Эти таблички презентовал мне мой давний поклонник. Дарил каждый год по одной, в день моего рождения. Он не пропускал ни одной моей премьеры. Очень состоятельный мужчина.

— И где он сейчас?

— Умер. Все мои поклонники давно почили в бозе. В России мужики долго не живут. Посмотри на контингент нашего пансионата — одни бабы, дедов в четыре раза меньше, и те... такие, что без слез не взглянешь.

— А почему вы за этого поклонника замуж не вышли?

— Он был женат, и я была замужем... за главным режиссером театра, в котором служила. У меня тогда столько поклонников было, что если б я за каждого из них выходила замуж, имела бы целый гарем. Ах, деточка, если б ты только знала, *какие* мужчины тогда за мной ухаживали.

— А... вы... своему супругу изменяли? — слегка покраснела Лизонька.

— И я ему, и он мне. Такая наша артистическая жизнь, — хохотнула Закржевская. — Но все это в далеком прошлом. Я давно вышла из возраста домоганий и вошла в возраст недомоганий. А жаль. Где мои сорок лет и даже пятьдесят?!

— И все-таки вы не ответили, почему у вас на комод вместо фоток родни лишь бюсты Станиславского и Немировича-Данченко.

— Больная тема, детка. Не сложились у меня с родней отношения. На этом — точка!

На следующий день весь коллектив пансионата праздновал восьмидесятилетний юбилей народной артистки Лидии Забелиной, которую все называли Лидушей. Насельники были возбуждены, бегали туда-сюда с цветами и подарками, украшали шариками концертный зал, репетировали поздравительные куплеты. И только Закржевскую не затронуло это броуновское движение. «Тоже мне событие! Чучелко дотянуло до восьмидесяти! — фыркнула она. — Хотя... как сказал Никита Богословский: „Как бы ни был плох артист, если он доживает до восьмидесяти лет, то автоматически становится живой легендой“».

Виктория Максимилиановна Забелину не любила. Именно она дала Лидуше прозвище Чучелко. Когда-то они служили в одном театре. Правда, недолго. Супруг Закржевской, главреж Адамов, приревновал Забелину к кино и потребовал от артистки сделать выбор. Та его сделала не в пользу театра. С тех пор без пауз снималась на всех студиях Советского Союза. Лидуша была на редкость талантлива и на редкость уродлива и при этом не испытывала никаких комплексов по поводу собственной внешности. Роли сказочной нечисти, старых дев, дурнушек, странячек, злодеек, бродяжек доставались именно ей. Простое у Забелиной не было даже в лихие девяностые. Она хорошо зарабатывала, разудало водила автомобиль, детей не имела — жила в свое удовольствие. Кино всегда было ее главной страстью. Лидуша и сейчас активно снималась в эпизодах, играя комических или злобных старух. С выходом каждого нового фильма с ее участием руководство ДВС устраивало кинопоказ и творческий вечер, на котором Забелину забрасывали цветами и баловали продолжительными аплодисментами.

Виктория Максимилиановна завидовала Лидуше, которая в столь преклонном возрасте умудрилась не выпасть из профессии. Завидовала она и Ирине Невельской, бывшей любовнице своего мужа. Завидовала и ненавидела, несмотря на срок давности ее проступка. Закржевская знала, что не Ирина была инициатором их с Адамовым отношений, что длилась их связь всего полгода, но сделала все возможное, чтобы выжить Невельскую из театра. Казалось бы, женщины — давно квіты, но даже на старости лет взгляд на бывшую соперницу вызывал у артистки зубовный скрежет. Ее бесило в Невельской все: то, как кокетливо поправляет та свои старомодные буколки, как игриво общается с местными дедами, как позвякивает при ходьбе многочисленными бусами, браслетами и цепочками, но, главным образом, то, что эту «жеманную старуху» почти каждый день посещают дети, внуки и правнуки. В выходные и праздники за Невельской всегда приезжает черный джип и увозит ее домой.

«Ну, чем она заслужила такое к себе отношение? — задавалась вопросом Закржевская, полная жалости к себе и обиды на неблагодарных потомков. — Ведь *так* же, как и вся актерская братия, Ирка детьми не занималась. Утром — репетиции, вечером — спектакли, выходные и праздники — работа, декабрь — елки, лето — гастролы. Однако ж Иркины дочери и внучки души в ней не чаяли. И если бы Невельская не начала чудить: затапливать соседей, оставлять включенным газ, уходить на прогулку и забывать свой домашний адрес, она бы до сих пор жила дома.

А что есть у меня? Живу на пенсии, воспоминаниях и нитроглицерине. Помру, и никто не узнает. Кому нужна старая бедная бабка?»

Виктория Максимилиановна кривила душой. Бедной она не была никогда. Ей и сейчас мог позавидовать любой российский пенсионер. Две комнаты своей роскошной трешки женщина сдала в аренду. Это — неплохой доход. У нее была старинная икона семнадцатого века. Имелись фамильные драгоценности, спрятанные в полости бронзового бюста Станиславского и скопленные на старость доллары, засунутые в тайничок, находящийся в бюсте Немировича-Данченко. Так что паперть Закржевской никак не грозила. А насчет одиночества, так женщина не особо стремилась в массы. Более того, она сознательно прикидывалась склеротичкой, чтобы не общаться со знакомыми ей насельниками.

Исключение из этого правила составлял лишь бывший машинист сцены Сашка Черномор. Он был ровесником артистки, но для всех так и остался Сашкой. Черномор не просто собирал, двигал и ремонтировал сценические конструкции, он был мастером на все руки: помогал бутафору и декоратору, выполнял работы на шумовых аппаратах, разрабатывал предложения по модернизации оборудования. Но славился он вовсе не своими золотыми руками, а феноменальной памятью. Во время репетиций и спектаклей Сашка механически запоминал реплики всех артистов. Причем не только текст, но и интонации: логические ударения, паузы, повышение и понижение голоса. После спектакля Черномор организовывал отдельное представление для технического персонала театра, пародируя артистов, задействованных в пьесе. Он произносил реплики за каждого из исполнителей их же голосами, пел, танцевал, фехтовал за них, изображал звуки грома, движения кавалерии, пения птиц, выстрелов, взлетающего самолета, боя часов...

Во время одного из таких моноспектаклей он попался на глаза главрежу Адамову. С тех пор Сашка из «старшего куда пошлют» превратился в дублера и стал неизменным участником всех театралных капустников, в которых изображал не только артистов, но и главрежа, завхоза, костюмера, гардеробщицу, бессменного билетера театра тетю Надю. Как-то Адамов попытался дать ему небольшую роль в новом спектакле, но из этого ничего не вышло: гениальный пародист играть не умел. Совсем. Зато Ада-

мов больше не хватался за сердце и не пил валокордин, когда кто-то из исполнителей опаздывал на спектакль или являлся на него в непотребном виде. На подхвате всегда был Черномор, мгновенно входивший в действие, «как свечка в попку». Однажды, когда партнер Закржевской по спектаклю «Кто боится Вирджинии Вульф?» народный артист СССР Вадим Стрекалин явился на премьеру пьяным, роль Джорджа сыграл Сашка. Машинист сцены сорвал такие овации зала, что обзавидовалась вся труппа.

Отношения с Черномором у Виктории Максимилиановны были теплыми. Ей нечего было с ним делить. Разве что подмостки сцены пансионата.

— Вик, а давай всем покажем мастер-класс и поставим для старперов «Вирджинию»? Я все реплики до сих пор помню.

— Придумаешь тоже, — закатила глаза Закржевская. — А декорации? А исполнители ролей Ника и Хани? А мое инвалидное кресло? Совсем с ума сошел.

— Не кокетничай. Я помню, как ты своей энергией держала зал на протяжении двух действий и, по мнению критиков, переиграла даже Элизабет Тейлор, — настаивал мужчина. — Декорации я сделаю сам. Молодую пару мы найдем. Хани, кстати, может сыграть Лизонька. А Ника... наш культурорганизатор Володя. Что касается кресла, то действие пьесы сидячее. Да ты и без него прекрасно передвигаешься по комнате.

— Сашка, опомнись! Ну, какие из нас сегодня Джордж и Марта? Нам уже пора учиться, как в гроб ложиться.

— Я стар? Я стар... Я — суперстар! — рассмеялся Черномор, обнимая Закржевскую за плечи. — Помнишь, как за день до смерти твой покойный супруг говорил на собрании труппы:

Вставай, артист! Ты не имеешь права  
Скончаться, не дождавшись крика «браво»!<sup>2</sup>

Это он к нам, сегодняшним, обращался. Подумай, Вика, я завтра приду за ответом.

— Как считаешь, мне стоит согласиться на эту авантюру? — поинтересовалась женщина у Елизаветы, бывшей свидетелем их с Сашкой разговора.

— Конечно, стоит! Если надо, я вам подыграю и Владимира уговорю, — пообещала девушка. — Пусть все в нашей богадельне увидят, как играет Марту народная артистка Закржевская.

— Я, деточка, не народная, а заслуженная. Супруг мой уже подготовил представление на народную, но очень некстати умер. Пришедший же на его место Саврасов засунул документы под сукно и создал мне такие условия, что я ушла из театра, громко хлопнув дверью.

— Добровольно ушли из профессии?

— Не добровольно. Из «террариума единомышленников» по своей воле уйти невозможно. Из него, детка, или выносят вперед ногами, или выгоняют. Меня выгнали.

— А почему вы тогда в кино не ушли?

— Театр — это верная, но немолодая жена, а кино — красивая, молодая, но ветреная любовница, — с грустью произнесла Виктория Максимилиановна. — Стоит перестать мелькать перед ее глазами, и она о тебе забывает. После Хозяйки Медной горы я оказалась от нескольких небольших ролей, и кино мне этого не простило.

— А почему отказались?

— Так на мне же в театре весь репертуар держался, — с ностальгией произнесла Закржевская. — Кого я только не играла: Раневскую, Кручинину, Дульсинею То-

<sup>2</sup> Леонид Филатов.

босскую, Клеопатру, леди Макбет, Марию Стюарт, Мату Хари, Вассу Железнову, Медео, Екатерину Вторую... Это уже после смерти супруга роли одну за другой стали отбирать и закрывать спектакли с моим участием. Появилось свободное время, но слишком поздно. Кино обо мне успело забыть.

— Не жалеете, что с самого начала не стали киноактрисой?

— Нет, конечно! От кино не получаешь такого удовольствия. Понимаешь, Лизонька, между сценой и залом существует особая вольтова дуга. Энергия, которая идет от артистов, к ним же и возвращается обратно, продолжая питать их еще сутки после спектакля. А минутная овация зрительного зала продлевает жизнь лицедею на целый день. В этот момент он впадает в блаженное гипнотическое оцепенение, во время которого его покидают все хвори и недуги. Вот почему из театра добровольно не уходят. Ладно, поехали на прогулку.

Через два дня начались репетиции будущего спектакля: заучивание текста молодыми исполнителями, читка по ролям, отработка техники речи. Закржевская занималась костюмами и подготовкой звуковых фонограмм, Черномор не слезал с завхоза, выбивая из него старую мебель и материалы для построения декораций.

Виктория Максимилиановна заметно помолодела. Она была благодарна Черномору за то, что тот снова вдохнул в нее жизнь, поставил перед ней новую цель, вернул ей живой нерв сценического действия. Женщина стала лучше относиться к насельникам и персоналу, ведь это — ее будущие зрители. Поскольку роль режиссера спектакля тоже досталась Закржевской, актриса безжалостно дрессировала Лизоньку, заставляя девушку заучивать роль до автоматизма.

— Запомни: актерская работа — это тяжелый труд. По английской шкале артисты находятся на пятом месте по физическим и душевным затратам. Во время спектакля на сцене остаются ошметки их нервов, а каждая роль — это полное переливание крови. Ты должна быть Хани, а не Лизой, которая притворяется Хани. Надо не просто знать текст, нужно понимать мотивы поступков своей героини, — занудствовала Виктория Максимилиановна, забывая о том, что перед ней — девушка, окончившая медучилище, а не студентка ГИТИСа.

Лиза неизменно кивала головой, соглашаясь с актрисой. Она вообще никогда ей не перечила. Не потому, что боялась. Она безмерно уважала Закржевскую и восхищалась ее талантом. Девушка несколько раз пересмотрела найденный в Интернете «Каменный цветок» с участием Виктории Максимилиановны, а также старую экранизацию 1946 года и пришла к выводу, что Закржевская сыграла Хозяйку Медной горы гораздо лучше, чем Тамара Макарова, воплотившая образ девушки-малахитницы в сорокалетнем возрасте.

А еще Лиза нашла во Всемирной паутине несколько спектаклей с участием актрисы, два ее телеинтервью и шесть фотографий прошлых лет. Ослепительная красавица! Куда там до нее известным голливудским дивам! «Если б у меня была такая бабуля, я бы с нее пылинки сдувала!» — подумала Елизавета, рассматривая старые фото очаровательной женщины с длинными стройными ножками и роскошными русыми волосами, собранными в высокую прическу «Анжелика».

Закржевская и сейчас выглядела довольно элегантно. Она всегда была ухожена, умело подкрашена, безупречно причесана, со вкусом одета. На нее исподтишка поглядывали все дедульки Дома ветеранов, но заговорить с не решались. Чувствовали — не их поля ягода. И только местный Казанова Олег Стоцкий, бывший солист оперетты, бывший герой-любовник и бывший сердцеед, рискнул приложиться к ручке «новенькой», рассчитывая на продолжение знакомства.

— Он вам совсем не нравится? — поинтересовалась Лизонька у актрисы.

— Когда-то нравился, — улынулась она лукаво. — Мы с супругом были на нескольких его мюзиклах. Играл он легко, изящно, с потрясающей иронией и шиком. Потом зазвездился. Стал пить, пропускать репетиции, срывать спектакли, забывать текст. Сполз до эпизодических ролей, а там — и до массовки. На сегодняшний день у него окончательно истек срок годности. Вот тебе понравился бы ухажер, у которого из спортивных штанов выпирает памперс? — и они обе зашлись в пароксизмах смеха.

— Лизок, а у тебя кавалер имеется? — поинтересовалась актриса. — А то мы все обо мне да обо мне. Почему ты ничего не рассказываешь о себе?

— Да рассказывать-то, собственно, нечего, — двинула Самохина плечами. — Я домовская. Окончила медучилище. Получила от государства однушку в Люблине. Думала поступать в Медакадемию, но поняла, что финансово не потяну. Помогать мне некому. Родственников своих я не знаю. И слава богу! Зачем мне родня, которая выбросила меня, новорожденную, в мусорный ящик? Нарекли меня по фамилии нашедшего меня дворника. А имя... Одна нянечка сказала: «Бедная...», а другая добавила: «Лиза». Так я стала Елизаветой.

На глаза Закржевской навернулись слезы. За несколько месяцев своего пребывания в пансионате она не просто полюбила девушку, она прикипела к ней душой и теперь корила себя за черствость. Ведь могла же раньше поинтересоваться жизнью девчонки и как-то ей помочь.

— А с кавалерами у нас что? — полюбопытствовала Виктория Максимилиановна.

— Уже полгода встречаюсь с соседом Алешкой. Ну, *как* встречаюсь... Он у меня ночует. У них там, в двушке, такой цыганский табор: собака лает, ребенок плачет, телевизор орет, предки ругаются. Дурдом, одним словом. Ни поспать, ни позаниматься, а ему дипломную писать надо...

— У тебя есть его фотография?

— Ну да, на заставке, — и протянула актрисе свой сотовый телефон. — Это мы в ночном клубе на День святого Валентина.

Глаза Закржевской расширились, руки затряслись так, что она уронила аппарат на пол.

— Так ты, выходит, засланный казачок! — окрысилась женщина на Самохину. — Дрянная семейка внедрила тебя в богадельню, чтобы ты влезла мне в душу?!

— В смысле? — опешила девушка. — Какая семейка?

— Мои наследнички, черт бы их всех побрал! Придумали способ добраться до моих квадратных метров? Шиш им! Так и передай и Лешке с Сережкой, и их матушке Анне Владиславовне.

— Бог с вами, Виктория Максимилиановна! Я здесь работала задолго до вашего появления. А в этот корпус попала по переводу, из-за конфликта в отделении «милосердия». Если б я была шпионкой, разве бы показала вам свой телефон? А насчет метров квадратных, так у меня собственные имеются. Я даже не знала, что у Алеши есть бабушка. Он мне про вас никогда не рассказывал...

— Вот и я о том же. Для этих негодяев бабка не существует. Их интересуют только материальные ценности, — уже спокойнее произнесла артистка. — Ладно, иди отсюда. Хотя стой! Поддай воды и во-о-он те таблетки, в желтой коробочке — что-то сердце прихватило.

— Давайте давление измерим! — кинулась Лиза проветривать комнату.

— Уходи, сказала. Мне подумать надо. Завтра поговорим, — и та вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь.

На следующий день Закржевская извинилась перед девушкой, попросив ее никогда не упоминать при ней дочь и внуков. Самохина пообещала, и их доверительные отношения вернулись «на круги своя». Как и раньше, они репетировали, прогуливались по парку, сплетничали.

— Я давно хотела признаться, что очень вам завидую, — поправила Лиза плед на коленях женщины. — Быть актрисой... это ведь так приятно, правда же? Я сейчас не о зарплате, не об аплодисментах... Я о самоощущении.

— У Юлия Кима, деточка, есть такое стихотворение:

Приятно быть актрисой,  
Клянусь Святою Девой.  
Вчера была маркизой,  
Сегодня — королевой,  
А завтра целый вечер Венерой буду я,  
Пройдусь в одной рубашке — и публика моя!  
Мои уста пылают,  
Ланиты пламенеют,  
А там, налево в ложе,  
Седой вельможа млеет.  
И он к финалу спятит —  
Богач и с... сын —  
И все на то потратит,  
На что не хватит сил...  
О, темные кулисы!  
О, Господи, прости!  
Приятно быть актрисой...  
Годов до двадцати!

Смысл услышанного понял? Нет ничего приятнее и дороже молодости. Ничего! Я бы сейчас отдала все, что у меня есть, за то, чтобы снова стать двадцатилетней. И согласна быть кем угодно... Да хоть кассиршей в «Пятерочке», но юной кассиршей, у которой вся жизнь впереди. Готова признаться в том, я очень завидую тебе.

Прошел еще месяц. Репетиции переместились на сцену. Текст артисты знали наизубок, оставалось откатать сценическое взаимодействие в изготовленных Черномором декорациях. О том, что «великолепная четверка» готовит спектакль, в пансионате знали все. Знали и с нетерпением ждали представления. Впервые в истории ДВС готовилось мероприятие, в котором одновременно принимали участие насельники и сотрудники учреждения. Администрация уже изготовила афиши и пригласила гостей из Управления социальной защиты населения.

Премьеру назначили на первое октября — День пожилого человека. После спектакля планировались банкет, танцы и вручение подарков жильцам пансионата. Последние активно готовились к празднику: дамы закрашивали свою седину, накручивали волосы на бигуди, приводили в порядок вечерние наряды. Мужчины стриглись, брились, проветривали свои парадные костюмы. Завтра, на празднике, все они будут неотразимы, как в старые добрые времена.

Стоит ли говорить о том, как волновалась труппа! Но больше всех переживал Сашка Черномор. То ему не нравился диван, покрытый тяжелой бархатной скатертью с аляповатыми желтыми розочками. То его приводили в ужас периодически фонащие микрофоны. То смущали собственные железные зубы в верхней челюсти.

— Ешкин кот! — чуть не плакал мужчина. — Ну, какой из меня профессор, какой американец, если во рту не керамика, а цинковое корыто?

— Не паникуйте, Джордж, — смеялась Лиза. — Я вам эту зубную троечку заклею жвачкой, и все будет чики-пуки. Завтра все барышни будут от вас в отпаде.

Но не так судьба велела. Ночью, перед самой премьерой, Сашка Черномор умер от разрыва аорты.

На Закржевскую больно было смотреть. Она осунулась, потеряла интерес к жизни и будто окаменела. С уходом Черномора оборвалась последняя ниточка, соединявшая Викторию Максимилиановну с ее славным прошлым. Она понимала, что большинству их с Сашкой ровесников уже три раза оградку на могиле покрасили. Что ее собственный «призывной лист» завалился у апостола Павла за тумбочку и очень скоро найдется. Что пансионат — ее последняя пристань, откуда нет другой дороги, как только в вечность. Понимала, но сердцем не принимала.

Женщина перестала ездить на прогулки и даже в столовую. Сидела на балконе в инвалидном кресле и любовалась пейзажем. Из комнаты выходила только в кабинет психолога, а через неделю после похорон Сашки угодила в медицинскую часть с болями в сердце.

— Снаряды ложатся все ближе и ближе, — с грустью говорила она Лизе, проводывавшей ее несколько раз в день. — Еще один — и... здравствуйте, Константин Сергеевич!<sup>3</sup>

Девушка пыталась отвлечь актрису от горьких дум, веселила ее новостями о сельниках и персонале. Делилась замыслом поставить «Вирджинию» в память о Черноморе. Вот Закржевская выздоровеет, и они обязательно это сделают. Джорджа согласился сыграть Олег Стоцкий. Не пропадать же Сашкиным трудам — вон какие декорации соорудил!

— Он сейчас смотрит на нас сверху и радуется, что мы решили воплотить в жизнь его идею, — тараторила Лиза.

— Ты лучше скажи, почему так скверно выглядишь? — перебила ее актриса. — Лицо пятнистое, как у леопарда, глаза сонные и тусклые. Отекла как-то, осунулась...

— Я... Виктория Максимилиановна... беременна.

Брови актрисы взметнулись вверх.

— От Лешки-негодяя?

Девушка молча кивнула головой.

— Какой срок?

— Одиннадцать недель.

— Почему раньше молчала?

— Боялась. Вы ведь запретили мне упоминать ваших родственников. Вот я и...

— Что намерена делать? — напряглась Закржевская.

— Не знаю, — заерзала Лиза на стуле. — Хотела с вами посоветоваться.

— А Лешка что говорит?

Уголки губ девушки съехали вниз. Она прислонилась головой к стенке и тихо заплакала.

— Он бросил меня, как только узнал о ребенке... сказал, что никогда меня не любил... что ему нужна была хата, чтоб отдохнуть от семейного бедлама...

Смешавшись с тушью, слезы расчертили дорожки на растерянном лице Самохиной.

— Гнилая семейка, — задумчиво произнесла актриса. — Их только чужие метры интересуют...

— Что мне делать, Виктория Максимилиановна?

<sup>3</sup> Станиславский.

— Рожать, конечно! Ты же не из тех мамаш, которые детей по мусорникам разбрасывают. Кто там у нас, мальчик или девочка?

Лицо Лизы озарила почти счастливая улыбка.

— Девочка. Виктория. Вот ее фотка, — протянула она женщине снимок УЗИ. — Длина — четыре сантиметра, вес — семь граммов.

— Какая красавица! Вся в прабабку, — восхитилась актриса, рассматривая плавающую в воде фасолину. — Уже и шейка имеется. Скоро начнет двигать головой и конечностями, а там и кувыркаться. Как ты себя чувствуешь?

— По-разному. Иногда неплохо, иногда нападают дикие приступы сонливости, раздражительности и неукротимого жора, и я, как ленточный транспортер, затачиваю в себя все, что не приколочено гвоздями. А то, что приколочено, отдираю и тоже ем. Уже на три кило поправилась. А еще поясница болит и грудь ноет. Последняя, кстати, увеличилась на целый размер, — радостно сообщила Елизавета, поглядывая на часы. — Мне уже бежать надо! А то Егоровна сегодня лютует, как инквизитор. Грозится всех уволить.

Вернувшись из стационара в свою комнату, Закржевская сняла телефонную трубку.

— Мне нужна помощь в получении юридических услуг, — произнесла женщина. — Хочу оформить дарственную... Нет, именно дарственную. Завещание можно оспорить... Благодарю вас.

Виктория Максимилиановна вновь воспрянула духом. У нее появилась новая цель — дожидаться рождения правнучки, окрестить ее и благословить на продолжение их с Адамовым театральной династии. Женщина снова стала посещать столовую и ездить с Лизой на прогулки.

— Ну, и как ты в таком положении собиралась играть Хани? Женщину, которая никогда не хотела иметь детей? — поинтересовалась она у Самохиной.

— Не знаю ... Мне просто очень хотелось, чтоб у вас появилась цель, и вам снова захотелось жить.

— Дурочка! Дождаться рождения правнучки — всем целям цель, ведь Вика — это живой памятник прабабке, — рассмеялась актриса.

Через полчаса у Закржевской началась одышка, возникли боли в левой стороне груди, и женщины поторопились обратно в корпус. В комнате актриса приняла свои таблетки и, откинувшись на спинку кресла, попросила Лизу внимательно ее выслушать. Та в нерешительности замерла, опасаясь узнать что-то неприятное.

— Вот что, детка, — вздохнула Закржевская. — У меня — врожденные аномалии коронарных артерий и довольно печальный возраст. В любой момент я могу покинуть эту юдоль человеческих страданий. А потому позволь дать тебе кое-какие напутствия.

Из глаз Самохиной потекли слезы.

— Нет, нет! Пожалуйста, нет! — замахала она руками. — Давайте об этом поговорим завтра... или послезавтра.

— Нет у меня, Лизонька, ни завтра, ни послезавтра, — печально улыбнулась Закржевская. — Вчера ко мне во сне являлся Адамов. На весельной лодке приплывал. Кроме мужа, в ней сидели мои родители. Они сказали, что пришло время нам воссоединиться. Я попросила короткую отсрочку: завершить свои земные дела. Так что слушай внимательно все, что я сейчас скажу. Итак... Лешка, конечно, амеба одноклеточная, но дай девке его отчество, а фамилию — мою. Хочу, чтобы Вика стала продолжательницей старинного дворянского рода Закржевских, а не какого-то дворника Самохина, дай ему бог долгой жизни за то, что нашел тебя и пристроил в теплое место. Чтобы не было разнобоя в фамилиях, свою поменяй еще до рождения дочки. Если у Вики не проявятся иные яркие наклонности, пусть будет актрисой. Я буду ей сверху помогать.

Лиза молча кивала головой и плакала.

— Лешку, если одумается, от себя гони — не пара он тебе! — продолжила женщина. — Халупу свою сдай в аренду. Будешь на эти деньги платить коммуналку в моей квартире. Не наоборот! Если останешься по старому адресу, они резко «возлюбят» Вику и высосут из тебя все соки. Сама не заметишь, как эта хитрая семейка переберется в мою квартиру, а ты с дочкой останешься жить в «гарлеме», кишачем мигрантами и преступниками всех мастей.

— Но они же — прямые наследники. Имеют право!

— Уже нет. Вот — дарственная на квартиру и все, что в ней находится. Вот — адрес и ключи. Сегодня можешь перебираться — квартирантов я турнула еще на прошлой неделе.

— Я... не могу. Это — очень дорогой подарок, — испугалась девушка.

— Я еще не закончила, — сдвинула брови Закржевская. — Сними со стены икону и подай мне бюсты основателей МХАТа.

Лиза автоматически выполнила указание.

— Это, деточка, — старинная икона семнадцатого века, доставшаяся мне в наследство от родителей.

Актриса нажала на кнопку, расположенную в углу металлического оклада, и тот отщелкнулся.

— Сверху — дрова, они и доброго слова не стоят, — отбросила она в сторону крышку-обманку. — А это — настоящий раритет. Семейная реликвия рода Закржевских. Стоит бешеных денег. Хотелось бы, чтоб она досталась в наследство Вике и стала ее оберегом. Но в жизни бывают разные ситуации. Если придется икону продать, проконсультируйся с антикварами. Вот визитки тех, кому можно доверять. Дома держи ее на видном месте, но скрытую от чужого глаза вот этой современной мазней, купленной в церковной лавке.

Самохина стояла, как замороженная. Ей, простой детдомовской девчонке, все происходящее казалось приключенческим фильмом, вот толькоклада в стене не хватало.

Виктория Максимилиановна тем временем открутила голову Станиславскому и высыпала на журнальный столик свои драгоценности, частично старые, фамильные, частично современные, подаренные ей мужем и любовниками. «Ну, вот и клад», — подумала девушка, плохо веря в реальность происходящего.

— Вот это колечко с бриллиантом мне подарил мой отец на совершеннолетие, а это кольцо с фантазийными сапфирами и серьги-канделябры — родители на свадьбу, — с гордостью произнесла актриса. — А эту рубиновую брошь в виде сердца, окаймленного белым золотым бантом с чистейшими бриллиантами, я получила от супруга в день нашего бракосочетания. А вот, деточка, платиновый браслет, украшенный звездно-желтыми бриллиантами и прозрачно-голубыми аквамаринами от моего э-э-э... верного поклонника, он поднес мне эту прелесть в день премьеры «Каменного цветка». А это — крест из белого золота с фамильным гербом Закржевских, инкрустирован бриллиантами и сапфирами. Его презентовала бабуля по материнской линии в день моего крещения. На оборотной стороне выгравированы три буквы: «РБН», что означает «раба божья Ника<sup>4</sup>». А это кольцо на два пальца в виде змеи с чешуйками из черных и белых бриллиантов от Адамова в благодарность за рождение дочери. А вот — гарнитур из крупных изумрудов — подношение моего близкого друга в день пятилетия наших с ним отношений. А эта жемчужная подвеска на цепочке из белого золота — знак внимания одного высокопоставленного чиновника. Очень щедрый был мужчина. Квартира, в которой ты будешь жить, досталась мне благодаря его хлопотам...

<sup>4</sup> В православных святцах нет имени Виктория.

Лиза восхищенно смотрела на горку драгоценностей, переливающуюся сотнями мерцающих искр в свете галогенных ламп, и представляла себя Катенькой, невестой Данилы-мастера, на приеме у Хозяйки Медной горы.

— Эти украшения выполнены если не в единичном экземпляре, то лимитированной коллекцией, — пояснила девушке актриса. — Все камни натуральные. Это, детка, — твой «неприкосновенный запас на черный день». Если хочешь дожить до моих лет, дома их не держи. Арендуй в Сбербанке депозитарную ячейку. Туда же положишь и доллары.

Закржевская взяла в руки бюст Немировича-Данченко и несколько раз провернула его голову против часовой стрелки. Взору Самохиной открылось широкое отверстие, доверху заполненное зелеными банкнотами.

— Здесь, Лиза, — пятьдесят тысяч крупными купюрами. На сколько лет их хватит, зависит только от тебя. Можно, конечно, купить автомобиль, дачу, что-то еще... Но... тебе в одиночку растить дочь, оплачивать ее музыкальную школу, секции, кружки, репетиторов. Если, не дай бог, серьезно заболит, нужно будет лечить и оперировать за границей. Не успеешь оглянуться, как придет время давать Вике высшее образование, играть свадьбу, помогать с детьми... Так что трать деньги разумно. А лучше положи в ячейку и забудь на время об их существовании. У тебя будут декретные, материнский капитал, деньги за аренду однушки. Не пропадешь. Кое-что в рублях есть и на моем счете. Вот, Лиза, моя банковская карта. ПИН-код — проще пареной репы: 1870 — год рождения вождя мирового пролетариата товарища Ленина. Запомнила?

— Да, — едва слышно произнесла ошарашенная Самохина.

— Как только я сыграю в ящик, идешь к банкомату и снимаешь все, что там есть. Да, чуть не забыла. Вот дарственные на фамильные драгоценности, икону и ноутбук. Это если богадельня компа в комнате не обнаружит и к тебе прицепится. Об иконе и украшениях они знать не должны, но... береженого Бог бережет. Я в курсе, вам запрещено вступать в личные отношения с жильцами пансионата. А потому бери, Лизок, такси и чеши ко мне домой. Отвезешь туда икону, компьютер и бюсты реформаторов театра. Икону повеси на стенку в спальне, бюсты поставь на пианино в гостиной. Замки в квартире поменяй как можно скорее. Завтра утром жду тебя здесь. Ну, вроде все, — улыбнулась актриса улыбкой человека, выполнившего свое предназначение на этой земле. — Хотя нет, Станиславского забыли! Давай складывай в него побрякушки. Стоп! Часики золотые оставь и цепочку с подвеской-ящерицей. Будешь смотреть на них и вспоминать свою Хозяйку Медной горы. Они принесут тебе удачу. Не веришь? Потрогай их руками.

Лиза взяла украшения в руки.

— Чувствуешь, от них исходит тепло... Считается, драгоценности впитывают не только энергетику дарителя, но и его пожелания будущему владельцу, влияя на дальнейшую судьбу последнего.

В глазах Закржевской стояли слезы. Она знала, что видит девушку в последний раз. Женщина застегнула цепочку на тонкой Лизиней шейке. Завела механизм изящных золотых часиков с алмазной крошкой на циферблате и надела их на руку Самохиной.

— Спасибо вам за все! — обняла Лиза актрису и громко зарыдала. — Не бросайте нас с Викой. У нас же, кроме вас, никого нет на этом свете.

— Я всегда буду с вами, девочки мои. Вызывай такси, я тебя проведу.

Виктория Максимилиановна положила на колени тяжелую спортивную сумку и поехала на улицу дожидаться такси. Лиза плелась за ней следом, пытаясь найти повод, чтобы остаться. Она не верила в вещие сны, считая их признаком повышенной мнительности пожилых людей, но покидать сегодня Закржевскую почему-то боялась.

— Я сейчас все отвезу и сразу вернусь назад — буду ночевать с вами, — сообщила она Закржевской свое решение.

— Этого еще не хватало! — возмутилась та. — Ты теперь каждый день будешь меня сторожить?

— До тех пор, пока вам не перестанет сниться лодка с покойниками.

— Ты всерьез приняла мою болтовню? — засмеялась актриса. — Нет у тебя чувства юмора, Лизавета. Я пошутила.

— Правда? — вздохнула девушка с облегчением. — Тогда я буду вам звонить.

И позвонила, как только повесила икону. У Максимилиановны все было в порядке. Она уже поужинала и раскладывала на журнальном столике пасьянс.

— Все, Лизонька, не дергай меня больше, — взмолилась актриса. — Устала я, хочу лечь спать пораньше. Поболтаем завтра.

Девушка окончательно успокоилась, завела на семь электронный будильник и прямо в одежде уснула в кровати хозяйки.

В четыре утра ее разбудил грохот. Это упала со стены семейная реликвия рода Закржевских. «Плохо прибила, — чертыхнулась Лиза, постеснявшаяся в вечернее время лупить молотком в соседскую стену. — Завтра переделаю».

Девушка вернулась в кровать, но сон к ней больше не шел. Она стала бродить по квартире, знакомясь с обстановкой, заглядывая в шкафы, комоды и кладовки. Прикидывая, что из мебели стоит убрать, переставить, отремонтировать. Затем Лиза пила на кухне чай с малиновым вареньем и наблюдала через окно за нарождающимся рассветом.

Без десяти восемь она уже была на работе — ее новое место жительства находилось в двадцати минутах ленивой ходьбы от пансионата. Заскочив в корпус, Лиза бросила взгляд на циферблат обновки, поблескивавшей на ее руке. Часы показывали ровно четыре. «Остановились, — огорчилась девушка. — Ладно, потом разберусь».

Дверь в комнату актрисы оказалась не заперта. Обычно она на ночь закрывается. Сердце Самохиной тревожно забилося...

Закржевская лежала на кровати поверх одеяла в длинном бархатном платье цвета аквамарин. Том самом, в котором собиралась играть Марту. Ее ноги были обуты в зеленые бархатные туфельки на высоких каблуках. Волосы подняты в высокую прическу. В ушах, на шее и на среднем пальце левой руки поблескивали украшения из бисера и стекла разных оттенков зеленого цвета. В правой руке Виктория Максимилиановна сжимала искусственную розу. Женщина не дышала. На крик Лизы сбежали жильцы соседних комнат, дежурный терапевт, санитарки и старшая медсестра

— Мда-а-а, — выдохнула Анна Егоровна, глядя на покойницу. — Артист — это не профессия, это — диагноз.

Пока терапевт мельтешил у тела новопреставленной, «зрители» вполголоса переговаривались.

— Красивая-то какая! — позавидовала Закржевской Ирина Невельская. — Ни дать ни взять Хозяйка Медной горы.

— Так-то оно так, — согласилась Забелина, — но откуда она узнала время своей смерти? Не иначе как руки на себя наложила. Не удивлюсь, если Витка траванулась корнем мандрагоры. Она такая затейница... была. И совсем ведь не дряхлая еще... Вон и записку прощальную на столе оставила — точно добровольно ушла.

Лиза бросилась к листочку, аккуратно вырванному из школьной тетради. Никакого прощания там не было — лишь четверостишие, написанное размашистым каллиграфическим почерком:

Я знаю: даже кораблям  
Необходима пристань.  
Но не таким, как мы! Не нам!  
Бродягам и артистам!<sup>5</sup>

Девушка сложила листочек вдвое и незаметно для окружающих положила его в карман.

— Судя по температуре тела, дама умерла несколько часов назад, где-то в четыре утра, — повернулся к публике доктор. — Признаков насильственной смерти или самоубийства я не вижу. Тихо отошла во сне... как праведница.

Громкие рыдания Лизы разорвали утреннюю тишину пансионата.

— Ну, а что вы хотели? — обратился к ней доктор. — В одном случае из трех смерть настигает сердечника именно во сне. Сон в лежачем положении способствует усилению притока к сердцу венозной крови. Сердечной мышце в этом случае необходимо поступление большого количества кислорода. А его не было. Вот мотор и не выдержал нагрузки.

— Это все-таки лучше, чем годами мучить окружающих своими болячками. Бог, он все видит и плохому человеку такую смерть не пошлет, — задумчиво произнес Олег Стоцкий. — Говорят, только безгрешным даровано такое счастье, как легкая смерть во сне.

— Это Витка-то безгрешна? Я вас умоляю, — фыркнула Лидуша. — А насчет счастья умереть во сне, то я от священника слышала другое. Он сказал: уход без исповеди и отпущения грехов — наказание за несправедную жизнь, отмаливать которую придется потомкам.

Лиза превратилась в сгусток боли, которая слепила, душила, мешала дышать. Перед ее глазами все плыло и дрожало. У нее не хватало сил слушать эту белиберду. Захлебываясь в рыданиях, Самохина выскочила из комнаты и побежала в подсобку. Там упала на узлы с грязным бельем и разрыдалась.

Мокрой от слез щекой она прижалась к подарку покойницы, который и в самом деле был теплым. В памяти тут же всплыли слова Закржевской: «Я всегда буду рядом с вами, девочки мои», и на душе у Лизы сразу стало легко и спокойно, словно после проливного дождя на небо вышла яркая многоцветная радуга.

Девушка с благодарностью посмотрела на излучающие тепло часики. Они по-прежнему показывали четыре утра — время, когда лодка рабы божьей Ники отчалила от своей последней пристани.

---

<sup>5</sup> Александр Вертинский.

---

---

## Герман ВЛАСОВ

\* \* \*

если мягок и в дымке огни  
если лоб на проспекте целует  
снег в сочельник когда мы одни  
для одних на земле существует

существуют приметы метро  
или буква его и схожденье  
в существо лабиринтов  
хитро  
перемешаны смерть и рожденья

ну а мы по проспекту скрипеть  
липким снегом еще не забудем  
будем петь будем внутренне петь  
существами под снегом мы будем

или парой увидевшей снег  
мы свидетели снега живаго  
видишь как вырастает побег  
как столбец испещривший бумагу

где снежинки родов имена  
александр марина иосиф  
говорит что неслышно зима  
проросла эту мертвую осень

мы уйдем от осенней беды  
от проспекта к домашнему чуду  
на снегу мы оставим следы  
из-под рыбы домоем посуду

---

Герман Власов — поэт, переводчик, эссеист. Родился в 1966 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ, член студии И. Л. Волгина «Луч». Лауреат премии Фазиля Искандера (2021), дипломант Ахматовской премии (2023), автор книг «Мужчина с зеркалом овальным» (М., 2018), «Серебряная рыба золотая» (М., 2020), «Пузыри на асфальте» (Киев, 2021), «Птица с малиновой грудкой серая» (М., 2023) и др. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Нева», «Звезда», «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер» и др.

\* \* \*

Все то, что с нами было. — Где оно?

*А. Машевский*

Время бывшее истлело, как сорочка и бинты. Спрашиваешь то и дело: тело бедное, где ты?	продолжает лист кленовый над асфальтом в сентябре. Это шляпа, галстук новый. Остановка в серебре.
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подбородок где, ресницы, влажный, розоватый рот. Это две большие птицы, это повести страницы вырванные, их полет	Это мир похож на глобус. Это контурная тишь. Это подошел автобус. Вышел в поле и — скрипишь.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На странице невеличкой,  
запятою, но в пальто.  
Птичкой божьею синичкой,  
но при галстукке зато.

\* \* \*

...Лишь ребячески связан...

*О. М.*

Связан разве преломлением  
подоконного луча  
с улицей пустой. Там тление  
сброшенной листвы и пение;  
нет, не птицы — раньше тень ее  
проскользнула, не звуча.

Связан нищетой великою,  
с щедростью в себя вместить  
радость выпуклую; ликами —  
нет, еще не стала быть.

На пороге — двери утренней  
так подробна белизна,  
что не я, но некий внутренний  
обозначен; как весна,

говорит о смысле: дай его  
пестовать, дарить, любить;  
ради электрона дальнего,  
проблеска его ловить;

ради общего горения,  
где, в пейзаже одиноч:  
изумишься — не моление:  
сухость в горле и — комок

речи, слово благодарности;  
нет, скорей прийти домой,  
из окна где в прежней данности  
ночью — ночь, трава — травой.

\* \* \*

тень сороки пролетела по крыше  
глиною и гнилостью  
день весенний  
пахнет но капли и выше  
клина журавлиного возвращенье

с юга ну а голоса их все те же  
помнишь  
помню как перед порошей  
виновато их бесшумно скольженье  
здесь над мутным зеркалом шоши

вдумайся скажи авва отче  
проще нет ключа к мирозданию  
день стоит на криках сорочьих  
блеске комарином жужжанье

и не день а умиротворенье  
благорастворенье воздушных  
паутина как стихотворенье  
все из тополиного пуха

отчего и счастье так близко  
незнакомое а стало похожим  
вплоть до комариного писка  
ливня до укуса на коже

\* \* \*

то ли бабочкой то ли сном  
или ласточкой в январе  
отрок сделался невесом  
он проливом па-де-кале  
видит солнце и острых ос  
и шуршанье над ним стрекоз

и подходит к дереву где  
лик сияющий из дупла  
лик сворачивающий тень  
кружевные бубнит слова

станешь пастырем будешь муж  
будешь пластырем гнойных душ  
станешь раны гнева лечить  
перековывая мечи

чтобы в ниве зацвел восторг  
или в ниле тонул восток  
и охотник упряма и рыж  
наблюдал как искривлен стриж  
как сшивает кривой иглой  
ветер тучу озеро зной

а еще по-русски сказал  
городок твой жд вокзал  
имя упражненья уму  
ни к чему они ни к чему  
лучше волны и сердца плёс  
солнце птицы шорох стрекоз  
биться правою стороною  
прорасти в стороне иной

\* \* \*

Дорогая вещь остается дольше  
рыжею песчинкой. Она не мусор,  
но предмет, не подверженный скорой порче,  
хоть и не умеющий сделать узел,

закрепиться в почве корнями прочно.  
Живы мы на ветру, исхлестаны непогодой,  
но зато слышим голос воды проточной,  
а зимой умеем ходить по водам;

гладить шерсть, трогать стволы руками,  
думать о любимой, кормить синицу.  
И живем такими вот дураками,  
провожая взглядом осенью птицу.

Ни шелка, ни камень нас не удержат.  
Пара семечек — это душа и память,  
память и душа; направленьем тем же,  
духом нищие, зато не с волками.

Что же дóрого — собираем в уме мы  
и, омелой карабкаясь по сухостою,  
строим дом свой — ладный, умелый,  
где нет места унынию и простою.

Полно, юноша, к экрану не липни,  
помни, голову теряя, тусуясь, —  
светятся, как ладони у липы,  
корни как чернеют ее и who is.

---

---

Александр ТОВБЕРГ

# СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН НАД ТЕРРИКОНАМИ (Донбасс довоенный)

## Рассказы

### СЕМЕЧКИ

— Тимофеевна, и почему это твои семечки такие вкусные? — прикормленные покупатели задавали ей этот полуриторический вопрос, а она то ли отшучивалась, то ли правду говорила.

— А-а, вам все расскажи, тут технологию знать надо.

Рабочий день ее начинался с полвосьмого, а то и с семи утра. Летом высиживала до позднего вечера, спрятавшись под зонтом от жаркого солнца, а зимой, укутавшись потеплее от холода, — уж на сколько сил хватит. Место Тимофеевна определила для себя нельзя сказать, чтобы бойкое, но более-менее удачное. Почти в центре города, рядом со зданием детской библиотеки. Тут и школа рядышком, и еще кой-какие общественные учреждения. Но главное, конечно, от дома недалеко: каких-то метров сто, не больше. С ее больными ногами куда далеко ходить-то?

Все к ней привыкли, здоровались, перебрасывались парой слов, да и стакан-другой семечек покупали по пути. Школьники тоже частенько выручали.

Случилось, как-то присоседилась к ней лоточница со жвачками, всякими сухариками, «энергетиками», чипсами, может, еще какой-то заграничной дрянью. Но директриса школы — советской закалки педагог — прознала об этом, возмутилась, — и соседке Тимофеевны пришлось убраться в поисках другого злачного места. Правда, это не мешало школьникам на переменках бегать в киоск за поворотом, ассортимент которого не отличался особой пользой для растущих организмов.

— Ну что, Тимофеевна, сидишь? — старый учитель истории Александр Васильевич был постоянным покупателем. Частенько останавливался, беседовали о том о сем. Тимофеевна, как обычно, сетовала на больные ноги, на погоду.

— Сижу тут, сижу за копейку, а и то взять негде.

— Тебе, Тимофеевна, реклама нужна, — размышлял учитель. — Вон видишь, как ловко придумали: семечки эти в пакеты фасуют, и совсем другой товарный вид у них получается.

---

Александр Товберг родился в 1974 году на Донбассе. По образованию — журналист. Печатался в различных изданиях Украины, России, Беларуси, Казахстана, Германии. Член Союза писателей России, Межрегионального Союза писателей, Союза писателей Крыма. Состоит в ЛИТО «Пиитер» (СПб.). Участник, номинант, дипломант, призер, лауреат разнообразных конкурсов-фестивалей-тусовок. Выпустил семь книг стихов и прозы разной тематики. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Тимофеевна беззлобно ворчала:

— Ну да, понаделали этих пакетиков цветастых, ярких. А вы и рады, как сороки на блестящее кидаетесь. А потом — один мусор от них. Тьфу, так там даже ста граммов нету. Все ловчат, все выгадуют. И скажи мне, что они там за семечки в них сыплют? Как кот в мешке покупаешь. Я так однажды ради интересу взяла попробовать — тьфу! горелых половина! А тут-то вот он мой товар — налицо, бери, пробуй. Целый стакан! Все честно. Я ж не спекулянтка, я свое продаю.

— Поди объясни это кому, — соглашался Александр Васильевич.

— Так ведь а вы на что, педагоги? Объясняйте молодежи, что плохо, что хорошо. Закладывайте основы опчества.

— Думаешь, сильно они нас слушают? Продвинутые они нынче. Сплошной гламур. Семечки им твои нужны, как же! Наши с тобой устаревшие идеалы нынче не котируются. Красивая жизнь нужна — вот чего. И желательно, чтобы сразу, не напрягаясь. Вот позади тебя — живой пример. Детская библиотека.

— Была.

— В том-то и дело, что была.

Действительно, «очаг книжных знаний» уже почти год как закрыли. Дотаций на культуру от государства нет, а для бюджета небольшого города четыре таких «очага» слишком накладно содержать. Куда книгам конкурировать с компьютерами, Интернетом да мобилками! В общем, книжные фонды частично списали в макулатуру, частично по другим, сохранившимся, библиотекам рассовали. Людской штат тоже похожая участь постигла: кто иную работу нашел, кто на биржу труда отправился. Красивое здание библиотеки, еще дореволюционной постройки, как-то сразу на глазах стало ветшать. Мемориальную табличку, в которой значилось, что, мол, здесь некий большевистский комитет заседал в беспокойный период Гражданской войны, размолотили. Новой эпохе нужны новые кумиры. Вот если б тут этот ихний с... сын Бандера или Махно каким-то боком зацепились, а еще лучше — попса какая-нибудь проездом останавливалась, типа «поющих трусов», то, возможно, и музей бы сделали, а так... Добрались и до окон: побили стекла, повывломали рамы. Что можно было внутри разобрать — разобрали-растащили. Местные жители, особо не напрягаясь и недолго думая, устроили внутри здания мусорник.

— Это, Тимофеевна, — говорил учитель, — все барыгам на руку: сначала какие-нибудь бомжи за бутылку окна бьют, а потом бизнесмены полуразвалину задешево покупают. Схема старая, проверенная. Большой бизнес. Это тебе не семечками торговать. Вот увидишь, обязательно кто-то выкупит библиотеку.

— Ох уж этот бизнес, — вздохнула Тимофеевна, — чую я, бизнесмены эти и нас с тобой, как семечки, пощелкают...

Предположения Александра Васильевича подтвердились. Очевидно, решив, что здание достаточно «обработано», в один прекрасный день обнаружили новые хозяева, обросло оно лесами, засновали вокруг строители-восстановители.

Молодой улыбчивый парень, видно бригадир, обратился к Тимофеевне:

— Бабуля, ты б тут не тусовалась, а то, сама понимаешь, стройка, свалится кирпич на голову — потом отвечай за тебя.

— Сынок, а ты мне каску дай, — пыталась отшутиться Тимофеевна, но по здравому рассуждению таки сместилась подальше от здания.

Однако внакладе Тимофеевна не осталась. На несколько месяцев, в течение которых происходило преобразование бывшей библиотеки, строители стали постоянными

ее покупателями. Щелкали семечки, нахваливали. А она тихо радовалась... Но все хорошее однажды заканчивается.

Стройбригада, сделав по новейшим ускоренным технологиям из здания сверкающую конфетку, испарилась, очевидно получив заказ на новый объект. Тимофеевна переехала на родное место. Осмотрела идеально отполированную вывеску на входе, отразившись в ней, будто в кривом зеркале: «ГрандБизнесБанк». Повздыхала и сама привычно «устаканилась» на табуретке. Расположила рядом на «кравчучке» мешок семечек, раскрыла его и умостила в нем граненые стаканы по сто и пятьдесят грамм. Принялась работать.

Минуту спустя из здания банка вышел охранник, приблизился развязной походкой, набрал горсть семечек, пошнырял глазами по сторонам, лузгая:

— Ты, бабка, это... иди отсюда. Где-нибудь в другом месте торгуй.

— Чего это?

— Ну, старая, не понимаешь, у нас тут серьезное заведение. Ты нам всех клиентов распугаешь.

— Да я, мил человек, тут спокон веку стояла, ты што. Я ж не мешаю. Вот бери стаканчик, хошь бесплатно. И вам польза будет, и мне.

— Бабуля, я десять раз не повторяю. У нас тут не детсад, а банк, понимаешь?

— Понимаю, понимаю.

— Вот и иди отседова.

— Да куда ж я пойду, вы ж долáры заколачиваете, и мне ж хоть копеечку тоже заработать надо, — не соглашалась Тимофеевна.

— Так, бабка...

— Тимофеевна я...

— Да мне по фигу, хоть Фекла Потаповна, у меня больше китайских предупреждений не будет! — охраннику начал надоедать этот спор, и он ошутимо озлился. Видя, что Тимофеевна оказывает упорное сопротивление, вызвал по мобилке напарника. Вместе они, не обращая внимания на бабкины причитания, подхватили гамузом все ее рабочие принадлежности и перенесли на другую сторону улицы. Тимофеевне ничего другого не оставалось, как поплестись следом.

И все же Тимофеевна пошла на принцип и сдавать позиций не собиралась. Назавтра она пришла пораньше и опять расположилась на своем пригретом месте...

Старушку, естественно, вновь «отселили». На энный день противостояния к Тимофеевне с визитом вышел хозяин, то бишь директор. Он, лоснящийся, породистый, подступил к ней вместе с охранником и «разыграл сцену»:

— Кто это? — спросил он охранника.

— Сергей Петрович, ну я вам объяснял, это бабка...

— Какая бабка?

— Тимофеевна вроде.

— Что она здесь делает?

— Так это... семечки продает...

— Вижу, что не носки...

— Сергей Петрович, ну, чес слово, я ее, мы ее... она не слушается, — заоправдывался изо всех сил охранник, пытаясь убедить хозяина в своей невиновности.

— Так что, милицию вызвать? Сами не справляетесь? — вдруг хохотнул Сергей Петрович. — Или охрану поменять?

— Ну Сергей Петрович!

Тимофеевна настроженно следила за происходящим...

— Бабуля, почем семечки? — обратился хозяин к ней.

— Так пятьдесят копеек стакан. Тебе, внучок, в кулечек свернуть? — она отработанным движением свернула кулек из половинки газетного листа.

— Пятьдесят копеек, — хозяин усмехнулся, — да как-то у меня мелочи нету, а у тебя, Вася? — у охранника Васи тоже не оказалось. — Ну на вот тебе, бабуля, десятку.

— Что ты, я сейчас сдачу дам.

— Не надо, оставь себе, — он попробовал семечки, — действительно ничего, вкусные, — на миг задумался.

— Ну что, Сергей Петрович, может, мы ее, того?.. — влез с предложением охранник Вася.

— Чего «того», чего?! — прикрикнул Сергей Петрович. — Блин, Вася, тут креатив нужен... В общем так, бабулю больше не трогать, пусть сидит... А ты, бабуля, — обратился он к Тимофеевне, — будешь нашим брендом. Не переживай, это неопасно.

...И вот спустя некоторое время после этих событий учитель истории Александр Васильевич, идя привычным маршрутом в школу, увидел Тимофеевну и не поверил своим глазам... Приблизился... Нет, ничего особенно не изменилось. Тимофеевна так и торговала под стенами бывшей библиотеки своими вкусными семечками, но только — в униформе с логотипами «ГрандБизнесБанка».

— Ну ты даешь, Тимофеевна! — только и вымолвил старый учитель.

— А чего, Васильич, — важно изрекла Тимофеевна, — теперь у меня своя крыша есть. Глядишь, капитал сколочу и в большой бизнес подамся. Этим... рекламистом буду. Могу и тебя в напарники взять. Ты как, не против?..

### «СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН»

— Пригородный дизель-поезд Иловайск—Донецк—Красноармейск прибывает на пятый путь, — осипшим голосом проговаривает перронный динамик. Люди плотнее скучиваются вдоль железнодорожной платформы — скорее бы влезть в теплые вагоны, спрятаться от срывающегося снега, от пронизывающего ветра. Отгородиться от внешнего мира хотя бы временной иллюзией уюта.

Время позднее, последний день рабочей недели. Все уставшие, хочется подремать до своей станции. Занимаю свободное место и тоже собираюсь предаться этому занятию. Едва смежив веки, слышу звук аккордеона. Снится мне, что ли?.. Но нет, похоже, это не сон. Оказывается, вот он источник звука — медленно передвигается по проходу и наяривает в свое и в пассажиров удовольствие затрапезного вида старикан. Крупной вязки шапка сдвинута набекрень, на носу — мощные очки с толстыми линзами. Кажется — это два аквариума, в которых плавают близорукие рыбы-глаза. «Подстреленное» драповое пальто, которое он, наверное, носил еще в свои пионерские годы, заложенные штаны с пузырями на коленках, растоптанные дерматиновые сапоги. Взгляд притягивают выглядывающие из рукавов чуть ли не по локоть руки. Точнее — кисти рук с живыми, подвижными, длинными пальцами, виртуозно снующими по клавиатуре аккордеона, такого же потрепанного, как и сам старикан. Ну прямо-таки бродячий Ян Табачник. Кто помнит — был такой виртуоз.

Он идет, ему подают, причем никакой тары для подаяния у него нет, и люди суют мелочь прямо в отвисшие карманы того самого «пионерского» пальто. А старикан всем своим видом показывает, что ему не столько заработок важен, сколько процесс извлечения звуков из музыкального инструмента. Как выяснилось позже, так оно и было. Искусство ради искусства, как говорится. В каком мелодическом состоянии

находился рабочий инструмент музыканта, этого я не скажу, так как не специалист в музыкальных сферах. Ну, играет — хорошо, красиво, и ладно. Мы же не в филармонии, а в электричке, потому и слушатели тут без особых претензий.

Наш вагон аккордеонисту транзитом пройти не удалось. Уже в тамбуре встретил его подвыпивший мужичок, шахтер по-видимому, и, тронутый душевностью исполнения, предложил музыканту бутылку пива. Дед с удовольствием вылакал ее, утолил жажду и в благодарность за угощение сыграл какую-то веселую мелодию. У проходившей мимо торговки шахтер взял еще пива, по бутылке на каждого. Вторую стариканпил уже раздумчиво, не спеша, по нескольку глоточков. Глотнет, отдаст пиво шахтеру поддержать, а сам сыграет что-нибудь. И так, пока всю емкость не опорожнил. Уже и косеть маленько начал.

Двери открываются-закрываются, пассажиры выходят, входят. Поглядывают на странную парочку.

А «странной парочке» надоело в тамбуре стоять. Вошли «товарищи по счастью» в вагон и расположились на сиденье напротив меня. Не знаю, повезло мне или нет. В таких случаях надо с двух сторон смотреть. Так вот, с одной стороны, повезло, потому как если до этого я наблюдения свои через открытую дверь в тамбуре вел, то теперь — вот, пожалуйста, рядом, удобно. Но с другой стороны...

В общем, понятно, что подремать теперь не удастся. Накатило на ребят — и пошло-поехало.

— А вот эту песню знаешь?.. — спрашивал мужичок.

— Знаю, — отвечал старикан — и добывал из инструмента «Мурку».

— А вот эту?..

— Ну еще бы! — и он наигрывал «Большой Каретный» Высоцкого. Слова он не всегда помнил, но воспроизводимую им мелодию можно было угадать сразу.

— А Шуфутинского?

— Всегда пожалуйста!

— А Круга?

— Да запросто! — и старикан наявивал, а шахтер кивал в такт головой, хлопал по колену ладонью, иногда подпевал. М-да, спелись ребята на почве шансона. Дед свое пиво уже успел допить, а шахтер свободной от похлопываний рукой, то есть той, в которой держал бутылку, размахивал из стороны в сторону. Я опасливо косился на разошедшегося работягу и пытался на всякий случай поглубже втиснуться в угол между стеной вагона и сиденьем. Хорошо хоть людей немного, и у «странной парочки» достаточно свободного места для своих манипуляций. И тут шахтер вспомнил шлагер всех времен и народов:

— А «Сиреневый туман» можешь!?

— Запросто, — и вагон заслушался очередной любимой шансонной мелодией. Сладко защемило сердце, шевельнулось в нем что-то такое необъяснимо теплое и печальное.

Сиреневый туман над нами проплывает,  
Над тамбуrom горит последняя звезда.  
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,  
Что с девушкой я прощаюсь навсегда.

Шахтер, расчувствовавшись, отдал оставшееся пиво старикану. Тот, и так захмелевший, добавил еще, и «Сиреневый туман» все чаще стал повторяться в его репертуаре. Потом полилось какое-то невообразимое попури из всех мелодий, известных стариканом. Но вышеозначенный шлагер давал фору им всем.

— А теперь еще что-нибудь душевное, — не отставал шахтер.

— Я частушки могу, — и пришла очередь частушек — всяких-разных, в основном хулиганских. Конечно, дед их не пел, а прокрикивал, хотя и негромко. Пассажиры вслушивались, оборачивались — интересно ведь, где еще такое услышишь.

Начинаем хулиганить,  
Будем вам частушки петь,  
Разрешите для начала  
На чтой-то валенок надеть.

Мужичок от радости вообще обалдел, еще пива у тетки-торговки купил, наверное, получка у него в этот день была.

— Держи, дед, заработал!

А тут и я голос подал, интересно стало:

— Вы сами частушки сочиняете? — вклиниваюсь.

— Народ сочиняет, — говорит старикан.

Через поле речка вьется,  
Сквозь песочек со́чится.  
Хоть и плохо нам живется,  
А любить-то хочется.

Мужичок-шахтер раскраснелся от пива да от радости, он бы еще слушал и слушал, но оказалось, тут коллеги его неподалеку в карты резались. Они-то и напомнили, мол, станция наша, Курахово, выходить пора, оставляй музыканта в покое.

— Ну бывай, дед, молодец, — стал прощаться шахтер, — смотри, пиво свое не забудь и бутылки забирай, сдашь... Закурить? На вот тебе сигарету... Давай на прощание «Сиреневый туман»!

Ударили по рукам. Распрощались. Старикан помаршрутил немного нетвердой походкой из вагона в тамбур и обратно. Сел и, конечно, заиграл. Сам себе и окружающим. Пытался я его разговорить, но ему мои вопросы как-то не по душе пришлись.

— Ты куришь? — спрашивает и смотрит на меня рыбками-глазками, от алкогольных паров кверху брюшками всплывшими.

— Бросил, — говорю.

— А выпиваешь? — опять спрашивает так, как будто в его вопросе вся земная мудрость заключена.

— Ну, по праздникам, — отвечаю я совсем заурядно и оттого глупо.

— Это хорошо, — и прошелся пальцами по клавиатуре и тут же передумал, — нет, плохо. Плохо, что не куришь и не пьешь. Знаешь такую частушку: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет»? — он хотел засмеяться, но вышло какое-то карканье. Закашлялся, отмахнулся от меня, как от безнадежного больного. Поиграл, поиграл, повпихивал бутылки в карманы «пионерского» пальто да и вышел вскоре на какой-то своей станции.

А я всю оставшуюся дорогу до конечной раздумывал непонятно о чем. Наверное, о превратностях судьбы человеческой. Хотя это и раздумьями-то назвать нельзя. Так, что-то чувствовалось во всем естестве, теплое и печальное, окутанное плотной дымкой «Сиреневого тумана».

---

---

Виктория ЧЕРЕМУХИНА

# СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ

## Рассказ

Мамедов вешает халат на проволочные плечики, кладет на верхнюю полку тканную шапочку. Металлический костыль, на который мужчина опирался в течение дня, тоже отправляется ночевать в шкафчик. Он успевает надеть пиджак, достать трость и расчесаться, ни разу не взглянув в приклеенный к внутренней стороне дверцы квадратик зеркальца, когда его окликают Михалыч:

— Мамедов! Руслан! Мы с ребятами в бар! Тохину «Кию» обмывать! Ты с нами?!

Голос Михалыча доносится словно через слой ваты, но судя по тому, как при каждом слове проступают жилы на шее и краснеет лицо, орет он что есть мочи.

Мамедов набирает в легкие побольше воздуха — Михалыч после смены так же оглушен, как и он сам — кричит в ответ:

— Спасибо! Я пас! Мне на электричку!

По-настоящему его звали Рустам, но он переименовал имя еще лет в двадцать. На родине предков он не бывал, внешность имел почти славянскую... Да и слушать, как каждый коверкает имя на свой лад, ему надоело. Для всех, кроме отдела кадров и бухгалтерии, он стал Русланом Мамедовым. За пятнадцать лет на фабрике он так ни с кем толком не сошелся. После смены тут же сбежал. Сначала к жене, потом, после рождения Кольки — к жене и сыну, а когда они с Колькой остались вдвоем, поводов торопиться стало еще больше.

Стоя на платформе и время от времени поглядывая на светящееся табло вокзальных часов, Мамедов пытается угадать, где именно откроются двери вагона: если повезет зайти среди первых и сесть подальше от прохода, можно подремать в пути.

На этот раз везет не слишком: когда состав останавливается, Мамедов оказывается в метре от ближайших дверей и следующие две остановки стоит в проходе, вцепившись в металлический поручень. Его шатает вместе с вагоном, а стук колес сливается с отзвуками все еще звучащего в ушах гула станков. Кто-то настойчиво касается его плеча; Мамедов отодвигается, освобождая проход, и слабо улыбается, когда худой

---

Виктория Черемухина живет в Санкт-Петербурге. Сотрудничала с журналами «Фома», «Вода живая», газетами «На дне» и «Сенатская площадь» и другими. Автор двух книг «Вера, Надежда, Любовь и мать их София» (исторический очерк), «Святые мученицы Екатерина, Татьяна, Варвара» (три повести под одной обложкой), изд-во «Амфора». Стихи и рассказы разных жанров издавались в сборниках издательств «Северо-Запад» и «АСТ», альманахах «Современные писатели России» и «Полдень». Лауреат международной премии «Петроглиф» в номинации «Фантастика», лауреат премии «Петраэдр», дипломант конкурса прозаической миниатюры им. А. Куранова, лауреат третьей степени фестиваля «Русский Гофман».

парень с крашенными в черное волосами и сквозными дырами в растянутых ушных мочках указывает ему на освободившееся место. Парень что-то говорит, но Мамедов не может расслышать: слова тонут в какофонии звуков. Усевшись, Мамедов озабоченно хмурится: сегодня понедельник, все не должно быть так плохо. Он прикрывает глаза, чтобы не встречаться взглядом с тощим парнишкой, уступившим ему; не видеть пестрой толпы. Скамья жесткая, с двух сторон его зажимают боками незнакомцы, но тем не менее Мамедов почти сразу проваливается в дрему. Ему снится магазин, в котором продаются одни лимоны. Он пытается отыскать йогурт, шарит по полкам хлебного отдела — но всюду только эти желтые кислые фрукты и ни следа нормальной еды. Потом он почему-то оказывается в цеху, все вроде как обычно, только нельзя разглядеть лиц тех, кто стоит рядом. И тут он видит Кольку. Хочет возмутиться: детям здесь не место, но это становится неважным, отодвигается; Мамедов снимает готовые бобины, видит, что у сына ровница оборвалась на четырех катушках — подходит помочь: останавливает станок, подтягивает ремни, чтобы замедлить вращение — но обычно послушный механизм бунтует, веретена вертятся с бешеной скоростью, и вот уже пять, шесть, восемь — вхолостую. Мужчина вздрагивает, просыпаясь за две минуты до того, как электричка прибывает на его станцию. Вагон почти пуст. Мамедов достает сумку из-под сиденья, тянется за упавшей тростью и хромает к выходу: на его станции поезда не задерживаются надолго.

Утром вторника он провожает сына до автобусной остановки. По дороге Колька несколько раз пинает рюкзак, и воображение Мамедова живописует, как содержимое пакета с завтраком рассыпается по школьным учебникам. Он открывает рот, чтобы сделать замечание, но Колька перехватывает отцовский взгляд и вешает рюкзак на плечо. Сын мягко улыбается и продолжает рассказ о том, как Полина Журова мечтает добираться до школы сама, но ее мать ни в какую, довозит на авто и провожает чуть не до дверей — это в двенадцать-то лет.

— Ее мать боится, что Полина к отцу сбежит, а она просто хочет успеть списать домашку до уроков. Понимаешь, пап?

О школьной успеваемости юной Журовой Мамедов знает все, а громкий развод ее родителей месяца два был главной темой разговоров Кольки за завтраками и ужинами. Мамедов кивает, мимолетно размышляя, почему его сын принимает такое участие в жизни Полины: его мальчик влюбился или пытается отвлечь отца от болезненной темы собственных успехов в учебе?

Автобус подъезжает, и Колька скрывается в его теплом нутре. Мамедов поднимает руку, чтобы помахать вслед, но Колька не смотрит в его сторону, и Мамедов неловко прячет ладонь в карман брюк.

С утра со слухом гораздо лучше, с ногой тоже. Второй вагон ожидаемо пуст, и он занимает местечко на скамье, предназначенной для «лиц пожилого возраста и инвалидов». Откинувшись к спинке сиденья, он полон решимости урвать еще сорок минут сна, но день слишком яркий, картины за окном — почти идиллические, и простуженный бас автоинформатора, каждые десять минут напоминающий о том, что «поезд следует со всеми остановками», не дает уснуть. Через одну входят несколько человек. Напротив усаживается девушка с вьющимися каштановыми волосами. Забрасывает наверх пухлый пестрый рюкзак, пододвигается к окну, а когда их взгляды случайно встречаются, улыбается несмелой, извиняющейся улыбкой и отворачивается, смутившись. Она смотрит в горизонт, на утопавшие в зелени коробки складов, теплицы и рощи, прижимается щекой к прохладному стеклу, а Мамедов разглядывает ее украдкой. На ней трикотажная футболка небесно-голубого цвета и джинсы в обликку. Руки лежат на коленях — левая неподвижна, а пальцами правой девушка отбивает

ет какой-то одной ей слышный ритм. Мамедову неудобно смотреть в лицо случайной спутницы, но оторвать взгляда от рук он не в силах: маленькие и бледные, с мягкими, почти детскими вмятинками у мизинца и безымянного. Ногти острижены коротко и выкрашены в синий цвет, пальцы кажутся нежными и гибкими, и когда вагон встряхивает на очередной стрелке, они впиваются в грубую джинсу, будто бьют по невидимым клавишам. Мамедов все-таки засыпает, а когда просыпается, никакой прекрасной незнакомки нет. Напротив сидит толстый мужчина, жующий резинку и не отрывающий взгляда от смартфона.

В среду утром Мамедов, как и всегда, садится во второй вагон и четыре остановки едет почти в полном одиночестве. Потом электричку заполняют люди, и вчерашней девушки среди них нет.

В четверг весь обратный путь Мамедов стоит, стиснутый толпой; а дома выясняется, что Колька не прошел отбор в футбольную команду. Мамедов говорит сыну какие-то утешающие слова, Колька смотрит вбок, а потом с размаху пинает порожек, отделяющий кухню от гостиной.

В пятницу Колька отправляется в школу в отцовских разношенных кроссовках: большой палец на левой ноге распух, ноготь совсем черный, но вроде ничего не сломано. Мамедов невесело усмехается шутке сына: «Вот теперь нас двое хромых» — и усилием воли удерживается от того, чтобы помахать уходящему автобусу. В электричке он почти сразу погружается в мутную дрему, а пробудившись, видит ту самую девушку. Он сидит напротив, читает толстую растрепанную книгу в тонкой обложке, неосознанным движением накручивает локон на палец и время от времени слегка прикусывает пухлую нижнюю губу. День довольно пасмурный, все-таки сентябрь, но дождя нет, и зелень за окном еще не подернута осенней ржавчиной. Мамедов думает, что девушка бледна, словно все лето просидела в комнатах, что ресницы у нее длинные и что она старше, чем ему показалось в первый раз. Сколько ей: двадцать три, двадцать пять, двадцать восемь? На станции Ипподром девушка захлопывает книгу, встает и поворачивается к нему спиной, чтобы вынуть рюкзак из сетки. Когда она тянется наверх, футболка задирается, и Мамедов видит матовую полоску кожи на поясище, выемки позвонков. Он спешно опускает глаза, и ее рюкзак болтается в воздухе над его коленями.

В субботу они с Колькой едут на оптовый рынок и набирают полные пакеты еды, чтобы хватило на неделю. Потом Колька ведет его в спортивный магазин и показывает правильный мяч. Старый не годится, тут дело не только в форме, но и в весе. Они покупают мяч тоже. Колька расцветает улыбкой, и отсветы мальчишеского счастья падают и на Мамедова. В вагоне они стоят, увешанные рюкзаками и пакетами, и Колька болтает всю дорогу. На них шикают: говорите тише, и Коля снижает громкость настолько, что Мамедов перестает разбирать большую часть слов. Когда поезд останавливается на станции Ипподром, Мамедов бросает короткий взгляд в окно.

Почти все воскресенье Колька пропадает с друзьями, а Мамедов полдня лежит перед телевизором, гоняя его с канала на канал с выключенным звуком. Потом берет себя в руки, загружает стиральную машинку, сметает пыль с мебели, подметает пол, решив, что с влажной уборкой можно подождать еще неделю.

В понедельник идет дождь, на работу он едет во втором вагоне, и как всегда в этот день, народу в электричке больше, чем обычно: многие подвыпили в выходные и с утра не рискуют садиться за руль.

Во вторник дождя нет. По земле стелется туман. Это даже красиво, когда смотришь из окон на его молочную белизну. Она заходит в вагон через остановку и выбирает

то же самое сиденье. На ней зеленое вязаное платье до колена. А глаза у нее темно-синие, а не голубые, как показалось Мамедову вначале.

В среду и четверг она не появляется.

В пятницу Мамедов обнаруживает в ее появлениях закономерность: незнакомка садится на Двадцать Четвертом Километре и выходит на Ипподроме, и пока это происходило только по вторникам и пятницам.

В субботу они с Колькой совершают очередную вылазку за продуктами и носками серого немаркого цвета.

В воскресенье Мамедов достает с антресолей коробку с одеждой, которую он носил еще тогда, когда у него была жена, а у Кольки — мать. Тогда они ходил по магазинам вместе, и она неизменно выбирала что-то непрактичное, но красивое... Мамедов старательно избегает воспоминаний о том, что случилось потом, ограничивая их лаконичным: «Она ушла». Джемпера и галстуки пахнут пылью, но моль их не съела, и на нитки они не развалились.

В понедельник моросит совсем слегка, и он не видит смысла открывать зонтик на пути к вагону.

Утром вторника, побрившись, Мамедов повязывает галстук: он не носил их уже лет восемь, но пальцы помнят, как это делается, лучше его самого. Когда «она» заходит в вагон, Мамедов делает вид, что очень увлечен видом за окном.

Вечером четверга Мамедов решает, что должен заговорить с незнакомкой. Может быть, она сама этого хочет. Он разглядывает себя в зеркало, с сожалением отмечая, что нос слишком велик для узкого, худощавого лица, в углах рта залегли резкие морщины, а в темных волосах появились седые пряди. Но все-таки не так уж он и изменился за прошедшие годы. Ведь когда-то и он нравился? Да и после того, как они с Колькой остались одни, бабы из цеха окружали Мамедова настойчивым, даже навязчивым вниманием. То ли утешить хотели, то ли прибрать к рукам. Их не смущала ни невзрачная внешность, ни инвалидность. Только ему они были почти неприятны: от них совсем не по-женски несло табаком, едва заканчивалась смена, они присасывались к ярким жестяным баночкам с алкоголем, а флиртуя, между делом сплевывали ругательства, которые и сам Мамедов не каждый день говорил. Незнакомка из поезда совсем на них не похожа.

В пятницу Мамедов надевает под пиджак отглаженную рубашку и галстук. Девушка входит в вагон и, усаживаясь напротив, одаряет его мимолетной улыбкой. Все время пути она дышит в стекло и рисует на нем туманные узоры. Мамедов завороченно смотрит на движения ее пальца и молчит.

В воскресенье выясняется, что Колька не успевает подготовиться к проекту по географии, и они проводят весь день в написании доклада и вылепливании из пластилина среза земной коры по образцу из Интернета.

В понедельник землю снова застилает туман, и к вечеру нога неприятно ноет от вездесущей сырости. Закинув в рот пару таблеток ибупрофена, Мамедов в очередной раз разглядывает свое отражение и подбирает слова. «Привет! Меня зовут Русик...» Он сглатывает. С тех пор как ушла жена, никто его так не зовет.

Во вторник синий узел галстука выглядывает из-под бежевого джемпера, а подбородок выбрит тщательней обычного. Мамедов аккуратно перешагивает лужи по дороге к станции и сжимает рукоять трости так, что пальцы белеют. Девушка входит на Двадцать Четвертом Километре, улыбается, достает из рюкзака очередную книгу. Мамедов пытается вспомнить, что он собирался ей сказать, но к моменту, как он решается поднять взгляд на незнакомку, она уже слишком поглощена напечатан-

ными строчками. «Я заговорю с ней, когда она будет смотреть в окно», — обещает себе Мамедов.

В среду он мечтает, чтобы пятница поскорее наступила.

В четверг не может заснуть и тяжело дышит, уткнувшись лицом в спинку дивана.

В пятницу незнакомка садится напротив снова, и мимолетно улыбается, и смотрит в окно. Дождь блестит у нее на волосах, зеленое платье намокло. Девушка разглядывает капли, стекающие по стеклу с той стороны, а ее руки лежат на коленях, сцепленные в замок. «Вы промокли», — решается Мамедов, но девушка по-прежнему разглядывает пейзаж, который постепенно становится вполне осенним. «Я... Руслан». Он вертит в руках зонтик. «Вот, возьмите, вернете во вторник». Незнакомка не меняется в лице, не удостаивает ни словом, ни взглядом. Игнорирует. Мамедов откладывает зонтик и до станции Ипподром изучает собственные руки.

В субботу он покупает в ближайшем магазине большую коробку крымского крепленого.

Воскресенье они с Колькой проводят перед телевизором. Когда Колька наконец уходит в свою комнату, Мамедов вспоминает, что в стиральной машинке комом лежит так и не разобранный белье, бредет к холодильнику и, свинтив крышку, делает большой глоток вина прямо из пластикового горлышка.

Понедельник начинается с тошноты, которая комом поднимается к горлу. Мамедова выворачивает. А от запаха поджаренного хлеба и омлета выворачивает еще раз. Колька смотрит озабоченно и сам заворачивает хлеб с неровно нарезанными ломтями колбасы в пергаментную бумагу. «Папа, с тобой все в порядке?» Папа надеется, что его сын не умеет распознавать запах перегара, и, отчаянно пряча взгляд, уверяет, что с ним все хорошо — траванулся чем-то, но скоро все пройдет. В цехе он едва не лишается пальцев, подтягивая барабаны на включенном станке, но к вечеру ему, как ни странно, становится лучше.

Во вторник — солнечная погода. Пожелтевшие верхушки ясеней кажутся золотыми, а небо пронзительно-сине. Зайдя в вагон, Мамедов садится на свое обычное место и притворяется спящим. Через неплотно сомкнутые веки он видит, как девушка занимает сиденье напротив, как она рассматривает его в уверенности, что мужчина не замечает ее пристального внимания.

В среду Колька говорит, что провожать его до автобуса вовсе не обязательно. Что других в его параллели не провожают, только Полину, да и то все знают, какая у нее стукнутая мамаша. Мамедов понимающе кивает. А потом, ссутулившись, бредет до станции.

В пятницу он хочет сесть в третий вагон или в четвертый, но все равно садится во второй. Девушка заходит на своей станции и занимает место напротив. Мамедов хочет пересесть куда-нибудь подальше, но только прячет глаза. Спустя три остановки в вагон заходят проверяющие, и пассажиры протягивают им свои билеты, а Мамедов — синюю социальную карту. Незнакомка по-прежнему скользит глазами по строчкам книги, не отрываясь, даже когда контролер адресно просит «девушку у окна» предъявить проездные документы. Только когда контролер протискивается в проход между сиденьями, она вскидывает взгляд, нешироко улыбается, касается кончиком указательного пальца поочередно губ и ушей и извлекает из кармана кофты квадратик синего картона, запаянный в пластик, — социальную карту инвалида. Мамедов узнает документ сразу, потому что у него такой же.

В субботу, проснувшись, Мамедов долго сидит и смотрит в одну точку, зажав ладонями уши и пытаясь представить себе, каково это — жить вовсе без звуков.

В воскресенье Мамедов спрашивает у сына, не может ли он найти для него в Интернете самоучитель языка жестов. Колька хмурится и заискивающе заглядывает отцу в глаза: «Пап, скажи правду — ты глоснешь, это необратимо?» Мамедов только отмахивается — чепуха. Но Колька не на шутку взволнован, так что приходится рассказать ему про девушку из электрички. Колька сначала смотрит недоверчиво, потом заговорщически улыбается и качивает на планшет видеоуроки.

В понедельник Мамедов весь вечер учит язык жестов и дактильную азбуку, но к полуночи успевает запомнить только «Спасибо», «Здравствуйте» и собственное имя и фамилию.

Во вторник он садится во второй вагон, но на станции Двадцать Четвертый Километр никто не заходит.

В среду и четверг он учит язык жестов.

В пятницу, когда электричка останавливается на станции Двадцать Четвертый Километр и незнакомка снова не появляется, Мамедов встает и проходит состав навсквозь: от первого до двенадцатого вагона. Ее нигде нет.

В субботу ему очень хочется снова выпить.

В воскресенье он моет полы во всей квартире и даже захватывает лестничную площадку, драит плитку, пока она не начинает слепить своим блеском, не обнаруживает под раковиной средства для мытья стекол и протирает окна по старинке — нашатырем.

В понедельник он учит дактиль, но движения кажутся почти неразличимыми и сливаются в голове.

Во вторник, завязывая утром галстук, Мамедов решает носить его всегда — вдруг они случайно встретятся в другой день недели. Но они не встречаются и сегодня: Мамедов снова проходит весь состав, и опять безрезультатно.

В среду и четверг он по часу стоит перед зеркалом, общаясь с самим собой на языке жестов.

В пятницу незнакомка не появляется.

В понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу — ее нет.

В воскресенье Мамедов смотрит без звука фильма с сурдопереводом — ему удается расшифровать где-то треть.

Во вторник, доехав до Двадцать Четвертого Километра, Мамедов встает, чтобы обойти соседние вагоны, но никуда не идет и садится обратно.

На этой неделе она так и не появляется, на следующей тоже.

По воскресеньям Мамедов смотрит канал для глухих.

В среду... в одну из сред Мамедов не застаёт Михалыча на работе и узнает, что того перевели в ночную смену.

В субботу выясняется, что Колька вырос из старого пуховика, и они покупают ему новый.

В воскресенье он смотрит новости с сурдопереводом и понимает уже половину.

В понедельник, глядя на пустое сиденье напротив, он думает: даже если бы она его услышала, это ни к чему бы не привело, просто потому что он — это он.

Утром четверга он едет в электричке, зажимая ладонями уши. Это выглядит странно, но ему нет дела.

В субботу Колька спрашивает его, поговорил ли он уже с той немой.

В понедельник Мамедов замечает, что деревья, насаженные вдоль полотна железной дороги, уже наполовину голые.

Во вторник... Во вторник он надевает теплую куртку и шерстяную шапочку, и Колька закатывает глаза: «Папа, только не пробуй в таком прикиде знакомиться с де-

вужками». Мамедов вздыхает — он давно ничего подобного не пробовал, не стоило и начинать.

В ночь со среды на четверг идет снег, первый в этом году, но к утру он расплывается черными лужами.

В пятницу, усевшись у окна, Мамедов почти сразу смежает веки, проваливаясь в кошмар. Ему снится, что на бобины вместо ровницы наматывается золотая нить и инженер Громов, качая головой, ругает его за брак и грозит вычесть стоимость испорченной ленты. Мамедов меняет то силу натяжения, то скорость вращения, но с веретена по-прежнему струится золото. Он со стоном вырывается из сновидения и видит ее — свою прекрасную незнакомку. Она сидит напротив в синем коротком пальтишке, закутанная до подбородка пушистым шарфом, и смотрит на него, и он не знает, чего боится больше — того, что она тоже окажется сном или что девушка ответит взгляд. Раскинув ладони, Мамедов сдвигает их во вращательном жесте — «здравствуй».

«Здравствуй», — движутся в ответ ее руки.

«Меня зовут Русик», — отрепетированные движения выходят судорожными.

«Русский», — резюмирует она коротким жестом, и Мамедов невольно замирает, вновь замороженный движением ее пальцев.

«Не совсем», — показывает он ей после паузы.

Девушка улыбается и спрашивает рядом медленных жестов: «Какое же полное имя? Ростислав?»

«Нет», — качает головой он головой.

«Руслан», — читает Мамедов по пальцам, и губы его сами собой растягиваются в улыбке.

«Нет. Вряд ли ты угадаешь».

---

---

## Галина ТАЛАНОВА

\* \* \*

И снова март.  
Двадцатое число.  
И из углов выходят молча тени.  
Трамвай прошел —  
И дребезжит стекло.  
И вверх, должно б,  
Все пройдены ступени.  
Все изменилось...  
Снова ворон сыт...  
Уже привыкли к сводкам с поля боя.  
Все ветки, что без листьев, у раки,  
Как будто бы с обугленной корою.  
Сугробы опадают, словно грудь  
Старухи,  
Что забыла про любви.  
И хочется весь мир перевернуть,  
Что не боится почерневшей крови.  
Ах, мама, мама,  
Твой вернули Крым,  
Где разгребала волны ты руками.  
Но впереди струится черный дым,  
Что кажется ночными облаками.

\* \* \*

И март, как будто впрямь апрель,  
Взглянул в глаза прохладной синью,  
Разлив по сердцу акварель,  
Где все пропитано польнью...

---

Галина Таланова родилась и живет в Нижнем Новгороде, биофизик, кандидат технических наук, работает в НПО «Диагностические системы». Автор 9 книг стихов и 7 прозы, имеет около 190 публикаций в журналах «Нева», «Юность», «Роман-журнал XXI век», «Север», «Москва», «Армак», «Волга. XXI век», «Новая Немига литературная», «Работница», «Подъем», «Нижний Новгород», «Наш современник», «Родная Ладога», «Невский альманах», «Берега», «Сура», «Великороссь» и других. Лауреат премий «Болдинская осень» (2012), журнала «Север» (2012), им. М. Горького (2016), Нижнего Новгорода (2018), золотой лауреат международного конкурса «Ее Величество книга!» (2016), золотой дипломант VII Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» (2016), дипломант многих литературных конкурсов. Член Союза писателей России.

Стоял, красуясь сухоцвет,  
 Ведь март другой хранила память,  
 Хотя прошло немало лет...  
 А дни те продолжают ранить...  
 Все было будто бы вчера.  
 Там снег лежал в лесу по пояс,  
 И вдоль дороги льда гора...  
 ...Я все никак не успокоюсь...  
 Я шла по насту, что слепил,  
 Проваливаясь с каждым шагом.  
 И мачты кораблей-могил  
 Стеной стояли за оврагом...  
 А я искала старый крест,  
 Как будто выписанный вязью,  
 И, одинокая, как перст,  
 Смотрела в небо без боязни...

\* \* \*

И ветер уносит тебя по песчинке.  
 Любви не осталось,  
 Лишь горечь разлуки.  
 И к юности глупой прощальная жалость.  
 И в треморе скачут по клавишам руки.  
 Все звуки с фальшивой нотой веселья,  
 Что все впереди и еще поправимо.  
 Но раз соловьиной заслушавшись трелью,  
 Всю жизнь пропустила беззвучную мимо.  
 Смычки, и валторны,  
 И звуки органа,  
 Что нотой тревожили грустной и сладкой.  
 И солнца янтарь без чужого ограна  
 Манил, зачаровывал странной загадкой.  
 Как все пролетело?  
 И море клокочет,  
 Рычит и плюется, взбесившись вдруг пеной.  
 И только смотреть на него остается,  
 И, кажется, молча смириться с изменой.  
 Да, жизнь изменяет  
 С другими, кто краше,  
 Кто слышит еще соловьиные трели  
 В ночи, что черней, беспросветнее сажи.  
 И жду, что однажды вернуться капели.

Александр ПЯТКОВ

# ЧЕТЫРЕ КОРЫТА РОДНОЙ ЗЕМЛИ

## Рассказы

Тем в искусстве, как известно, раз, два и обчелся. Найти новую еще труднее, чем предложить нового героя. Времена все-таки хоть изредка, но меняются, появляются иные профессии, человеческие приоритеты, цели и задачи как-никак обновляются, глядишь, и герой мелькнет на страницах небывалый — то Рахметов, то Обломов. Но так или иначе он будет встречаться с любовью, трудом, предательством и прочими базовыми ценностями, порождающими темы в искусстве. Они сродни хронотопу — в их отсутствие читателю негде расположиться, восприятие произведения осложняется.

Поэтому благоразумно не станем утверждать, будто Александру Пяткову удалось найти новую тему: издревле память и забвение — среди базовых тематических блоков культуры. Но мало где в прозе раскрыто, как именно происходит забывание, самое обыденное, бытовое. Пятков показывает ход процесса, что называется, пошагово, в рассказе «Блокнот»: «Туда я записывал адреса и имена своих товарищей. Года через два после армии я вспомнил о нем. Блокнот не нашелся, вместе с ним стали исчезать находившиеся там люди».

В реалистической по форме и сюжету малой прозе намечено сюрреальное событие: вместе с именами, фамилиями, адресами и номерами телефонов исчезают люди, ранее словно хранившиеся между строк. Допустим, здесь причина понятна: потеряны записи. Но в «Афанасий Никитине» она иная: забывают о человеке — и человека! — который сам о себе рассказать не может, ибо безъязык, бессловесен. «Они уехали, мне оставили этого — с ногой. Мясо там было. И что с ним сделалось — пойдй разужнай! Мерз только сильно. На ногу ватник я кинул. Он грязный, не жалко. Да одеяло сверху, хорошее, теплое. Вот его жаль...» Кого оставили? Что с ногой? Чем все закончилось в итоге?

Кроме тревожного ощущения у читателя, пожалуй, и ничем, ибо нечем заканчиваться истории, если ей не хватает повествователя, чтобы начаться. Может ли считаться литературным героем тот, кто не способен сказаться через слово? Кажется, в этих двух рассказах, едва ли не новеллах, намечено кое-что редкое в нашей литературе, и неплохо бы автору обратить внимание: вдруг копнешь глубже, а там Клондайк?

**Вера КАЛМЫКОВА**

### **АФАНАСИЙ НИКИТИН**

Никто уже и не помнил, сколько лет пропадал Федор Иванович Исаков. Помнили другое: обветшавший без хозяина дом, заповоненный шиповником палисадник и старую сгнившую колоду, о которую Федор Иванович в былое время не раз оббивал са-

---

Александр Сергеевич Пятков родился в 1993 году в городе Березовский Свердловской области. Учился в УрГПУ Екатеринбурга на историческом факультете. Печатался в журналах «Урал», «Нева», «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир». Участник проектов, проводимых АСПИР и Фондом СЭИП. Живет в городе Березовский.

поги. Забор со стороны нижней улицы завалился, и прохожие видели огород, заросший мохнатым иван-чаем и мелким, ломким борщевиком.

Вернувшись, Федор Иванович первым делом выкорчевал шиповник. Потом покрасил ставни. Забор так и остался поваленным.

Уезжал Федор Иванович пятидесятилетним крепким мужиком. Вернулся же напрочь облысевшим и почти беззубым, научившись мелко и страшно улыбаться.

Он притащил откуда-то промасленную, пропахшую креозотом шпалу и бросил рядом с колодой, разворошив муравейник.

Надежду Константиновну Егорову, бывшую тогда фельдшером, понесло по какую-то заботу за реку. Она первая и увидела вернувшегося Федора Ивановича.

— Это ты, что ли, Федор Иванович? — спросила женщина сидящего на шпале и щурившегося на солнце старика, от неожиданности совсем не удивившись.

Тот ответил, что это он и есть.

— Садись, посидим.

— Некогда.

— Ну, выпьем давай.

— Некогда.

— Ну хоть я покурю.

— Покури, а я пойду.

От Надежды Константиновны и узнали, что Федор Иванович объявился живой.

Весть быстро разнеслась по поселку, и к вечеру третьего дня поплелись к Исакову знакомые мужики — разузнать, поговорить, повспоминать былое.

В доме было не метано и не мыто, хоть и божился хозяин, что убрал избу.

Разговора не выходило. Федор Иванович, немного поведав о своих странствиях, замолчал.

Чтобы подступиться, мужики советовали Федору Ивановичу то одно, то другое: надо бы перестелить пол, вон как половицы поехали, да тесу на стреху нового найти, а то отвалится скоро, да и завалинку заново залить...

Исаков слушал не перечая и часто, будто смахивая пыль, исподлобья взглядывал на висящую на стене икону Серафима Саровского.

Деревянный подклад ее крепко пропах солидолом, жестяной кант был сильно закопчен.

Через много лет после смерти Исакова вспоминал его рассказы разве что старик Николай Плотников. Он и тогда, когда вернулся Федор Иванович, был стариком. На дне тускнеющей, но еще живой памяти, каждый год запечатлевающей, как облетает яблоневый цвет, осталось две истории.

— Я на сейнере тогда... ходил... — начинал Плотников, будто это он сам все прожил.

А дальше было много холода, штормов и грубых веселых рыбаков, скучавших по морю. В Мурманске они пили, в Архангельске дрались. Рыбаки никогда не пьянели и, отдыхая на берегу, ходили встречать и провожать корабли.

Берег был почти неосязаем, Плотников выдыхал его двумя словами — Мурманск и Архангельск. И не представлялось возможным разобрать, в каком из городов оставались деревянные тротуары.

Море существовало само по себе, полное сейнеров, траулеров и семги. Над ними летали огромные северные чайки. Их стреляли грубые, много пьющие и будто бы беззаботные рыбаки.

Во втором рассказе города отсутствовали. Но было тепло и ветрено. Маленькие лодки, которые Плотников почему-то называл «фелюги», ходили под парусами.

Скумбрию таскали сетями. Сети постоянно рвались. И бог знает, что было на берегу, но весь он был усыпан какими-то деревянными постройками. Рассказывая, Плотников говорил: сторожки.

На их месте то и дело появлялись хижинки. Вместо хижин неожиданно-негаданно вырастали хаты. А там уже кто-то избы рубил.

А бывало, старик говорил: склады.

А не то поправлял себя потом: сараи.

Дальше тянулась сухая, пыльная, страшно горящая степь.

Те, кто слушал Плотникова, забыли, а может, и не знали или не хотели помнить, как жил Федор Иванович после возвращения. А жил он просто: устроился сторожить церковь в городе и в остальные дни сидел на шпале, зазывая проходящих выпить.

— Давай поднесу, эй! — предлагал он, страшно кривя рот.

Часто Исаков навевывался в магазин и, купив выпивки, без усталости балагурил с продавщицами. Когда вконец надоедал им, выходил на улицу, садился на ступеньках магазина. И уже отсюда, тоскуя по своей промасленной шпале, зазывал прохожих:

— Давай поднесу, эй!

Но был еще один рассказ. Помнил его двоюродный племянник Исакова Миша Краснов. Теперь для одних он — Михайло, для других — Михаил, а для кого и дядя Миша.

А когда Федор Иванович спрашивал, сколько ему лет, тот пытался ответить: мне семь.

— Я рыбу тогда сторожил сушеную. И сети тоже. И лодки были, — вспоминал Краснов слова Исакова.

— А они, лодыри, ничего не поймав, пришли. Ну так, чепуху какую-то. Они уехали, мне оставили этого — с ногой. Мясо там было. И что с ним сделалось — походи разузнай! Мерз только сильно. На ногу ватник я кинул. Он грязный, не жалко. Да одяло сверху, хорошее, теплое. Вот его жаль... Мы за попом, а может, за врачом — сказали — и сгинули обратно.

— Ни попа, ни врача не дождался я. Тут гроза пошла греметь. И начало поливать. Не видно в окне ничего. А он ожил и давай просить: огня, огня. А какого тебе огня? Спички есть, да мало. Жалко их тоже. И его жалко. Ну и...

Краснов, как ни пытался, не мог вспомнить, что стало с рыбаком.

Когда Исаков замолкал, мужики, для отвода глаз еще немного посидев, начинали расходиться. По дороге гадали, что там дальше-то стряслось.

— Убил он его, — заявлял, сам себе не веря, плотник Осипенко.

— Какое убил! Спичек, мужичина, пожалел! — осуждал, закуривая, Плотников.

Думали, что тогда-то он и решил воротиться домой, думали, где же еще пропал Федор Иванович, и много чего еще думали.

Краснов был немтырь и не мог поведать то, что хранилось в его памяти. Но он помнил: Федор Иванович сидит, наклонившись над стаканом, и глядит исподлобья на икону. Хочет кулаком погрозить Серафиму, да только вот рука не поднимается.

## ВТОРОЙ ГОД

Старый священник лежал уже второй год. Ходила за ним жена. Когда она меняла белье, священник ворочался на кровати. Женщина вполслуха ругалась.

Прожив с ним почти пятьдесят лет, она за два года мучений совсем позабыла того человека, за которого выходила замуж. А к этому, больному и немощному, не могла привыкнуть.

Единственная их дочь приезжала из города на выходные. Глядя на мучения родителей, выходила в сени и плакала.

Сменив мужу белье, старая просила прощения и причитала о муже, как по покойнике.

— Ты у меня и дом построил, ты у меня и дочку одел-обул...

Священник гладил худые, жилистые, негреющие руки жены.

Задолго до болезни он задумал возвести на горах за поселком храм — на месте, где в Гражданскую войну убили тогдашнего настоятеля.

Священник поставил на месте расстрела крест, сваренный из толстого железного лома. Краска быстро облезла, и крест ржавел, пугая своим видом забредавших путников.

Священник слег, когда рабочие принялись заливать фундамент.

— Ну, как там? Строится? — спросит у жены.

— Строится, говорят.

— Ты бы сходила, посмотрела.

— Куда мне, старой. Не дойду я.

То же он говорил дочери. Та отвечала, что сходит, обязательно сходит, но потом, а то по хозяйству работы много.

Первое время священника часто приходили поведать. Но потом к болезни привыкли и ограничивались тем, что приносили с поминок пирогов. Единственным, кто постоянно навещал бывшего настоятеля, был хромой от рождения плотник Осипенко.

Придя, он садился на стул и молчал, слушая причитания и жалобы говорливой попадьи. Из кармана похожей на халат куртки плотника торчало горлышко чекушки.

Выходя во двор, он махом опрокидывал ее.

Когда священника назначили на служение, старая сельская церковь, долго ветшавшая без ухода и присмотра, была полуразрушена. Он отстроил ее, провел отопление и электричество. Реставраторы восстановили фрески, расписав стены в нежные, мягкие тона. Даже архангел с карающим мечом и летящие в огненную пропасть грешники перестали выглядеть грозно и назидательно.

В поселке священника не любили. Считали, что к старости стал он мелочен и скуп: в церкви повсюду были расставлены металлические ящички с маленькой прорезью, а за таинства брали дороже, чем в городе. По поселку ходили пересуды, что на собранные деньги священник и выстроил на берегу краснокирпичный, похожий на дачный дом.

— Как там? Строится? — спросит священник у жены.

— Строится, строится...

Как-то попадьа обмолвилась:

— Построят скоро уже...

После этого священник начал волноваться и мучиться по ночам. И без того сильно похудевший за время болезни, он стал отказываться от еды.

— Не хочу... — только и тянул жалостливо.

Успокаивать мужа старая позвала нового настоятеля.

Был он молод, но уже имел основательную, почти архиерейскую бороду.

Молодой настоятель долго и серьезно, раза два только улыбнувшись, рассказывал, как заливали фундамент, клали первые кирпичи, какая крепкая кладка у храма будет. Говорил уверенно и спокойно, будто твердил вызубренный урок. Обмолвился даже, что колокол привезли и поднимать скоро будут.

— Уже и колокольню сложили? — удивился старик.

— Нет еще, — не замешкавшись, ответил настоятель.

Уходя, он то ли позабыл, то ли не решился перекрестить старика.

Несколько ночей священник спал, не чувствуя мучительного томления. Но по утрам, когда жена меняла белье, какое-то смутное беспокойство жгло ему грудь.

Он захотел увидеть рабочих, строивших храм.

— Некогда им, — отмахнулась попадья.

Когда приехала дочь, священник поведал ей о своем желании. Дочь тихо поплакала, выйдя в сени.

А утром воскресенья пришли двое — сивый бригадир Кольцов и робкий, незаметный рабочий, имени и лица которого священник не мог вспомнить.

Старик забрасывал Кольцова вопросами. Бригадир путано, робко и односложно отвечал. Рабочий же, просидев в избе несколько минут, вышел и, закурив, принялся ходить по двору от ворот до сеновала и обратно.

Кольцов покинул дом священника только к обеду.

Мужики вышли на дорогу и молча пошли берегом до моста. Там Кольцов закурил.

— Надо хоть крест деревянный поставить, — произнес рабочий.

— Рябину какую-нибудь посадим, и хватит, — махнул бригадир рукой.

## ЧЕТЫРЕ КОРЫТА РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Утром отец и сын Карнауховы взяли лопаты, кинули на тачку жестяное корыто и отправились вывозить землю. Ее, ставя забор, когда-то откидал за огород старик Матвей Карнаухов. Что это был за человек, чем жил, сколько пил — о том уже некому рассказать. Овал на могильном камне исчез, вместе с ним пропали дата рождения, дата смерти и прочерк между. Забор деда Матвея давно пустили на дрова, поставили другой. Но и его не минула участь предыдущего. Потом уже сделали железный, на крепких литых столбах и бетонном основании.

С забора решили снять лист, чтобы проще было перекидывать землю.

Проржавевшие болты прокручивались. Сын перелез через забор, спрыгнул на холмик, накиданный Матвеем, стал помогать ключом. Дело пошло быстрее.

Болты тяжело, со свистящим скрипом, выходили.

Раскрепленный лист, в один пролет, раскачали, выдернули и завалили на землю. Отволокли к росшей рядом темной корявой черемухе.

Утром в поселке было тихо, только в ответ на шум изредка проезжающих по дороге машин где-то лениво и устало отзывалась собака.

После сухого и безводного апреля выстоялась почти июльская жара. На севере горели леса. Уже несколько дней из-за гор по утрам напал синева-прозрачный дым и медленно струился по улицам, стекая к реке. Он подолгу застаивался в тупиках и переулках.

К обеду на севере небо темнело, скатывалось в будто бы тучи, которые рассыпались в дымчатые облака, и оттуда приносило то ли крошки пепла, то ли опаленный яблоневый цвет.

От слежавшейся земли за забором тянуло сырым черноземом и давно не топленной баней.

С холмика выдернули начавшую всходить траву. Отбросили в сторону два тяжелых булыжника. Перерубили несколько маленьких, куда-то уползавших черемуховых корней.

— Ничего ей не станется. Она вон как здоровá, — оправдывался перед самим собой Карнаухов-отец.

Но большой и толстый верхний корень лопата не взяла, только зазря оставили мелкие зарубки.

Первую тачку накидал отец, доверив сыну дальше разгрести холмик от травы и камней.

Тачку поставили слишком близко к забору, лопата каждый раз задевала нижнюю перекладину. Земля просыпалась. Отец ругался.

Земля падала, ударяясь о жестяное дно, и рассыпалась с тяжелым гробовым звуком. Но чем больше наполнялось корыто, тем глуше и мягче говорила она.

Отец был невысок, крепок, коренаст. Ему недавно перевалило за шестьдесят, но он совсем не походил на старика.

Лытыми руками отец ловко ухватил тачку, забрав ручки в плотничьи ладони. Перенес вес на спину, дернул шеей и повез землю вверх по борозде.

Вторую тачку накидывал сын. Отец после каждого взмаха лопаты выбирал из корыта несколько камней и отбрасывал к соседскому забору.

— Добро! Куда бросаешь, доверху набил! Тяжело ведь будет... И в кого ты у меня такой, — говорил отец, глядя на сына. — В рост порода ушла. Да, не Геракл!

— Аполлон я.

— Вези давай, Аполлон, — смеялся отец, словно говорил: «Эх, жизнь...»

Третью тачку закидывал опять сын.

— Еще раз шесть съездить, и добро будет.

На задах огорода когда-то стояли кузницы и бани, поэтому в земле попадалось много гнилой щепы и камней.

Столетняя, покосившаяся, но никак не заваливающаяся баня все еще стояла на соседском огороде, скрытая черемуховыми и крапивными зарослями. Оттуда выглядели приоткрытая, намертво севшая в землю, на одной петле, дверь и край драного, в мелких прострелах горошин, рубероида.

Лопата шкрябала, задевая камни. В ответ начинал протяжно бухать пес, ему мелко и быстро вторила какая-то жучка.

День расходился, гарная дымка рассеивалась, уползая к реке.

Прошли двое громкоголосых мужиков с топорами, пилами и бутылками в руках. Ошалело поглядели на работающих Карнауховых и замолчали.

— Здорово, ребята! — прокричал вышедший копать огород сосед. Карнауховы помахали ему.

Отец совком подбрасывал землю под штык сыну. Он, беря ее на лопату, осторожно проносил между перекладинами и высыпал в корыто.

Четвертую тачку загрузили не полностью.

— Замаешься выбирать. Все, добро. Камни одни остались, — сказал отец.

Сын поднялся с тачкой по борозде, завернул за малинник, высыпал землю, перевернув корыто, к цветнику.

Лист с первого раза посадить не смогли: ров на полштыка под ним засыпало, и землю пришлось выбирать. Ее откидали туда же, куда когда-то набросал земли старик Матвей Карнаухов. Лист поставили и долго мучились с болтами, пытаясь совместить дыры на листе с дырами на перекладинах, пока отец не принес зеленую немецкую дрель и не просверлил новые дыры.

Потом мужики, взяв лопаты, пошли к дому — прямо по сухой, еще не копанной гряде.

## БЛОКНОТ

Единственный, кто согласился со мной поехать, был Тимохин. Я записал его телефонный номер в присланный мамой белый, на спиральных пружинках, блокнот.

Туда я записывал адреса и имена своих товарищей. Года через два после армии я вспомнил о нем. Блокнот не нашелся, вместе с ним стали исчезать находившиеся там люди.

В памяти не осталось труднопроизносимого названия какого-то глухого мордовского села, где жил Саша Пискунов. Оно осталось в блокноте.

После армии я не раз бывал в Каменске-Уральском, долго гулял по стоящему на двух реках городу. Там жил Вадик Брюханов. Но дом, улицу и квартиру знал только блокнот.

Проезжая на поезде Пензу, я вспомнил, что письма Коли Медведева приходили отсюда. Адреса, куда я писал в ответ, у меня уже не было.

Блокнот был потерян.

Там остался рисунок моего друга Сережи. Фамилию его я забыл.

Забылась и фамилия Вани. Помнилось, что он писал стихи. Рядом с телефонным номером и адресом он записал несколько стихотворений.

«Травы осенней половодье» — вот и все, что у меня осталось от них.

На берегу Белого моря стоит рыбацкая деревушка Игоря Шнайдера. Название осталось в блокноте.

От Вани весточку я все же получил.

Собравшись выбросить военную форму, я обнаружил в кармане кителя потрепанный бумажный лоскуток с телефонным номером. Это оказался номер Ваниной мамы.

«Я передам Ванечке! Передам! Он позвонит, — радовалась она. — Как хорошо! Как хорошо!» — повторяла.

Вот и все.

Номер Тимохина каким-то чудом сохранился.

Мы договаривались, что вернемся в Елань через три года, навестим старшину Вильчинского, погуляем по городку, вспомним, как бедовали, выпьем в помин прошедшей службы. Прошло три года, прошел четвертый, минул пятый, но в Елань так и не съездили.

Первое время созванивались каждый месяц. Потом — только чтобы поздравить с праздниками. Каждый раз я заводил разговор о поездке, но у Тимохина всегда находилась какая-либо причина не ехать. «Вот на следующий год...» — неизменно повторял он.

Со временем я стал забывать, как выглядит человек по фамилии Тимохин. Потом он перестал отвечать на звонки. Потом я забыл его имя.

Без блокнота я не мог найти своих товарищей и ждал, что кто-нибудь вспомнит обо мне.

Они, вероятно, забыли, что был такой солдат — рядовой Ермаков. Так же, как и я забыл о них.

Лица их стерлись из памяти. Капитан Федин обещал всем выслать копии общей фотографии нашей второй учебной мотострелковой роты. Фотографироваться на тающий апрельский снег мы выходили утром.

Фотографии этой у меня нет.

Блокнот потерян.

## НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Однажды мне довелось найти письмо. Оно лежало в книге «Основы мотострелкового боя». Книга пылилась в тумбочке. Тумбочка стояла в углу учебной комнаты, досадливо поскрипывая от прикосновений. Угол все время чем-то заваливали: тюками непрочитанных армейских газет, рулонами обоев, пустышками бронежилетов. В книге не хватало множества страниц, сами они выгорели, сморщились, даром что не истлели. Письмо лежало внутри — сложенный вдвое тетрадный в клеточку лист. Такой же пожелтевший и скорченный, как и страницы в книге, почти с ними сросшийся. Глядишь — так и отпадут едва держащиеся буквы.

«Дорогая мама! У меня все хорошо!» — прочитал я первые предложения. А дальше не успел. Что-то в тот день случилось. Объявили, наверное, какое-то построение, и мне пришлось покинуть комнату, давно уже, задолго до меня, ставшую хранилищем сломанных парт, стульев и вообще разного непригодного хлама, который почему-то не списывали. Я убрал письмо в левый карман кителя, поближе к двум неотмываемым кляксам от протекшей ручки. За кляксы часто ругали командиры. Но ни они, ни я ничего не пытались с этим сделать.

В комнату я пришел с мокрой тряпкой: был день уборки, и меня отправили сюда, дав бессмысленный приказ отмыть все, что отмоется. Тряпку я попытался зашвырнуть в дальний угол, но промахнулся, и она, ляпнув по стеклу, скатилась на подоконник.

Может быть, тот, кто писал найденное мной письмо, так же, как и я, был вынужден куда-то бежать и не смог доделать главного. А может, он писал украдкой, во время занятий, прикрывшись еще не растрепанной, может, даже пахнувшей типографской краской книгой. И спрятал туда от всевидящего сержантского ока листок. А дальше — забыл, забыл и потерял.

Выдача почты в роте происходила два раза в неделю. Письма приходили немногим. Чаще всего их получал Клеменко из третьего взвода, красномордый, толстый, широкоплечий, носивший прозвище Мечта Офицера. Впоследствии он стал сержантом и остался в учебке. Переписка его была обширна. Меньше трех писем за раз никогда не приходило. Сам он сиял, получая конверты. Я завидовал такому постоянному счастью. Во время выдачи писем я с нетерпением ждал, что сержант вот-вот назовет мою фамилию, хотя и знал, что писем мне не отправляли.

Раз я взял у дневального полагавшийся мне конверт, раздобыл немного бумаги и написал огромное, едва уместившееся в тетрадные листы письмо. Но ответа не получил. Может, оно и дошло, только мама мне о нем не рассказала — столько там горечи читалось между строк... И до сих пор где-нибудь лежит спрятанное, и мама, вспомнив о нем, нет-нет да заплачет.

Остаток дня я еще помнил про лежащее в кармане чужое письмо. Но ежедневные горести и заботы подступали одна за другой. И если, идя по морозному, темному плацу в столовую, я еще надеялся прочитать письмо, и надежда эта грела, то поздно вечером, замерзший, уставший и голодный, я уже и не думал ни о чем, кроме сна.

Не вспомнил я о письме и на следующий день. Не вспомнил и послезавтра. Так бы ему и лежать в кителе до дембеля, бумаге желтеть и морщиться, буквам темнеть и стираться. Но тихий и смирный сержант Иванов нашел под моей кроватью пыль и принес веник с совком. Пыль сержант нашел и под своей кроватью. Оказалось, весь взвод спал на кроватях, под которыми лежала пыль. Выметая ее, я и вспомнил о письме. Хватил карман рукой. Там приветливо зашуршало. А было это уже весной. Солнеч-

ное тепло выстаивалось, набирало силу, с крыш капало, наледи под окнами сверкали, и до отправок оставался какой-то месяц с небольшим.

Вечером я смог уединиться в главной учебной комнате, где по стенам висели плакаты, а над доской портреты русских полководцев в деревянных рамах и маленький, со стершимся носом, Пушкин. Я сел за парту и начал читать. «Дорогая мама! У меня все хорошо! Вчера мы ездили...» Но куда ездил пишуший, я не узнал. В комнату ворвался вновь угодивший в наряд по роте младший сержант Фарафонов. Он смотрел на меня с безумным удивлением.

— Строиться была команда! — бешено прокричал сержант и исчез.

Я, ничего не помня, вылетел вслед за ним. А письмо осталось на парте. Через полчаса, когда я вернулся, его уже не было.

Может, кто-то, кто оказался в комнате раньше меня, забрал письмо с собой, убрав в правый карман кителя, как всегда делал я. Может быть, дневальный смахнул сложенную бумажку в ведро.

Когда рота покидала казарму, окна открывали. И может, поднявшийся ветер утянул письмо за собой. Оно подлетело, сделало петлю, вылетело в окно. И я в темноте не разглядел лежащее на земле письмо, так и не доставленное адресату.

---

---

## Павел ПОНОМАРЁВ

\* \* \*

Я припомнил все, что будет завтра:  
Будет сын. И дерево. И дом.  
И жасмин второй раз под окном  
Зацветет, когда наступит завтра.

Завтра не наступит никогда.  
Вынесены прошлого уроки,  
Вынесены собственные с(т)роки —  
Вынесен, исполнен приговор:  
Дедушкин жасмин снесен на мусор.

Господи, пусти меня во двор —  
Там теперь господствуют чужие.  
Там когда-то деда с бабой жили —  
Там я листья в горсти собирал.

И штакетник обернут в металл  
Листовой. Пожмем друг другу руки —  
Продан двор. И дом. Из дома внуки  
Выбегут, играя в города, —  
И в дальний путь на долгие года.

\* \* \*

Сон рассказать — он не сбудется, значит.  
Мальчик, плывущий на льдине, плачет.  
Значит, не свидеться им наяву.  
Дед тянет с берега руки к нему.

---

Павел Алексеевич Пономарёв родился в 1997 году в городе Лебедяни Липецкой области. Окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета. Участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, Всероссийских совещаний молодых литераторов Союза писателей России, зимней Школы поэзии при международном фестивале искусств в Сочи и др. Лауреат литературной премии «Справедливой России» «В поисках правды и справедливости», воронежской литературной премии «Кольцовский край». Лонг-лист премии «Лицей» (2024, 2025). Публиковался в журналах «Знамя», «Юность», «Наш современник», «Сибирские огни», «Подъем», сетевых изданиях «Горький Медиа», «Литература», «Пролиткульт» «Формаслов» и др. Автор книги публицистики «Со-бытие. Дневник молодого человека» (Воронеж, 2020; книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и техническом содействии Союза российских писателей).

Дедушка Женя, родной мой дед,  
Умер, когда мне шестнадцати лет  
Не было; но оставался жить  
Младше его на пару лет  
Дядя Володя — двоюродный дед.

Первая смерть — не для первой любви.  
«Мальчик, плыви себе — только плыви!  
Смерти, ты знаешь, по-моему, нет», —  
Скажут родной и двоюродный дед.

«Ты уходи — я останусь, брат,  
Чтобы потом у отцовских врат,  
Там, где венец мученический снят,  
Там, где лавровый венок надет,  
Встретил всех внуков расстрелянный дед».

Спите-живите, мои деды-дети:  
На фотокарточке — мальчики эти,  
Взявшись за руки, стоят в отражении —  
Дядя Володя и дедушка Женя.

Об одолженье просить неловко —  
Женьку однажды помянет Вовка.  
Дядя Володя за дедушку Женю  
Пусть доживет — вот и всё одолженье.

\* \* \*

Дождем молиться вызревшей земле,  
приснившейся сиренью обо мне.  
И так, сирень засохшую моля  
невидимым присутствием меня,  
пытаться, отрекаясь от себя,  
природой и погодой просияв,  
открыть окно — забыться и забыть —  
и шепотом молитвенным дождя  
усопших голоса перерождать.  
Я дождь, я ветер, я июньский гром,  
я ветвь сирени под твоим окном,  
подъезда неприкаянная тень —  
я снова умираю о Тебе.

## **ВОРОНЕЖ**

Памятник Славе, проспект туда,  
площадь Подстава, Отрожка — отрыжка...  
Это Воронеж — воро-нужда:  
год еще, два — и реально крышка.

Значит, бежать, отступать, истекать —  
кровью расстрелянных под Дубовкой<sup>1</sup>.  
Кончить воронежскую тетрадь —  
только не в пробке — на остановке.

И не начать продолжать опять —  
хватит с Воронежа этих тетрадей.

Номер его — один-девять-три-пять.

Но не звони туда  
Бога ради.

\* \* \*

Проще закрыть глаза и на мир не смотреть.  
Колется светом Божьим земная твердь.  
Как из глиняной кринки льет молоко баба,  
так и Ты — на меня, твоего раба.

Это все детский лепет, не стоит слов,  
слово мое нестойкое, малыш.  
Сколько надо тепла, сколько, Боже мой, было слез.  
Слово мое услышь.

Сколько Ты мне еще на побывку оставил дней?  
Боже, послушай повесть мою о любви большой.  
Будут все живы — и я буду всех живей.  
Будет все хорошо.

Нет, не будет — не обманывай ни себя, ни Его.  
Не говори «сбылось», когда — ничего. Никого.  
Но будет молитва о здравии длиться до тех пор, пока  
в груди у матери достаточно молока.

\* \* \*

Ты — русая муза, ты — рыжая мать  
с испуганными глазами.

Когда в глаза живой не узнаваем,  
надумаешь, ей-богу, помирать.

Но кто-то полюбит — ты так, мол, и знай  
за эти глаза —  
а что там, за глазами?

---

<sup>1</sup> Дубовка — поселок под Воронежем (сегодня входит в черту города), где находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий.

Пустота глазниц —  
гроза  
в новорожденном мае.

Он родился, чтобы умереть  
на твоих испуганных глазах.  
И тогда, не смогшая смотреть,  
Ты перемолотишь его в прах.

Плачет полоумная луна,  
светит незнакомая звезда

в полом небе  
близоруким светом.

Так от света белого ослепнуть.

Помолись, чтобы видеть опять,  
слепая,  
седая  
и муза, и мать.

\* \* \*

Любить, как прапрадед, священник:  
когда она тебе — пощечину,  
подставь ей плечо.  
Будут крики, истерики, вопли...  
Будет таскать тебя за волосы, за воротник...

Так не положено в патриархальных семьях —  
так не живут.  
Но к чему этот домострой,  
эти ценности традиционные, Господи, —  
выкинь, забудь.  
И останутся только любовь и страдания.

И когда бабьим летом тридцать седьмого —  
утром, когда еще не рассвело —  
в дверь позвонят и,  
неумытого, нерасчесанного,  
с прелым запахом изо рта,  
увезут, —  
она будет сидеть у окна и вязать машинально  
следующие тридцать семь лет —  
до своей смерти.

\* \* \*

А.

Перед сном ангелы пьют молоко, сдувая с него пенку, —  
так получают облака.  
Они разбиваются о небесный ободок,  
высвобождая свет.

Пойдем за облаками —  
туда, где все, что дальше произойдет,  
ты в шутку (и совсем немного всерьез)  
называешь ошибкой:

«Ошибка,  
ошибка,  
ошибка...»

Так шелестит, бьет о звенящие камни  
Средиземное море в Египте,  
которого я никогда не видел —  
особенно когда ты была там,  
а я еще не был с тобой.

Так распрямляются скомканные листы,  
на которых написаны неудавшиеся стихи, очерки,  
наброски романа...

И так, распрямляясь,  
они как будто просят их не выбрасывать,  
говоря, что еще в силах и вправе  
служить нашим потомкам  
следами о нас.

Сохрани мои рукописи, белое облако,  
ангел с глазами агнца и ренуаровской актрисы, —  
как невысказанно долго я ждал тебя и любил,  
еще не зная тебя (в)живую,  
но абсолютно уверенный в том, что ты есть.

Как запрограммировать тебя не выдавать ошибки,  
как тебя уберечь от этого мира грешного!

Хлеб наш насущный даждь нам днесь —  
вместе и до конца,  
до последнего белого листика.

И когда я скомкаю последний свой лист,  
ты расправишь его,  
прогладишь  
и скажешь:

— *Это Евгений  
Палыч передаст Павлу  
Евгеньичу  
в архив.*

*или как ты захочешь  
или как он захочет  
возможны варианты*

Поднеси мои анемические руки  
к своим потрескавшимся губам  
и скажи:  
«Так все и будет».

\* \* \*

Крест поставил на этой стране Господь.  
Как по любви твоей моя изнывает плоть  
в те минуты, когда  
мне дойти до тебя  
остаётся самую малость,  
так и эта страна  
по заступничеству Господнему истосковалась.

И в блаженстве, и в боли смыкаются губы,  
в те минуты, когда  
под завалами гибнут и губят.  
что, душа моя, нам  
остаётся с тобой?  
Бой курантов на площади под барабанный бой.

Под сирены вой мы с тобой, взявшись за руки, выйдем  
и в подвал сойдем,  
вместе и навсегда —  
до скончания века.  
До последнего человека.  
Не Химера —  
это под руки первого человека ведут.

Повторяя будто Адама и Еву, первыми станем мы,  
и уже никогда —  
никогда не  
расстанемся.

\* \* \*

Если будущее суждено вдвоем  
и не выставят на продажу дом,  
то останется от хлопот моих  
домик в будущем на двоих.

Пронесем этот домик по жизни мы  
от утробной и до загробной тьмы,  
памятуя в повседневной тьме  
темного царства (не)бытие:

объявляя слово и дело,  
черная птица в окно влетела  
и накрыла хозяев тенью  
с головы до ног —

это воронежский воронок,  
сопроводивший в последний путь.

Будь на дому том, пожалуйста, будь  
мемориальная доска!

А пока тоска,  
Господи, сохрани наш кров  
и ныне и присно – во веки веков.

\* \* \*

От воды устанут облака,  
на небо не взглянувшие без слез.  
Он прятался под деревом от гроз,  
в обход ища на кладбище дорогу.  
*Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу...*

Они встают и строятся в «аминь»,  
сомкнувшие над куполом ладони.

Ладонь к виску.  
Ладонью по иконе.

Не стой в грозу под деревом! – и я  
ни дерева, ни капельки не стою.  
*И звезда с звездою...*

И падал воск на руки из-под век.  
И умер обгоревший человек.

А мрамор не умеет говорить.  
И дерево на кладбище горит.  
И на гранит с грачиного гнезда  
обугленная падает звезда.

Еще не свет, хотя давно не свят.

Но может, свыкшись с майскою  
потерей,  
*растут невнятно розовые тени*  
у колокольни, где святые спят.

Они встают, о помощи прося,  
у церковки игрушечной, но церковь  
воронкою уносится от них.

\* \* \*

Вот уже по щиколотку – и врос  
в чернозем и суглинок, смешавшиеся с дождем  
на старинном уездном погосте.

Словно некогда вьющийся волос,  
выпрямляется к краю,  
за которым иной предел.

И чем больше врастаю в предков прах —  
в их меловую плоть,  
остающуюся на ногах моих,

тем все ближе могил нарастающий холод  
и загробная музыка — глоссы глас.

Это девочки русой сглаз.

И когда ничего не вышло,  
то с отчаянием блаженного пса,  
с агрессией опухоли,  
преследовавшей ушедших родных  
(Боже правый! — и не на мне ли сей крест?),

стал вгрызаться в столетия,  
чтобы всех вас, мои дорогие,  
обрести до последнего —  
самого древнего существовавшего  
(ну хотя бы на архивном листе).

И чем больше, полнее, вернее вас обретаю,  
сходящих по линиям генеалогическим  
к фундаментам сельских церквей  
(праобразам кафедральных соборов),

тем остается  
все меньше надежд  
на продолжение рода  
вашего, нашего, моего.

Я — вершащая ветвь его  
и в ответе за этот род.

Помоги мне, отец Климонт —  
родоначальник и праотец —

мне, по крови твоей наследнику,  
не остаться из вас последнему.

\* \* \*

Упадет кусочек пепла  
от сигареты «Донской табак».  
И горящим боком зацепившись за стену,  
припадет к ночным камням,  
зазывая меня к себе  
тлеющим шепотом.

Стало быть, я —  
часть зажженного,  
переложенного на слова  
замысла.

Огонь догорит.  
Новый день  
тенью скользнет по пятну  
от кусочка пепла  
от сигареты «Донской табак».

## **ПРЕОБРАЖЕНИЕ (триптих)**

### **I. (Припоминание)**

Ты еще не родился, но кровь твою  
замесили уже на тесто —  
будет тертый калач.  
Мама разучивает колыбельные:  
«За печкою поет сверчок...»,  
«Тише, маленький, не плачь...»,  
«Не ложися на боку...».  
И живешь ожиданием, что  
этот мир будет лучше, ведь там  
не влажно, не важно — не-жно.  
Но появляешься отчего-то с криком —  
хочешь, чтоб все услышали, как ты поешь —  
не бас, не контральто, не тенор даже,  
а самонадеянность...  
Надевай на себя маску —  
прячься от мамы, от папы, от солнца.  
Солнце режет глаза.  
Папа режет арбуз.  
Мед и яблоки на столе.  
На излете августа  
надо сына обмыть.  
И только мама ничего не режет —  
от нее уже отрезали,  
обмыли,  
окрестили —  
все.  
Можно дальше...  
Что дальше?

### **II. (Узнавание)**

Дальше — тишина.  
Все уснули в доме.

Разве что не спит  
Протрезвевший клен.  
Он сегодня пил  
За мое рождение —  
Собственно, как все  
В этом доме пили.  
И никто не знал,  
Что поил их он,  
Потому что Он  
Плакал в этот день.  
Потому весь день  
Шел кудрявый дождь —  
Это он сходил  
По щекам Его.  
А он пел: «Прапра...» —  
Так меня он звал,  
Добавлял в конце  
Каждой строчки: «Внук».  
Только он один  
Знал и звал меня,  
И проснулся я,  
Закричав во сне.

Я признал его  
И заплакал тоже,  
Потому что он  
На меня похож.

Потому что я  
На него похож.

Потому что он —  
Это я теперь.

### **III. (Постижение)**

Открылась дверь,  
и поднял дед меня  
на руки-берега. И пахнут руки маслом  
машинным, и катаюсь  
я в дедовых руках, как плавленый сырок.  
«Ну, будет тебе... Закрывай на замок  
свой ротик беззубый», —  
и дед  
крестит пальцами губы —  
мол, тсс: не буди никого.  
И я молчу,  
мотая головой,  
как будто что-то  
правда понимаю.

## КАЗЕННЫЙ МОСТ

На родине другие облака...

*З. Колесникова*

Одной из главных достопримечательностей города Лебедяни (Липецкая область) является Казенный мост, соединяющий левый и правый берега города на Дону. Это один из первых железобетонных мостов в России, построенный в начале прошлого века на «казенные» для местных жителей средства из губернского земства (отсюда название). Возведенный в рекордные сроки (чуть больше чем за полгода) саратовской строительной фирмой «Инженер И. Г. Грингоф и Братья», мост остается до сих пор визитной карточкой города.

\*

Ни то ни се  
другие облака  
на родине  
ни мед  
        ни пчел  
                ни сот

куда несет  
когда из заключений  
        злоклучений  
не вынести  
        но все же выношу  
что самым любопытным нахожу  
Казенный мост над Доном в Лебедяни.

\*

Построен в одна тыща девятьсот  
каком-нибудь двенадцатом году  
Казенный мост,  
        еще он на ходу,  
закрытый от машин и от водил,  
построен не в двенадцатом он был —  
в десятом.

Почему припоминаю —  
мой прадед, сын священника,  
моста моложе на́ год.

\*

Иже еси  
        да придет будет во  
отца и сына имя моего

о, святой дух  
когда самих их будет больше двух

но видно написано на роду  
стать им обоим не отроду  
не от рождения а от рода  
отцом и сыном врага народа.

\*

Когда под стражу взятый в лишний раз отец,  
как водится, расстрелян наконец,  
спаси и сохрани тебя, сынок:  
лети на запад или на восток  
на Дальний, к океанским берегам —  
простят «врагам».

И только лишь коснешься ты земли,  
ложись на дно, как будто корабли, — замри,  
чтобы потом, уняв чекистов прыть,  
архивным фактом в Тихом океане всплыть.

\*

Но прадед, как будто Казенный мост на Дону  
на волну  
в сорок первом идет на войну  
войду  
прадед, прадед, во ад, во ад  
точно праведник виноват  
точно прав или нет  
ответь

прадед ведь израненный был весь  
ведь  
в сорок четвертом контуженный выжил  
в сорок пятом из чистилища вышел  
с орденом Красной Звезды  
на другой стороне от сердца.

Друзья мои, братья мои, meine Herzen!<sup>2</sup>

Неужели все это было  
только затем лишь чтобы

---

<sup>2</sup> Мои сердца (нем.).

в двадцать первом мы  
неначе каїни рідні<sup>3</sup>  
стали б першими<sup>4</sup>  
вы

нет в двадцать втором мы  
как будто мосты казенные  
стали б первыми  
вы

мы.

И прости им, Боже,  
кто их обидел.

\*

О, если б так строен был,  
так был прост  
Казенный мост,  
то не ходить бы по воде  
в оде... во-де-  
жах на голое тело!

Это пуля мимо меня пролетела —  
и, как говорится или поется — ага...

На войне убийство врага —  
не человека — нет, человека —  
не преступление, а геройство.  
Только считай: раз, два...  
И никакого родства.

\*

Когда война закончится в каком-нибудь двадцать,  
Казенный мост по-прежнему останется стоять.  
Так было и при Брежнев, считавшем, что не стар  
Дивизию прибрежную вводить в Афганистан.

Все кончится когда-нибудь похожим на погост.  
Останется на паперти стоять Казенный мост.  
Протяжной белой скатертью на руки — как тут быть? —  
И просится, и просится... И не дает забыть.

На лоскуты распада лети, моя душа, —  
И большего не надо. О, как ты хороша.

---

<sup>3</sup> Как будто каины родные (укр.).

<sup>4</sup> Первыми (укр.).

---

---

Андрей ГОРЬКОВЧАНИН

## ОСКОЛКИ ПРОШЛОГО

Рассказ

Не первый год у этих мест  
Я в час вечерний проезжаю,  
И каждый раз гляжу окрест,  
И над березами встречаю  
Все тот же золоченый крест.

*Афанасий Фет*

День был жаркий. Стоящее в зените солнце раскаляло все, к чему бы ни прикасалось. Временами легкий ветерок, рожденный над широкими водами реки Волги, долетал и сюда, к затерянному в приволжских лесах поселкам, но по дороге утратив прохладу, уже не в силах был справиться с полуденной духотой. Единственный кондиционер в нашей машине — открытые окна, в которые врзались тугие от скорости потоки воздуха. Поливая себя водой, можно было как-то охладить на сквозняке горящее от духоты тело. Поэтому мы с приятелем свернули с шоссе на проселочную дорогу, ведущую к видневшейся за посадками деревне, запастись водой из колодца.

На устланном зеленью пространстве между сельской дорогой и деревенскими домами стоял огороженный низким, посеревшим от времени штакетником колодец. Невдалеке, раскидав по сторонам корявые ветви, рос величественный вяз, в его-то тени приятель и остановил машину. Широко распахнув двери, мы с облегчением вышли из душного салона. Выбранное место показалось райским оазисом в знойной пустыне. Приятель поспешил откинуть капот, откуда тут же поднялись потоки расплавленного воздуха. Пока он занимался машиной, я решил немного поразмяться. Пять часов безостановочного пробега не шутка.

Места знакомые, я бывал здесь, когда мотался по нашему Волго-Вятскому краю в составе бригады нефтяников. Здесь, на пустыре, это место и сейчас не занято, как и двадцать лет назад, стоял наш городок. А вот название самой деревни ну никак не вспомнить, какое-то чудное, необычное, ему бы в памяти крепко-накрепко врезаться, нет же, ускользнуло, не-то Дядья, не-то Тятя, может, даже Зятя. Порой над замысловатыми названиями, встречающимися по нашей Нижегородской области, и насмеешься

---

Андрей Горьковчанин родился в 1958 году в городе Горьком. Автор книги рассказов «Ангел вдохновения» и сборника сказочных повестей. Публиковался в нижегородском альманахе «Земляки», «Невская перспектива», в сборнике «Литературный фонд (памятное издание в честь 150-летия со дня рождения Максима Горького)», в детско-юношеском журнале «Зубрёнок». Лауреат литературных конкурсов; второе место во всероссийском конкурсе «Моя малая Родина» и третье место в конкурсе «Литературные аллеи». Живет в Санкт-Петербурге.

НЕВА 12'2025

вдоволь, и голову сломаешь, пытаешься понять значение вложенного жителями в название своего поселка: какое-либо меткое выражение, эпитет, признак предмета — все, что было характерно в прошлой эпохе и обычно для данного места. Только когда копнешь поглубже да и вывернешь наружу пласт, спрессованный временем, тогда лишь и уразумеешь, насколько было образно мышление наших предков. Но суть не в том, как прозвали его первые поселенцы, на то у них была видимая причина, а в том, что МЫ все исковеркали, извратили и в конце концов забыли первоначальный смысл — названия потеряли былое начало, обернувшись для нас в абстрактные звуки.

Одна часть пустыря была обустроена под стоянку личного транспорта зажиточных аборигенов. Две иномарки стояли возле ярко-зеленого забора, скрывавшего красивый трехэтажный особняк из красного кирпича. Над крышами машин томился зыбкий воздух, искажая пространство.

На другой стороне пустыря из-за обильных зарослей крапивы и лебеды, пижмы и других сорняков проглядывался старый кирпичный фундамент, некогда державший на себе архитектурный ансамбль деревянного зодчества. По обугленным останкам торчащих то тут, то там досок было понятно, что полное разорение не обошлось без чьей-то воли. В развалинах фундамента виделись некогда бушевавшие здесь языки пламени, испепелившие последние остатки сотворенного человеческими руками чуда. Почерневшие камни, эти осколки прошлой жизни, испытавшие на своем веку и благочестие, и поругание, могли многое поведать, но они скорбно молчали, укрывшись пыльными листьями репейника да колючими стеблями крапивы, будто убогий придорожный нищий, прячущий свое нагое тело за рваным веретем. А некогда здесь стояла церковь, вознося купола-маковки к небесам. Ныне остался лишь фундамент, послуживший для меня проводником в прошлое. Изнывая от полуденной жары, мне вспомнились дни, когда мы в первый раз прибыли в эти края.

Месяц январь крепко держал свой посох, никому спуску не давал, будь ты зверь или человек. Дни тогда стояли ясные, морозные. Дым печных труб столбом поднимался в бездонно голубое небо. Мы споро поставили городок из вагончиков, обжились, с местным населением познакомились. Самым первым к нам хозяин лесхоза явился. Отметил на карте лесного хозяйства нашу трассовку и предупредил, ткнув пальцем в квадрат рядом с нашей трубой:

— Здесь медвежья берлога. Зверь спит, не приведи господь, разбудите. Нам еще шатунов здесь не хватало. Так что попрошу вас, будьте поосторожней, не раскатывайте по всему лесу почем зря, знаю вас, шальных. Завтра пораньше заеду, покажу бульдозеристу, где дорогу пробивать, болот здесь много, под снегом и не видно. Рано снежок выпал, до заморозков, не успела земля остыть да промерзнуть, можно так забуриться — мало не покажется. Днем расчистим, может, за ночь подмерзнет. Крепко нынче мороз-хозяин за дело взялся! Вторую неделю спуску не дает, наша техника почти вся встала. А ваши трактора не чета нашим, пройдут, а вот как машины...

Рядом с городком, взывая к небесам о милосердии, стояла ветхая деревянная церковь. Серые стены, обшитые тесом, покосившись, ввалились внутрь. Отошедшие доски обнажили трухлявые бревна, съедаемые рыжим лишайником. Крыша под тяжестью снега просела, и угловые купола готовились рухнуть вниз. Шатер колокольни, прогнив, обрушился на трапезную, окончательно ее разрушив. Только главный купол храма, покрытый позеленевшей дранкой, сохранял былое достоинство своим объемом и украшавшим его наверху узорчатым крестом. Правда, сохранившийся медный крест сильно накренился, и, смотря на него снизу, казалось, будто готовится он к прыжку. Добавлю ко всему этому грустному пейзажу белоснежный зимний са-

ван, сотканный из мириадов холодных снежинок, укутавший не только старый храм, но и добрую часть человечества.

Вечерами, после работы, выйдя из прокуренного вагона перед сном на свежий воздух, невольно да приглядишься к черному пятну купола на фоне звездного, морозного неба. Яркие созвездия, рассыпанные в кажущемся беспорядке по всему небосклону, влекли к мыслям о бесконечности пространства, о вечном, но, бросив взгляд на покосившийся крест, мгновенно спускаешься на землю, задумываясь о сущем.

К нам часто заходили местные жители, времена были тяжелые, и особенно это чувствовалось на селе: колхозы развалились, работы не было, и каждый выживал, как мог. Вот и устроился к нам дневным сторожем один дедок; дежурил в городке, пока бригада работала на трассе, кухарке помогал при столовой, не без ее помощи деда к делу приобщили — родственник. Вот как-то раз прибыли в городок еще засветло. Завидя нас, поспешил дед откланяться и уж было скрылся за угол вагончика, как окликнул я его и пригласил в гости.

— Куда спешишь? Зайди погостить, чаек поставим, обогреемся: мы сами на морозе весь день. «Вахта» сломалась и оставила нас без обеда, недавно только водитель и наладил. Заходи, не обидим! Угостим, спасибо скажешь.

Так и состоялось наше знакомство. Обычно вечерами после трудового дня в нашем вагончике, как в красном уголке, собиралась хорошая компания на посиделки. Занавески на окнах, тапочки, ковровая дорожка на полу, телевизор, посуда с узорами, в общем, по всем параметрам уютная обстановка, вот и шли коллеги к нам из своих необустроенных, стандартных нор скоротать вечерок по-домашнему. Порой посиделки заканчивались далеко за полночь.

Угостили мы деда, он и размяк, о жизни своей, не таясь, поведал: из уст его услышали историю покосившегося креста. Мы уже понаслушались разных небылиц от местного женского населения, что возле городка нашего выются и языками, как помелом, метут, а нам истину подавай, не корми байками. Да только мысли у молодух витают в иных измерениях, и ничего из истории поселка от них не узнали, к слову сказать, кроме нас, меня да соседа моего, Сергея, эта история не волновала. Поэтому мы очень порадовались, затащив к себе деда Ферая, как оказалось, он был очевидцем и чуть ли не участником тех исторических событий.

Забавное имя — Ферай! Мы думали — просто кличка прицепилась за какие-то заслуги, приставать с вопросами, отчего да как, неудобно, а в узкой компании стеснение ушло. Поинтересовались:

— Имя какое-то чудное у тебя, вроде как не русское, а с лица наш! За что прозвали?

— Да родители мои чудаками были. Свою любовь не только мной закрепили, но еще и в имени моем оставили. Отец — Федор, мать — Раиса. Вот и вышло — Ферай. Ферай Федорович — так и в паспорте прописано. Добрые были у меня родители, царствие им небесное! Всю долгую жизнь в любви и согласии прожили, никому не в убыток. — Дед замолчал, уйдя в свои мысли, видимо поминая родителей. Мы угомонились и не торопили старого человека, смиренно дожидались его возвращения.

— А с крестом вот какая притча вышла, — неожиданно очнувшись, заговорил дед Ферай. — В году эдак тридцать первом, втором ли до нашего села дошла коллективизация. Супротив никто не пошел, честно сказать, бедно жили. Единоличнику в наших краях не выстоять, только сообща если, друг за друга держась. Образовался на ту пору леспромхоз, и весь наш люд трудился на лесозаготовке и торфоразработках. А в тридцать шестом объединили нас с соседним районом, где началось Всесоюзное строительство бумкомбината. В те легендарные тридцатые годы, в годы энтузиазма

и всеобщего похода безбожников на религию, наша церковь устояла. Стояла, никому не мешала из начальства, хорошие в ней помещения были, просторные, вот молодежь и освоила ее себе под клуб; много молодежи понаехало в ту пору на строительство. Лозунгами, транспарантами всю ее обвешали, обмотали, изукрасили, что и не разберешь, в каком углу Бог, а в каком Сталин. Вначале библиотека там была, книг из района привезли телегу целую, да вот читателей немного оказалось, только одни школьники. Вот и привлекли нас, ребяташек, к борьбе с безграмотностью. А нам это в интерес — юнцам учить старших, это надо же такому стать! О таком раньше и помечтать-то никто не мог, а тут такое доверие, — мы как-то сразу повзрослели. Как же, нам, пионерам, серьезное дело поручили! Нас, малявок, которых никто не замечал, наравне со взрослыми посчитали. Тут безо всяких отговорок становись в строй! Но знай и помни — спрос соответствующий! Со временем в клубе и кружок драматический образовался. А все благодаря нашему завклуба, незабвенному Илье Фокичу, сколько лет прошло, но помню, что и уважаю. Добрый был человек, светлый, не много таких на пути своем встречал. Благодаря ему и церковь сохранилась, и мы к творчеству, к сцене приобщились. Я же после войны в сорок седьмом году в Горьковское театральное училище поступил и с год проучился. Но не довелось артистом стать. Жил-то у тетки, в бараке на Белинке, там за керосиновой лавкой их не счесть, сколько стояло, места темные, жители беспокойные. Окраина, этим все сказано. Вот и связался со шпаной, вроде бы уже и не салага, войну прошел, а в голове все одно муть. Выпивали, хулиганили. Стал в училище пропускать занятия, взял за моду словами бранными отвечать на замечания, вот и отстранили с курса. Дружки на свою дорожку поставили, да недолго та дорожка вилась. После много лет развивалась. Сдюжил. Но чего-то уклонился я, не за ту ниточку потянул, ослабела память моя, порой колышет во все стороны. Да, Илья Фокич отстоял наш клуб, то есть церковь, хотя и был коммунистом. Все зависит, какой ты человек, с каким нутром на свет уродился, а не каких линий или идей придерживаешься. Главное — человеческий фактор! Добрую память о нем сохранили односельчане, поклон ему от всего мира и Царствие небесное! Он и тир за трапезной устроил, куда деревенская говша любила бегать изучать оружие, многим пригодились в военное время его наставления. Спектакли, что мы ставили под его руководством, смотрели и обсуждали всем селом. Вот уж где можно было услышать настоящую критику, идущую от народа, о котором мы и пьесы ставили, а не газетное заказное словоблудие. А крест тем временем как поставлен когда-то на куполе, так и стоял, издали виден был. Стар и от времени почернел, но в воскресные дни будто светом каким сиял. Вот тебе крест! Стоял, никому не мешал. Поглядывал с высоты на окрестности да на дела наши житейские. Пройдет кто, взглянет вверх — перекрестится, молитву, если знает, прочтет, а нет, так просто мимо пройдет.

Иногда, в престольный праздник, Петров день, по старой традиции гуляло все село, конечно, никакой церковной службы не было, да и некому, но каждая семья либо в гости шла, либо у себя гостей принимала, а молодежь — так та в клубе ввечеру собиралась. Тут уж обязательно разухабистые молодцы изрядно расшались, разойдутся, разгуляются под гармонь, пустятся в пляс по всему селу, по окраине. Эх, вяжите, бабы, мужиков своих, девки, держите парубков, только стекла звенят во ставенках, гуляй, душа, гармонист, рви меха у гармони... раззудись, рука, развернись, плечо, душе моей стало горячо, ноги в пляс идут, в разгуляй зовут!..

— Дед, ты что?! Опять не в ту колею заехал... Может, лучше чай с крендельком? — я остановил его руку, тянущуюся к граненой рюмке, стоящей, как балерина, на тонкой ножке, с чистой, как слеза, водкой. — У нас хороший чай, заварной, с собой привезли.

Усмехнулся Ферай, махнул рукой, и добрые глаза его с накопившейся влагой в уголках, казалось, вот-вот утратят блеск от внезапно полыхнувшей негаснущей лампадки его души. Жалко стало старика лишать радостных мгновений, замелькавших в памяти. Я сам поднес ему желанную рюмку. Взыграло озорство в оживших глазах, упрямых за паутиной морщин. Он ахнул залпом, зажмурился и, выдохнув, прослезился. За это мгновение закусочно-рюмочный натюрморт сменился, и на столе появились чайные чашки. Чайник доброжелательно пофыркивал.

Посидел старик, помолчал, шамкая губами, до чашки с чаем не притронулся. Собравшись, продолжил рассказ:

— Были и такие из старух, ух, злющие, что грозили завклубу пальцем после увеселительных мероприятий, приговаривая: «...ироды, креста на вас нет...» На что Фокич им отвечал: «Как же, бабушка, нету, смотри какой великий на нас крест, крест — несущий просвещение вместо тьмы и затворничества... — и на купол указывал, где медный крест стоял величаво. — Разве Бог запрещает веселиться в свободное от работы время...» И стоял над храмом тот крест почти до войны, никто его не трогал, никто о нем не вспоминал. Никому он не мешал, пока из района лектор не приехал с лекциями, все об обезьянах нам талдычил и о человеке, якобы от обезьяны произошедшем. Не знаю, как человека, но того лектора точно обезьяна породила. Одни только руки чего стояли! Не сгибаясь, коленки чесал. Он-то и обратил внимание на наш крест на большом куполе. Как мужики тогда сказывали, тяжелый разговор имел с ним Фокич, а поутру лектор в большом недовольстве обратно в район укатил. Вскоре сменили нашего завклубом, из района прислали нового, как раз того лектора, а нашему Илье Фокичу определили другое место службы. Вот новый-то и стал на крест искоса поглядывать, про кружки и мероприятия позабыл, несподручен он был к этому делу. Народ стал выпрашивать да выискивать того, кто залезет на купол да и скинет крест наземь.

Мне тогда шестнадцать лет минуло, в клубе нашем учился на гармошке играть, молодой был, ловкий. Вот ко мне-то он и стал приставать. «Слазь, — говорит, — на крышу. Сбрось крест с купола».

Я-то отказываться: не мое, мол, это дело, как обезьяна, по крышам лазить. Несподручно мне, да и боязно — высоты боюсь. А он знай себе напирает: «Ты же, — говорит, — комсомолец! Неужели в Бога веруешь?» Отвечаю: «Верить не верю, но и супротив не пойду, ибо страх внутри себя все ж имею». Видит, ни совладать со мной, ни переубедить не может, так и отстал. Пострадал напослед ответственностью перед товарищами, обществом, революцию вспомнил, о врагах и их пособниках, но отстал. Ко многим обращался, но никто из нашего села так и не согласился на купол подняться. Его даже сторониться стали. Как завидят по дороге, к какому дому, идет так шась в сторону и огородами обходить. Клубная жизнь совсем захирела. Свет просвещения, исходящий от ее деятельности, померк. Запил наш завклубом. Перестал ездить в райцентр со всякими докладами, видно, боялся тех, кто его прислал. Волком завыл в одиночестве! Как не запить! И что же вы думаете, чем дело кончилось?!

Шумно отхлебнул дед Ферай остывший чай, глазами по столу поискал и, не найдя, чего хотелось душе его, взяв конфету, продолжил:

— А кончилось тем, что, напившись с вечеру, он сам полез на купол. Никто этого не видел воочию, он всегда пил в одиночку, как тут не спянуть?.. Представляете. Ночь. Тьма. Местами звезды из-под туч то тут, то там перемигиваются, а он, заткнув за ремень топор, обмотавшись веревкой, вышел на штурм купола. Каким макаром взобрался на самый верх, никому не ведомо. Сдуру-то чего не выкинешь! Только поутру обнаружили его сидящим на наверхии в обнимку с медным крестом. И крест

от его действий покосился. Все село собралось, кто не работал на бумкомбинате, кричат, советы дают, как спуститься. А он молчит, не отвечает. Ухватился за медь и не шелохнется, свела тело его судорога, обездвижила, и застыл он, словно каменный. Кто ползет снимать его? Не нашлось в толпе смельчаков. Вон Серафимовы принесли лестницу, да куда там, разве достанешь! Высоко! Побежали в правление звонить в район, вызывать пожарных. Да что-то там недопоняли, приехала пожарная команда, а у них из оборудования одни насосы. Только к вечеру прибыла какая-то немецкая автолестница. В самый раз бедолаге под зад оказалась. Шутка ли, метров тридцать будет. Долго там наверху с ним возились. Не разжимаются руки его, не отпускают крест. Хотели было вместе с крестом, да куда там — разве медь спилишь. Ножом мышцы кололи, добились-таки своего, развели руки. Это ж надо, почти сутки на куполе сидел. На землю спустили, а он ни жив ни мертв, стиснув зубы, только мычит, глаза выпучив. Увезли в райцентр, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. Кто говорит: помер, другие молвят: с ума сошел. Пропал человек, а все оттого, что мертва была душа его. Не было в ней ни веры, ни любви, а значит, и Бога! С тех самых пор и стоит наш крест будто в поклоне. А годом позже и война началась. В сорок пятом я, придя с фронта, в первую очередь кресту нашему поклонился, а он мне как бы в ответ свой поклон. Из всей деревни один я вернулся целым и невредимым. А крест-то до сих пор стоит, склонился, будто на нас с укором зрит.

Левый глаз у деда задергался, покраснел, созревшая слеза выкатилась и потерялась в небритой щеке. Мы уважили деда, выпили с ним за победу и собрались было проводить гостя домой, как в вагон ввалилась компания раскрасневшихся на морозе местных красавиц. Появление веселой ватаги в другое время было бы воспринято нами с радостными чувствами, сейчас же их присутствие не соответствовало душевному настрою, да и усталость после нелегкого рабочего дня давала о себе знать. Поэтому нарушителей нашего торжественного уединения мы просто выставили за дверь. Дед Ферай засуетился, стал собираться домой. Час был поздний, и мы не препятствовали.

Картины прошлого, рожденные силой памяти и воображения, растворились в колыхающей от зноя действительности. Уже стоя рядом с приятелем и отряхивая с одежды седой прах дорог, поднятый проезжающим самосвалом, я спросил у подходящей к колодцу женщины:

— Давно ли у вас церковь сгорела?

— Посчитай, лет десять прошло. Молния в нее ударила. Куксились, куксились небеса, тучи собирая, думали, вот-вот ливень хлынет. Грозы все ждали, давно дождя не было. Ан нет, молния раз сверкнула и зараз в купол угодила. И все, небеса прояснились, где-то вдальеке уже дождь пролился, обошел нас. Остались от храма одни головенки.

— Фундамент-то остался!

— А что толку, что на нем строить? Ерохины уже место для себя присмотрели, с властью сторговались!

Откинув крышку колодца, откуда потянуло приятной прохладой, я раскрутил ворот, зачерпнул ведром воды, поднял. Женщина с улыбкой поблагодарила и, поправив выгоревшую на солнце косынку, отцепила ведро с карабина, что на большом кольце висел на цепи.

Вновь дорога, пыльная проселочная, местами с ухабами, что шкрябают по днищу. Здесь не прокатишься с ветерком, ухарство ни к чему. В салоне жара, не помогают и открытые окна. Одна мысль: поскорее выехать на шоссе, где скорость и ветер...

Валерий САЖИН

## БЕЗМЫСЛЕННАЯ ЖИЗНЬ

### I

Кто умножает познания, умножает скорбь.

*Еккл. 1:18*

В июле умерла Анна Исааковна.

Следом, в августе, умер ее муж Николай Михайлович.

Они родились в один год с разницей примерно в два месяца. И умерли друг за другом почти в одночасье.

Через два с лишним десятилетия за ними последовала их старшая дочь.

Еще спустя несколько лет – младшая.

Потомкам достался обширный семейный архив. Тебе предстояло по их просьбе этот архив разобрать, изучить, систематизировать и, насколько окажется возможным, составить на его материалах жизнеописание ушедших предков.

Обыкновенная для тебя профессиональная задача.

В предлежавшем архиве ты обнаружил множество фотографий – с конца XIX века вплоть до недавних времен.

Обилие разнообразных личных документов, автобиографий, характеристик и тому подобного.

Семейную переписку, начинавшуюся с 1920-х годов. Ты обратил внимание на странную особенность. Переписка оказалась односторонней – только письма мужа к жене и отца к дочери. По известным тебе причинам писем на фронт сохраниться не могло (лишь одно письмо старшей дочери к отцу чудесным образом спаслось). Но отсутствие

---

Валерий Сажин родился в 1946 году в Ленинграде. Историк литературы, архивист, источниковед. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор книг «Книги горькой правды» (М., 1989), «Сила судьбы: Документальная хроника 1861 года» (СПб., 2010), «Михаил Салтыков-Щедрин: Одинокий скорпион» (СПб., 2021), а также более двухсот статей, посвященных истории русской литературы XVIII–XX веков. Составитель первого в России Полного собрания сочинений Д. И. Хармса по материалам его архива, а также произведений участников литературно-философского содружества «чинарей», собрания стихотворений Б. Ш. Окуджавы, Полного собрания стихотворений И. С. Баркова и др.

неизбежных встречных писем за иные годы оказывалось необъяснимым, а разъяснений получить было уже не у кого.

Помимо семейного архива предстояло обратиться к соответствующему государственному, в котором хранились партийные дела — все персонажи были членами коммунистической партии.

Завершив предварительную работу, ты наконец приступил к составлению систематической хроники семьи.

Постепенно выстраивая эту хронику, которую ты делал по просьбе потомков ради их желания ознакомиться с деталями жизни предков, ты обнаруживал — по мере воспроизведения наличных документов — такие сведения, которые оказывались знаменательными и поучительными лично для тебя.

Начал документальное повествование с самого старшего — Николая Михайловича.

Он был родом из небольшой костромской деревни. В одной из его автобиографий ты прочитал, что Николай был единственным мальчиком наряду с еще пятью сестрами. Оказалось, что в год рождения последней из сестер скончался отец. Коле было тогда шесть лет.

Вскоре после окончания в уездном городе школы-девятилетки восемнадцатилетний юноша уехал в Ленинград. Обучился профессии модельщика на заводе «Русский дизель». Едва став заводским рабочим, вступил в комсомол, а вскоре, судя по дате в сохраненном им партбилете, — в коммунистическую партию (ему тогда как раз исполнился двадцать один год).

На «Русском дизеле» в конце 1925-го или начале 1926 года Николай познакомился со своей будущей женой Анной (в многочисленных письмах он называет ее Нюсей).

Она приехала в Ленинград из родного еврейского местечка Подольской губернии.

В написанных ею по разным надобностям автобиографиях ты прочитал, что она в совсем юном возрасте стала активной комсомолкой, организовала местный пионерский отряд, вовлекла в него и своего младшего брата. Родители, недовольные политической активностью Анны, прогнали ее из дома.

Напротив: краевой райком комсомола в награду за усердие в агитационной работе с детьми направил Анну в Ленинград с рекомендацией применить здесь ее организаторские способности.

Так она попала на завод «Русский дизель» (тут в это время уже работал Николай) — ей поручили пропагандистскую работу с молодежью. Ты предположил, что именно здесь в это время Николай и Анна познакомились.

Об их близости, по крайней мере, в политических взглядах ты прочитал в самом раннем из сохранившихся в архиве писем Николая Анне на ее родину в местечко Уланов:

*Ленинград. 29 августа <1926 г.>*

Завтра состоится общее собрание актива Ленинградской организации ВЛКСМ в Актовом зале Смольного по вопросу о МЮДе [Международный Юношеский День социалистической молодежи; проводился в 1915—1945 годах]. Общее же собрание нашего коллектива будет в среду 1 сентября.

О своей комсомольской работе я писал тебе, повторять не надо. Жду теперь тебя с нетерпением — будешь мне помогать просвещать наших ребят. За разными мелочами жизни не наблюдаю, занят работой, из крупных могу сообщить одну. В Ленинградский порт пришел большой океанский пароход, на котором совершает прогулку-путешествие буржуазия различных государств. И вот всех этих врагов рабочего класса везут в Москву отдельным поездом и дают в честь их визита в СССР (подумаешь, честь какая!) банкет, обед значит. Это мне не нравится, и я не стесняюсь скажу, что наше советское правительство в этом поступке не далеко ушло

от английских «вождей» рабочего класса из Генерального совета. Пароход роскошно убран, и на него ленинградцы совершают экскурсии. Завтра он уходит из Ленинградского порта.

Из сказанного далее в том же письме очевидно, что они уже полюбили друг друга:

Ты знаешь, Нюсенька, какое у меня желание за последние дни? Это видеть тебя. С каждым твоим письмом тоска по тебе и какое-то беспокойство все сильнее и сильнее. Сегодня весь день я не мог найти места, где бы мог успокоиться. Мне все думается, что ты не приедешь в Ленинград, останешься жить в Уланове, замуж выйдешь там и вот все в этом роде. Или хотя бы посмотреть на тебя, как ты живешь и веселишься в своем родном Уланове.

Я сейчас, как уже писал тебе раньше, загружен работой на все 100 % моей жизненной энергии.

И в завершение:

Ну, милая моя, написал тебе много, буду кончать. Времени уже 40 минут первого, мне пора ложиться спать, хотя голова светлая и спать не хочется. Если б ты была сейчас со мной, так я просидел бы до утра и вполне бодрый пошел бы с утра на работу.

Будь счастлива, моя милая славная Нюсинька!

Целую тебя горячо-горячо и не один раз...

Твой друг и товарищ, любящий тебя Коля.

Приезжай скорей...

Не разлюби меня...

Не выходи <ни за кого в Уланове> замуж...

Судя по изученным тобой документам, они поженились в начале 1927 года, и тогда же почти одновременно оба вступили в коммунистическую партию.

Родители Николая и Анны, а также ее старший и младший братья были категорически против их брака.

Кое-какие свидетельства этого конфликта сохранились в семейном архиве. Например, в письме Николая к теще:

*Ленинград. 9 ноября 1928 г.*

Дорогая мама! [Так!]

Ваше письмо я получил. Приношу свою благодарность за внимание. Разрешите Вам напомнить одну маленькую неприятную вещь — это мое письмо к Вам и Вашему мужу, посланное мною в 1926 году. Там я взял смелость защищать дочь перед родителями от нападений родного брата. Если не ошибаюсь, то я дал в то время яркую характеристику Вашего старшего сына. В то время я не получил положительного отзыва за свой поступок, хотя и считал себя правым, так как защищал не только дочь перед родителями, но и любимую девушку. Если Вы вспомните мою характеристику Зиновия, то разрешите Вас уверить, что младший сын Ваш Иосиф точная копия с Зиновия, а в некоторых отношениях и превосходит его. Уверяю Вас, что я глубоко уважаю мать моей милой Нюсиньки и для нее сделаю все, что могу, насколько хватит терпенья, выдержки, энергии и молодых сил. Сделаю это еще потому, что моя мать, хотя и жива, но для меня потеряна, у ней характер твердый как камень, и она мне не уступит никогда. Постараюсь жить с Вашим сыном Иосифом не ссорясь [этого младшего брата Анны, как ты узнал из семейных документов, отправили в Ленинград на попечение Анны и Николая]. Желаю Вам быть здоровой и счастливой.

Одновременно Николай отчитывался жене, которая тогда была в Уланове:

*Ленинград. 9 ноября 1928 г.*

В отношении Иосифа ничего не буду писать, относительно твоих планов, хотя я их и не знаю, должен сказать заранее, что буду не согласен, но сделаю так, как захочешь ты. Что этот ревматизм моей шеи будет меня еще долго мучить, я в этом уверен, так как ты более любящая сестра и дочь, чем жена и мать. Не прими это за упрек — это только логический вывод из всей нашей жизни, и ты это лучше знаешь, чем кто-либо другой. Но ты также должна знать, что имеешь дело с порохом, даже с динамитом.

Иосиф, по-видимому, весьма дружен с Зиновием, нередко ночует там, а бывает последнее время почти ежедневно. Это два достойные друг друга брата, периодически расходящиеся и периодически сходящиеся, оставаясь неизменно солидарными относительно твоего замужества и отношения к русским, последнее, правда, наружу выливается редко. Я же у Зиновия не был и не собираюсь.

В 1928 году в семье родилась первая дочь. Анна уехала с ней на родину к родителям. По письмам к жене можно судить об обстоятельствах ленинградской жизни Николая:

*Ленинград. 29 сентября 1928 г.*

В Ленинграде вчера выпал снег, а сегодня растаял, так что у нас в Новой Деревне [район Ленинграда] непролазная грязь. Эта грязь создает для нас с Иосифом невозможное положение, так как сейчас наступило холодное время, температура все время ниже нуля стоит, а ты знаешь, что в нашей комнате от малейшего ветра холодно становится, следовательно, нужны дрова, а их из-за грязи никто не соглашается везти к нам, так что приходится немного померзнуть.

*Ленинград. 11 октября 1928 г.*

Сейчас в Ленинграде введена новая квартирная плата, и многие квартирохозяева сдают комнаты. Только беда в том, что я не имею денег. Но до 15 ноября еще целый месяц, и я надеюсь, что положение изменится.

[Приписка на полях]: Нюсинька! В получку я ничего не получу, все высчитали. Возьму из твоих денег нам на жизнь 8 рублей.

*Ленинград. 22 октября 1928 г.*

У нас положение не особенно важное. В особенности с квартирой. Вся беда в деньгах — были бы деньги и квартира была б. Мы с Иосифом живем кое-как — питаемся посредственно, я лично не развлекаюсь ничем и никем, так как нет денег на трамвай, чтоб поехать в город.

*Ленинград. 1 ноября 1928 г.*

Я получил получку 35 р., пять же рублей высчитали заем индустриализации. Из 35 р. я израсходовал следующим образом: 5 р. 01 к. отдал в прачечную за стирку, 5 р. отдал долг дяде, который я сделал еще в твое присутствие в Ленинграде, 3 рубля отдал зятю долг, который я одолжил, когда у меня, как ты знаешь, не было денег, купил следующие продукты: манной, гречневой и пшенной крупы по 500 гр. каждой, два десятка яиц, кило столового масла, 4 кило крупчатки [такая мука], а завтра куплю макароны и картофельную муку. Постараюсь все перечисленные продукты держать в запасе до твоего приезда в Ленинград. Сейчас я хорошо питаюсь, преимущественно в столовой, так как дома у нас холодина, а дров все еще нет.

Нам сказали, что на праздники денег не дадут, и я не знаю, как я выкручусь. Надо тебе послать 10 р., Иосифу в школу 4 р., за электричество 2 р. 47 к., а у меня сейчас всех денег 16 р. 40 к., если отдать все, то на жизнь ничего не останется.

Скоро будет розыгрыш Займа Индустриализации, и я обязательно выиграю 5000 р. Не правда ли? Я большой мечтатель стал с некоторого времени и все мечтаю о том, как было бы хорошо, если б выиграть в займе ну хотя бы... 100 р.?

В одном из «дел» коммуниста ты прочитал, что уже в двадцатипятилетнем возрасте Николай Михайлович стал секретарем партийной организации большого завода Лентекстильмаш. Но в 1933 году с этой должности оказался снят и даже исключен из партии.

Оказалось — из-за жены.

Анна Исааковна скрыла свое социальное происхождение от отца — мелкого торговца, а такое поведение коммунистки неминуемо влекло за собой исключение из партии. Так и поступила с ней в начале 1933 года соответствующая комиссия. Однако изучив ее многостраничное «дело» ты узнал, что ей все-таки до конца года удалось восстановиться в партии: ее наказали лишь строгим выговором

Точно таким оказался итог и для Николая Михайловича. Но его партийные злоключения на этом не завершились. Осенью 1934 года ему, в ту пору студенту инженерно-производственного факультета Института инженеров промышленного строительства, за череду нарушений (ушел до окончания занятий, опоздал, не явился на общее собрание) партком объявил строгий выговор; зимой 1937 года (в этом году в семье появилась вторая дочь) партком института вовсе исключил его из партии за многомесячную неуплату членских взносов; впрочем, как и в 1933 году, вышестоящая партийная комиссия заменила это наказание строгим выговором.

Осенью 1939 года Николая Михайловича, в преддверии войны Советского Союза с Финляндией, призвали в армию. В его военном билете (и в послевоенной характеристике) ты прочитал, что он был в качестве военного инженера помощником командира одного из батальонов, затем начальником штаба, потом командиром батальона и снова начальником штаба.

После войны он порядочное время, судя по письмам жене, беспокойно ожидал демобилизации и лишь в конце октября 1940 года вернулся домой.

Ты обратил внимание на характеристику партийного бюро батальона, которая последовала за ним на новое место работы:

На учете в парторганизации 259 отдельного инженерно-строительного батальона состоял с 16 сентября 1939 г. Военное звание — командир запаса; в батальоне аттестован на военного инженера III ранга. Инженер технической части до ноября 1939 г., пом. командира батальона по технической части до января 1940 г., нач. штаба до 24 июня 1940 г., ком. батальона до 1 августа 1940 г. и затем нач. штаба. 18 июля 1940 г. избран членом партбюро батальона.

В период боевых действий с белофиннами находился при штабе батальона в г. Суоярви и периодически выезжал в расположение рот на передовые позиции. С 28 февраля по 2 апреля 1940 г. находился в расположении рот.

В обращении к подчиненным допускал резкость и невыдержанность.

Обладая энергией, настойчивостью является вместе с тем честолюбивым и критику воспринимает болезненно.

Вспыльчивость Николая Михайловича была отмечена и в мае 1941 года, когда партбюро его нового места работы снимало с него вынесенный ранее строгий выговор — все за то же.

Новым местом работы Николая Михайловича после возвращения с Финской войны стало жилищное управление Дзержинского районного совета. Он был назначен

сюда главным инженером. Здесь проработал до следующей войны – Великой Отечественной – чуть больше полугода.

В домашнем архиве сохранились почти сто пятьдесят писем Николая Михайловича за время войны. Из их содержания ты понял, что это не все, адресованное им семье. Но и тех писем было предостаточно, чтоб удивиться их разнообразному и неожиданному для тебя содержанию.

Анна Исаковна 7 июля эвакуировалась с детьми из Ленинграда и после некоторых перипетий поселилась в Костроме, а муж остался работать в городе. Оттуда Николай Михайлович писал жене:

*Ленинград. 17 июля 1941 г.*

15 июля я получил повестку о моем призыве в армию, но меня не взяли. Я нужен на той работе, которой сейчас руковожу, ибо она является составной частью обороны города Ленинграда.

Осенью он встретился с семьей в Костроме, когда наконец был призван в армию. Его сначала послали на Курсы усовершенствования командного состава (КУКС), размещавшиеся тут же. Курсы были краткосрочными, и уже в конце октября его с батальоном отправили в район Куйбышева, где после тоже короткой подготовки он должен был отправиться на фронт. Но этого долго не происходило, и Николай Михайлович из месяца в месяц сообщал старшей дочери:

*Куйбышевская область. 25 марта 1942 г.*

Мой отъезд на фронт снова откладывается до 25 апреля.

*Куйбышевская область. 20 апреля 1942 г.*

[...] Нахожусь все время в глубоком тылу, где даже нет светомаскировки. О моей отправке на фронт ничего определенного нет. Батальон продолжает и работать и учиться. Я учу военному делу как свой командный состав, так и читаю лекции старшему командному составу – это командирам батальонов и их комиссарам, а также для работников штаба нашей саперной бригады.

Наконец:

*Куйбышев. 4 мая 1942 г.*

Еду на Южный фронт – сегодня 4 мая 42 г. Ночью выезжаем.

*Сталинград. 7 мая 1942 г.*

Сегодня прибыли в Сталинград. Но это еще не конец нашего путешествия. [...] Как я тебе уже сообщал, я уже не командир батальона, а получил большое повышение. [Так он характеризовал назначение на «оперативную» работу.]

Ты не мог не заметить и не удивиться: до некоторых пор Николай Михайлович переписывался исключительно с дочерью. Письма адресовал на имя Анны Исаковны, но почему-то с указанием об их передаче дочери.

Наконец из содержания некоторых писем ты узнал: Анна Исаковна не желала переписываться с мужем. Причиной был недавний (предвоенный) инцидент: оказалось, Николай Михайлович уходил (на какое время?) из семьи.

Тему ревности ты отметил еще в переписке Николая Михайловича с женой во время его участия в Советско-финской войне (сведения о тогдашнем происхождении этой темы отсутствуют в каких-либо документах, сохранившихся в семейном архиве).

Например, он так отвечал, как можно судить, на ее подозрения в нежелании скорее вернуться в семью:

*Виданы. 20 апреля 1940 г.*

Как-то все получается так, что ты не совсем правильно понимаешь мою горячую любовь к тебе и моим ненаглядным дочуркам. Очень прошу тебя: не расстраивайся, не выдумай того, чего нет и не может быть.

Похоже, что Анна Исааковна со своей стороны провоцировала мужа на ревность:

*Рабочий п/остров Керванто. 12 августа 1940 г.*

После твоего последнего письма, привезенного вместе с посылками т. Клеменковым, я поставил себе цель немедленно выехать в Ленинград. Надо тебе сказать, что последние твои письма и некоторые еще сообщения внушили мне тревогу за мое личное семейное счастье. Но я еще не потерял надежду, приехав в Ленинград, найти семью и горячо любимую жену в полном порядке...

Если я останусь в б[атальо]не до 1 октября, то эти 1½ м[еся]ца будут очень тяжелыми для меня, ибо ни работа, ни окружающее не отвлекают меня от тревожных мыслей о тебе, семье, ибо я знаю много случаев, когда и красноармейцы и командиры за год разлуки с семьями потеряли своих жен и свое личное счастье.

Тема измены Николая Михайловича была настолько болезненной для жены и старшей дочери, что не уходила из его переписки с семьей с фронта в течение первых двух с половиной лет войны (объектом обвинений в измене была некая Витковская).

Как отмечено, первоначально с ним переписывалась только старшая дочь, и вот что он ей писал:

*Куйбышевская область. 3 января 1942 г.*

О моих взаимоотношениях с Татьяной Григорьевной Витковской ты со временем узнаешь подробно и обстоятельно. Пока же могу тебя уверить, что я не собирался да никогда и не собираюсь забыть моих ненаглядных дочурок, мою гордость и самое дорогое после партии и Родины. Ты, доченька, собираешься мстить кому-то после войны, судя по смыслу письма — мне, твоему отцу. Для этого я бы на твоём месте прежде всего пожелал бы остаться отцу живым во время этой войны.

*Куйбышевская область. 10 марта 1942 г.*

Ты снова и снова поднимаешь вопрос о моих отношениях с Татьяной Григорьевной. Я тебе уже писал, что со временем ты будешь знать о моих отношениях с ней, — это не связано с твоим возрастом, не в этом дело. Я надеюсь тебя еще видеть, может быть, я и уцелею в этой войне, и подробно расскажу тебе об этом оригинальном человеке; живое слово более ярко, чем написанное, я всегда был больше оратором, чем писателем. Сейчас же могу тебя заверить в одном: она ни в какой степени не оторвала меня от семьи, от вас, моих дорогих дочурок, да и в моих чувствах к твоей маме ничего не изменила. Я остался тем же, каким и был — предан моей единственной дорогой семье, хотя семья и стоит у меня всегда на 3-м плане: на первом партия, а на втором Родина. Таким я и останусь.

В единственном случайно уцелевшем письме дочери к отцу ты прочитал:

*Кострома. Около второй половины марта 1942 г.*

История с Витковской отняла у мамы половину жизни.

Восстановившаяся наконец переписка Николая Михайловича с Анной Исааковной стала для тебя свидетельством неутраченного неумолимого семейного разлада, темой, которая будто игнорировала происходившую вокруг беспощадную войну.

*Южный фронт. 2 июля 1942 г.*

Ваши письма [жены и дочери] мне доставили на этот раз чрезвычайно много приятных минут. Правда, ты, Нюся, и на этот раз осталась верна себе — не удержалась от упрека в моей недостаточной преданности семье (слава богам, что не родине!), ну да «горбатого исправит могила»...

*Юго-Западный фронт. 30 августа 1942 г.*

Еще раз и последний пишу тебе, что образ Татьяны Григорьевны зря вызываешь ты в своем воображении. Та была порядочная фантазерка и желаемое принимала за действительность, и ты не строй и не придумывай различных «успехов»... Она не была моей женой, но память о ней, отдавшей молодую еще жизнь за родину, сохранится хорошая [Николаю Михайловичу кто-то, вероятно, сообщил, что Витковская погибла]. Она не была и твоим врагом, а что она любила меня без всякой меры — это ее право. Мои отношения к моей семье не менялись за все 15 с половиной лет женатой жизни, и нет никаких оснований ожидать изменения, имея взрослую дочь и почти 40 лет от роду. Мысли разные на эту тему надо выбросить. Пылкости чувств мы с тобой, дорогая моя, уже не можем требовать друг от друга — возраст не тот! Не знаю, как ты, а я за последние 2 месяца постарел лет на десять, да и до этого былум уже не могу похвастаться.

*Юго-Западный фронт. 20 сентября 1942 г.*

Добрый день, Нюся!

Получил твои два письма.

Не знаю, когда прекратится это нудное бормотание о преступлениях, изменах и прочих «ужасах»? Прочитав последние два письма от тебя я вспомнил всю нашу совместную жизнь, — а времени у меня на это вполне достаточно, — лежу с малярией, поэтому и пишу так плохо. И нечем хорошим вспомнить... Я тебя ни в чем не хочу обвинять, но я был вполне в «своей тарелке», когда ты уезжала на дачу или на курорт, и в этом виновата только ты. За последние 3 года мы с тобой вместе прожили всего 8 месяцев — 28 месяцев я жил самостоятельной жизнью — это лучшие месяцы моей жизни, когда я не чувствовал копеечного контроля над собой, и никаких издевательств за каждый шаг, за каждое слово, за любое проявление моей жизнедеятельности! И не преступник я, а глубоко несчастный человек (просто человеку не повезло!), что имея двух горячо любимых дочурок, не питаю такой же любви к их матери. И Витковская здесь не при чем, ибо до встречи с ней я провел с тобой 14 лет, и чувства мои к тебе вполне определились, — общее благополучие моей семьи дороже всего для меня. Как-нибудь, возможно, мы с тобой еще побеседуем на эту тему. Но как и в прошлом беседы с тобой никогда не приводили к желаемому результату, — ты всегда оставалась при своем мнении, а я при своем, так и в будущем перспектива безотраднa...

*Юго-Западный фронт. 2 октября 1942 г.*

К величайшему моему сожалению, а твоему огорчению, снова вынужден напоминать фамилию Витковской. Раздув инцидент с ней до невероятных размеров, ты в данном случае отомстила мне за всю нашу совместную жизнь, как говорят, на все 100!! Что может быть большей потерей для меня, чем потеря детей? Читая же твое письмо, где ты приводишь слова [пятилетней младшей дочери] — невинного ребенка! с высказыванием о Витковской, — я убедился, что сознание этого ребенка отравлено. И отравлено не как-нибудь, а так, чтобы я потерял любовь дорогой моей дочурки! Кроме того, я зимой [прошедшей] еще имел письмо от [старшей дочери] на ту же тему. Представь себе такую картину: пройдут годы, я создам своим детям и тебе красивую культурную жизнь, и не будет намека на отсутствие преданности детям и семье! Каким образом ты исправишь искаленную нравственность ребенка? Сейчас [дочери] будут вопрос о нравственности решать так: если папка развратник, так почему же и им не пуститься «во все тяжкие» лет с 14? И я им не могу и не смогу сказать в порицание ни одного слова, ибо я не имею у них авторитета!! Так мог поступить только мой злейший враг! Ты продолжаешь свою тактику ко мне, испытанную на протяжении 15 лет, но если ты глубоко подумаешь и вспомнишь, что это приводило не к нашей близости, а к все большему отчуждению... Ты пишешь, что хочешь поговорить со мной. О чем? Уверен, что ты ничего не прибавишь к тому, что так ярко изложено в твоих письмах, разве только добавишь, разразившись очередной истерикой, к которым я так привык за 12 с половиной лет! Слышишь, Нюся, привык! А слез людей не могу видеть равнодушно!.. Больше я тебе пространных писем писать не буду. Ни к чему! Остаюсь преданным, но вдребезги разбитым морально отцом своей семьи...

*Воронежский фронт. 25 апреля 1943 г.*

Читая твои письма пережил разное. Снова восстала ты передо мной во всей красе! То выдержанный человек, самоотверженно борющийся с трудностями, то паникер, каких свет не видел! Я, Нюся, далеко не тот, что был два года назад, — жизнь меня крепко поломала! Ты мне завидуешь, что я освобожден от мелких забот о своем существовании... Это не разумно! Ты не знаешь, что такое свист снарядов и пуль, и не переживала того, чтобы твои близкие и друзья умирали от рук врага на твоих глазах! А это кладет отпечаток на людей, переживших на всю жизнь какой-то особой серьезности и строгости. Ты все еще живешь интересами двухлетней давности. Вспоминаешь женскую обиду свою... Не беспокойся, — все материальное, добытое, вернее, заработанное мною, будет отдано моей милой семье! Она у меня одна! А Витковскую ты брось вспоминать лихом, — она защитница Ленинграда, и достойна воспоминания хорошим добрым словом.

*Воронежский фронт. 1 ноября 1943 г.*

Тебя почему-то смущают вопросы нашей дальнейшей совместной жизни. Не надо ничего выдумывать и рисовать себе жизнь хуже, чем она есть на самом деле. Наши отношения всегда строились и разрушались нами самими. Я тебя никогда не идеализировал, но оставался и остаюсь преданным тебе, матери моих детей, и всю энергию и способности свои после окончания войны отдам на создание моей семье счастливой радостной жизни. Если же ты захочешь, то тебе не плохо будет жить со мной. Все зависит от взаимного понимания, и если не хватит горячих чувств, то будем друг с другом вежливы и любезны. Неизрасходованные ласку и любовь полностью сберегу для тебя и моих дочурок.

Хочу ли я в отпуск к своей семье — такой вопрос считаю продиктованным твоим постоянным неужавением ко мне.

Вот что еще содержательного ты заметил для себя и представил потомкам в сохранившейся семейной переписке.

Николай Михайлович, как видно, обязывался жене систематическими «финансовыми отчетами». Так было еще с самого начала их семейной жизни — одно такое письмо от 1 ноября 1928 года ты воспроизвел. Письма жене военного времени пестрят такими сообщениями.

Он, например, писал жене из Костромы, до которой добрался чуть раньше семьи:

*Кострома. 26 августа 1941 г.*

[...] Меня беспокоит вопрос об обеспечении тебя с дочурками средствами к существованию. Дело в том, что мое денежное содержание в месяц, как курсанта [Курсов усовершенствования командного состава], составляет 550 руб. в месяц. Из них удерживают: за питание — 146 р., за комм[унальное] обл[уживание] — 154, в фонд обороны — 18 р.. Итого — 179 р. Остается  $550 - 179 = 371$  р. Из них я должен заплатить чл[енские] взносы в партию — 17–50 — останется  $371 - 17 - 50 = 353 - 50$ . Следовательно, я могу выслать максимально 300–320 рублей. Если это продолжится до ноября месяца, то тебе фактически 3 месяца будет очень тяжело изворачиваться. Я прекрасно знаю, какие цены в Костроме. Так, например, килограмм помидор — 18 руб. (восемнадцать руб.!!!), а у вас они, вероятно, не ниже.

Еще до возобновления переписки с женой Николай Михайлович сообщал дочери:

*Куйбышевская область. 3 января 1942 г.*

Я получаю в месяц 900 рублей. Отчет об израсходовании денег за ноябрь и декабрь месяцы я маме выслал. [Денежный] аттестат за январь месяц не высылаю по следующим обстоятельствам: я подписался на заем на 500 руб., 200 руб. у меня уже удержали. Из январских денег я полностью рассчитаюсь за заем, а остальных денег рублей 400 вышлю маме.

Таких систематических «финансовых отчетов» оказалось множество в письмах Николая Михайловича с фронта.

Потомки, по просьбе которых ты составлял эту семейную хронику, должны были отметить, как из раза в раз настойчиво Николай Михайлович писал о своем патриотизме и верности партии.

Еще пребывая в первые месяцы войны в Ленинграде, он так воодушевлял жену:

*Ленинград. 17 июля 1941 г.*

Как ты себя чувствуешь? Не поддавайся и не сгибайся перед трудностями. Твое здоровье и энергия нужны нашим детям и родине. Постарайся найти свое место в общем деле обороны нашей Родины, нашего Советского народа, ведущего ожесточенную борьбу с фашистскими варварами.

До отправки на фронт он жил с комиссаром своего батальона в Куйбышевской области в избе местной жительницы и, рассказывая, как она ухаживает за ним, обильно кормит, приветлива, провозглашал в письме дочери:

*Куйбышевская область. 18 ноября 1941 г.*

Вот в этом факте почти родственного отношения со стороны совершенно незнакомых лиц особенно ярко проявляется несокрушимая мощь нашей великой Родины.

Можно еще припомнить, как в письмах 3 января и 10 марта 1942 года он повторял, как видно, излюбленную триаду: партия, Родина, семья — так расставлял свои жизненные приоритеты.

И еще раз в письме жене:

*Куйбышевская область. 20 апреля 1942 г.*

Война есть война. И все тяготы ее ложатся на плечи трудящихся. Сознание же, что в этой смертельной схватке с лютым врагом мы защищаем наше прекрасное уже созданное и более счастливое будущее должно дать тебе силу и мужество стойко переносить невзгоды. [...] нет у меня ничего дороже, кроме родины и партии, как моя дорогая семья.

Нельзя было не заметить, что Николай Михайлович считал своей ответственной ролью напористое внушение родным тех же свойств, что были главенствующими у него: верности коммунистической партии, патриотизма.

Из письма Анне Исааковне:

*Юго-Западный фронт. 9 августа 1942 г.*

Поменьше слез! Больше спокойствия и выдержки! Уже второй год войны, и миллионы советских граждан выработали в себе огромную выдержку и стойкость, и тяжелые испытания встречают с суровым спокойствием и без истерик. Я уже тебе писал, что на войне бывают разные условия, и иногда попадаешь в такой «переплет», что свободно дыхнуть некогда. Так было у меня в июле месяце. Значит... больше выдержки!!!

Дочери:

*Юго-Западный фронт. 15 августа 1942 г.*

В предыдущем письме я пропустил отметить одно важное обстоятельство. Ты вступила в комсомол? Очень рад этому! Поздравляю тебя, моя ненаглядная, с этим очень важным событием в твоей жизни. Я вспоминаю дни, когда отправлял тебя в первый раз в очаг, который 5 лет растил тебя, ты затем стала пионеркой, а теперь комсомолкой! В день или, вернее, год моего сорокалетия тебе исполнится 18 лет, тогда, я думаю, буду гордиться моей дочерью коммунисткой! И будет у нас своя паргруппа — ты, я и мама! А маму мы изберем секретарем, и помощницей ей будет шаловливая школьница — пионерка — [младшая дочь]!

Жене:

*Юго-Западный фронт. 30 августа 1942 г.*

Какой же у тебя неровный характер, именно не нервный, а неровный! Это очень ярко отображается в письмах. То они (письма) ярко-патриотические; читая их как-то приятно становится при мысли, что в тылу остался и работает на благо родины такой любящий родину человек; то они проникнуты суровостью и готовностью бороться с временными трудностями военного времени — тогда проникаешься уверенностью, что мои дети с такой матерью ни при каких сложных и трудных обстоятельствах не пропадут; то в них отражается паника перед трудностями и полная растерянность. Верю и знаю, что тебе трудно, но ведь на фронте, на передовой позиции бывает, поверь, еще трудней. И если человек растерялся, значит, он уже почти побежден врагом. Так и с тобой. Не хочется писать тебе нравочений, да они и не достигнут цели. Но все же, когда ты начинаешь терять бодрость духа, вспомни, что сейчас

война и нет такого человека в нашей стране, которому жилось бы сейчас хорошо и привольно, — каждый несет и испытывает тяготы войны в той или иной форме.

Анне Исааковне действительно, как видно, приходилось тяжело: из ее личного дела за время пребывания в эвакуации ты узнал, что она работала то заведующей столовой Курсов усовершенствования командного состава, то официанткой, вахтером, кухонной работницей — ее то и дело увольняли: «за грубость и нетактичное отношение к начальствующему составу при обслуживании»; «за халатное отношение к своим служебным обязанностям и отсутствие учета» и многое тому подобное.

Шла изнурительная война. Тебе (и, наверное, потомкам тоже) представлялось, что фронтовику в этих обстоятельствах не до пространных этических нравоучений в адрес живущих в эвакуации родных.

Однако письма Николая Михайловича, например, дочери это впечатление опровергли.

*Юго-Западный фронт. 9 сентября 1942 г.*

Самое же главное — не натворить ошибок, часто непоправимых, в своей личной жизни, в этом отношении советами родителей пренебрегать не рекомендуется. Это не значит, что твоя свобода будет стеснена, но имея уже жизненный опыт, мы можем указать тебе, как надо поступать и делать в том или ином случае жизни. Здесь авторитет твоей мамы непоколебим! И если она регламентирует твое поведение, то этому надо подчиниться беспрекословно, если она тебе советует что-либо, надо к этому прислушаться и выполнять и поступать так, как она указывает. Я в этом отношении бессилён что-либо сделать, ибо руководить жизнью 14-тилетней дочери надо повседневно, а советы, поданные с большого расстояния, всегда запоздают. Во всяком случае, мое желание таково, чтобы ты, прежде всего, успешно училась в школе и упорно добивалась бы, как ближайшей цели, окончания полной средней школы. Параллельно с этим и ни в коем случае не в ущерб, заниматься музыкой, развивать свои способности, повышать свою музыкальную культуру.

*Юго-Западный фронт. 13 октября 1942 г.*

За последнее время от тебя нет писем. Причина твоего молчания кроется, мне кажется, не в том, что тебе нечего писать мне, находящемуся в самом пекле, а в твоём поведении. Тебе, видно, нечем похвастать в самом главном в твоей жизни, в учебе — у тебя успехи не важные. Да и в поведении твоём тоже есть кое-какие пробелы. До меня дошли слухи, что ты стала пользоваться большой популярностью на КУКСе, и не только, как участница концертов, но и как большая охотница погулять с курсантами. Я хочу тебе еще раз напомнить, что в твоей жизни главным является учеба, учеба и еще раз учеба! Нагуляешься, успеешь! Ведь тебе еще только 14 лет! Ты еще не вышла из младенческого возраста, а уже погуливаешь со взрослыми папашами! Это немного смешно, а больше грустно! И грустно потому, что моя еще очень маленькая дочурка, еще не сформировавшийся человек, так усердно и успешно подражает старшим, взрослым, и на первый план в своей жизни выдвигает гуляние и развлечения вместо того, чтобы учиться настойчиво и упорно. Буду тебе еще писать на эту тему, и не раз.

*Юго-Западный фронт. 28 ноября 1942 г.*

Получил твое письмо, где ты хвастаешься своими «достижениями» в учебе. Не ожидал! Признаюсь тебе, что с большим беспокойством читаю твои письма и письма твоей мамы о твоём поведении, и боюсь, что по окончании войны я уже встречу

тебя, мою любимую дочь, не такой, какой бы я хотел иметь дочь. Из твоего дезертирства в школе, в отлынивании от учебы я вижу, что мои к тебе письма хотя и попали по адресу, но не дошли до сознания твоего.

*Воронежский фронт. Апрель 1943 г.*

Лучшим подарком, наградой будет для меня, если я получу известие о том, что ты, моя дорогая доченька, учишься хорошо, не увлекаешься гулянием в ущерб учебе и не причиняешь маме никаких огорчений. Я тебе не раз писал, что огорчать маму, пререкаться с нею — это преступление! Плохо учиться, предаваться веселию в дни отечественной войны — преступление перед Родиной!

*Воронежский фронт. 3 июля 1943 г.*

Немного огорчен, что ты не дотянула по 3 предметам — необходимо осенью подтянуться!!! Еще более огорчен твоими отношениями с мамой!.. Если они протекают и являются следствием переживаемых трудностей, то это не страшно — кончится война кончатся и трудности. Но если налицо нелюбовь и неуважение к матери и от нее к детям, то это страшно... Боюсь, что я опоздаю приехать и снова сколотить свою семью в одно целое.

Все же наряду с еще многими подобными по содержанию и тону письмами, которые ты счел обязательными для сведения потомков включить в эту семейную хронику, сохранилось немало писем, повествовавших и о текущих фронтовых событиях.

Таковы, например, следующие письма мужа Анне Исааковне.

*Юго-Западный фронт. 24 июля 1942 г.*

С 6 июля по 15 июля не раз смотрел я смерти в лицо, пришлось не работать, а воевать, — 3 фрицев ранил, а одного убил. Потерял кое-кого из товарищей. [...] Я потерял все свои личные вещи, остался только в летнем обмундировании. Что мне особенно жаль, так это ваши фотографии, они у меня были в чемодане. Вместе с ними были и кое-какие документы, партийный же билет и служебное удостоверение я сохранил при себе. В связи с тем, что вещи мои и прочее досталось немцам, предупреждаю тебя, Нюся, о возможности со стороны врага в отношении тебя шанса и провокации. Помни только одно, что живым они меня не возьмут, а раненого товарищи не оставят.

*Воронежский фронт. 8 декабря 1942 г.*

С 19 ноября и по сейчас я непрерывно нахожусь на передовой линии, — временами был около немцев в 50–80 метрах. Но ни пуля, ни мина, ни снаряд пока не нашли меня. Буду надеяться, что и в будущем останусь цел и невредим. За это время работал с такой нагрузкой, как никогда. Днем в штабе, а ночи на передовой в наших подразделениях, так как работать можно было только ночью.

*Воронежский фронт. 24 января 1943 г.*

Мы наступаем! И не плохо! Сегодня еду в г. Воронеж. Там немцы много оставили мин замедленного действия, и наши красноармейцы очищают город от них и от других сюрпризов.

Замечательное зрелище мы наблюдаем каждый день! Тысячные колонны пленных движутся по дорогам. Вид у этих отвоевавшихся вояк весьма невзрачный! Немало встречаем и убитых.

*Воронежский фронт. 29 января 1943 г.*

Сейчас я нахожусь на освобожденной от немецких оккупантов советской земле. Немцев здесь было не много, здесь были венгры и мадьяры. Приехав со штабом в одну деревню мы много труда положили на приведение хат в порядок, так, чтобы можно в них было войти. У самого входа в дом, где разместился мой отдел, лежал убитый фриц, мы его с моим ординарцем-красноармейцем утащили в огород. Второй лежит вниз головой в погребу. Таких картин можно много видеть здесь, и очень приятно видеть заклётых врагов мертвыми.

*Воронежский фронт. 5 февраля 1943 г.*

Каждый день все движемся вперед и вперед. Сегодня по радио вам сообщили, что нашими войсками взят город Шигры. В этом городишке я был сегодня. Весь наш путь от самого Воронежа усеян трупами фрицев, лошадей, разбитыми и не разбитыми автомашинами, орудиями, железнодорожными эшелонами с огромным количеством всевозможного имущества.

*Воронежский фронт. 17 марта 1943 г.*

У нас здесь весна в полном разгаре. В связи с этим мы временно остановились. Пройденный большой путь с боями закалил меня и обогатил огромным опытом для дальнейшей борьбы с врагом, для преодоления неизбежных в будущем трудностей. На днях получил приказ о награждении меня командованием именными часами за мою службу Родине.

*Воронежский фронт. 23 июля 1943 г.*

Сегодня заместитель командующего фронтом поздравил меня по телеграфу с награждением орденом «Красная Звезда». Моя скромная деятельность, как видишь, оценена Родиной очень высоко. Я этому очень рад, и хочу, чтобы и ты разделила мою радость.

*Воронежский фронт. 10 октября 1943 г.*

За последних две недели я очень многое пережил. Стою на левом берегу Днепра, но часто бываю и на правом. На мою долю выпало строительство моста через Днепр. Окончание строительства этого моста будет являться сокрушительным ударом по врагу. Поэтому враг делает все возможное, чтобы помешать нам. Артиллерия и минометы, пулеметы и авиация днем и ночью обстреливают нас. Я уже потерял кое-кого из своих командиров и лучших красноармейцев. Самого меня легко ранило в руку — только кобура и пистолет предотвратили от более тяжелого ранения. По 30–40 самолетов бомбят как место работы, так и расположение частей ежедневно. Иногда бывает и так: все, что мы сделаем за ночь, разрушается противником днем.

*Воронежский фронт. 12 октября 1943 г.*

Спешу поделиться с тобой большой радостью — Правительство снова отметило меня высокой наградой, сегодня я получил орден «Красное Знамя». В нашем соединении я первый из всех наших командиров — офицеров за все время войны получил такой орден. Десятки моих красноармейцев и офицеров получили ордена и медали — батальон мой уверенно идет к завоеванию звания гвардейского.

*Воронежский фронт. 10 января 1944 г.*

[...] Снова наступаем!!! И не плохо! Уже имею одну благодарность нашего вожда т. Сталина, стараюсь заслужить еще.

Это письмо Николая Михайловича с фронта оказалось предпоследним. После 20 января 1944 года писем не стало.

Что же случилось?

В семейном архиве ты прочел распавшееся на множество частей (вероятно, многократно читанное и оттого ветхое) письмо от сослуживца Николая Михайловича его жене:

*9 августа 1944 г.*

Что и как произошло с Николаем Михайловичем? Это было в конце января 1944 г. Батальон, которым командовал Н. М., располагался близ с. Оратов Киевской обл. Штаб нашего соединения, которому подчинен был в то время Н. М., располагался в с. Ставище тоже Киевской обл. Расстояние между Оратов–Ставище 50–60 км. Н. М. должен был поехать в тыл, в длительную командировку, поэтому со всеми вещами он приехал для оформления документов к нам в Ставище. Однако положение на передовой после отъезда к нам Н. М. резко изменилось. Противник предпринял контратаки и кой-где потеснил наши части. Создалась необходимость Ник. Мих. вернуть обратно с весьма срочным боевым заданием. Для быстрейшего передвижения ему была дана автомашина. Следовательно, они с шофером (только с шофером) выехали в ночь в район расположения части Н. М., находящейся на передовой. Вещи, понятно, он взял с собой. И вот с момента отъезда ни судьба Н. М., ни шофера и автомашины не известны, и активные поиски как в тот момент, так и после, когда противник был уже далеко оттеснен, не увенчались никаким успехом. Что можно предполагать? Единственный вывод, к которому можно прийти, — это случайное столкновение Ник. Мих. в условиях ночи либо с разведкой противника, либо с какой частью ее, прорывавшейся тогда в районе Оратов, и он мог попасть в плен. Но это лично мое предположение. Зная темперамент Ник. Мих. не допускаю мысли, чтоб он мог попасть к врагу, не используя всех средств защиты. К тому же длительное пребывание на фронте выработали в нем качества настороженности и трезвой оценки положения. Трудно представить, как могло произойти его исчезновение. Вот, что я мог Вам сообщить, как происходило дело. Николай Михайлович у нас, в среде офицерского состава, в парторганизации и т. д. пользовался большим авторитетом. Как командир, как воин он был и храбрым и знающим военное дело. Воспоминания о нем у всех самые лучшие. Но для всех так же неясно, как и Вам, где он.

Капитан И. П. Чадов

До осени 1945 года, как ты сумел понять из сохранившихся в архиве документов, Николай Михайлович считался без вести пропавшим.

Скоро выяснилось: он попал в плен, прошел через несколько фашистских тюрем и лагерей. В конце концов оказался в числе заключенных концлагеря Маутхаузен.

В начале октября 1945 года неожиданно от него пришло Анне Исааковне письмо (в семейном архиве отсутствует), она тотчас ему ответила, и на это ее письмо последовало следующее письмо Николая Михайловича:

*Вышний Волочек. 18 октября 1945 г.*

Дорогая Нюсинька! После 20 месячного перерыва сегодня получил от тебя письмо. Да такое ласковое! За последние 4 года ни от кого не получал таких ласковых, добрых, человеческих строк, за исключением разве только писем от [старшей дочери]. Война вообще обостряет чувства и отношения людей, а у нас, переживших заключение в тюрьмах и концлагерях германского фашизма, в особенности. Да и новое рождение на свет Божий [так!] и включение в родную советскую действительность тоже процесс не безболезненный и кое-чему учит и заставляет пе-

рассматривать свое отношение к людям. Поэтому каждое ласковое слово, обращенное ко мне, воспринимается с особой благодарностью. Скоро наступит такой день, когда мы снова будем вместе, и я долгие-долгие годы буду рассказывать о многом, что вы знаете о войне и плене только в общих чертах. В самом явлении плена нет ничего героического, но если уж я случайно уцелел, хотя и не стремился к этому, то сейчас уже стоит жить ради того, чтобы вы, мои дорогие, убедились, что я остался преданным и Родине и семье.

Николай Михайлович находился, как оказалось, в Вышневолоцком филиале Проверочно-фильтрационного лагеря № 140 НКВД СССР.

В письмах домой он постепенно сообщал разнообразные подробности своего пребывания в фильтрационном лагере.

Анне Исааковне:

*Вышний Волочек. 4 ноября 1945 г.*

Одет я посредственно — для лета и осени даже хорошо, в полной форме американского солдата. На днях, возможно, к празднику получу новое обмундирование, но американский костюм сохраню, и в гражданской жизни буду носить, он вполне приличный, из добротного материала.

Партбилет мною уничтожен в момент перестрелки с немцами за 2–3 минуты до пленения. Никакой надежды на восстановление в рядах ВКП(б) у меня нет, хотя это мне не мешает оставаться большевиком-марксистом, ведь я окончил коммунистический университет за 13 месяцев пребывания в полосатой одежде политического заключенного германского фашизма.

Наш КУКС [так он иронически ассоциирует фильтрационный лагерь НКВД с КУКСом 1941 года] рассчитан на приведение в порядок распушенной и развращенной массы бывших пленных и прививание им элементарных навыков нормальной советской жизни.

(Ты отметил, как он — тебе показалось, что чуть заносчиво — отделил здесь себя от прочей массы заключенных этого лагеря.)

*Вышний Волочек. 21 ноября 1945 г.*

Я был освобожден американцами 5.5.45 г., а 29.5.45 я был уже у своих. 27 августа мы выехали из района Вены на родину. 40 дней мы были в пути, из них 24 дня я ехал на открытой платформе. Наконец, 5 октября прибыл в В. Волочек. Здесь я уже прошел все необходимые процедуры. Но почти 7 месяцев исключительного нервного напряжения, ожидания и, главное, неизвестность, — что же будет дальше? — сделали нас всех душевнобольными. Мимолетное изменение в обстановке — и мы уже в панике. Так было вчера. Нас перевели в другую часть. Условия жизни здесь хуже, чем в предыдущем месте — невообразимое количество клопов, теснота и грязь. Но самое скверное то, что все, видимо, начинается снова — все эти проверки, опросы, анкеты, списки, запросы и т. д. и т. п. Правда, уверяют нас, что 15 декабря этого года мы будем в подавляющем большинстве демобилизованы. Но временами овладевает сильное сомнение. Здесь гораздо строже и насчет свиданий с родными и совершенно нет отпусков в город.

*Вышний Волочек. 24 ноября 1945 г.*

Все кануло в вечность — для нас, бывших пленных, нет возврата к жизни, полной счастья и радости. Жить одному с самим собой невозможно — мы живем среди людей, а следовательно, жизнь моя будет отравлена пренебрежительным отношением ко мне со стороны окружающих.

Ты обратил внимание, что, несмотря на уныние и тревогу, в письмах к дочери он вернулся к нравоучительным наставлениям, известным по прежним письмам ей с фронта:

*Вышний Волочек. 6 ноября 1945 г.*

Тебе скоро исполнится 18 лет, ты уже почти взрослая (не обижайся, я намекаю на еще не сформировавшееся у тебя мировоззрение), и в этом я тебе окажу существенную помощь в недалеком будущем.

Я конечно приветствую и авансом отдаю тебе все свои аплодисменты, если доживу до счастливой минуты наслаждаться твоим пением в каком-нибудь театре [старшая дочь, видимо, написала о своем увлечении пением]. Остерегайся оценок молодых людей: они могут польстить тебе, будучи пристрастными к твоей молодости и красоте. Думаю, что и мое мнение будет не безразлично — я в музыке, как ты знаешь, немножко разбираюсь и, услышав снова твой голос через 4 года разлуки, обещаю дать тебе беспристрастную и строгую оценку.

*Вышний Волочек. 12 ноября 1945 г.*

Имея в виду, что к нам, бывшим пленным, отношение окружающих весьма отрицательное, ты не старайся навязывать кому-либо нашу дружбу и ни в коем случае не вступай в объяснения и в особенности в оправдания меня. Наступит время — я сам объяснюсь, с кем следует. Кто же из знакомых попробует осуждать, немедленно порви с ним всякое знакомство.

И еще ты неожиданно обнаружил в этой переписке мужа с женой возвращение к теме ревности:

Не ревнуй ни к кому, моя дорогая [очевидно, Анна Исаковна возбудила старую тему]. Твой старик, т. е. я, по каким бы дорогам и тропинкам ни шел, — неизменно приходит к тебе, и на твоей груди окончат последние дни своей несурзной жизни.

Незадолго до наступления нового 1946 года Николай Михайлович вернулся наконец домой.

В январе в жизни семьи случились два важных события.

Во-первых, после девятнадцати лет совместной жизни супруги оформили брак, при этом Анна Исаковна сменила свою девичью еврейскую фамилию на мужнюю русскую.

Во-вторых, семнадцатилетняя старшая дочь оказалась беременной. При этом ее вступление в брак не подразумевалось. Таким образом, рожденный в сентябре этого года мальчик попал в категорию «незаконнорожденных».

Из некоторых сохранившихся в семейном архиве документов ты узнал, что через четыре года у нее, тоже вне брака, родился второй ребенок. Это была девочка, которая прожила лишь несколько дней.

Наконец, оказалось, что вскоре старшая дочь вышла замуж, сменила фамилию. Сведений о том, кто был ее мужем, в семейной архиве ты не нашел.

Ты пополнил семейную хронику подробным рассказом о послевоенных перипетиях судьбы Николая Михайловича и его родных.

Ему как бывшему пленному не доверяли и сторонились при назначении на должности. Пришлось сменить несколько мест работы.

Он боролся за возвращение наград (как свидетельствовали некоторые сохранившиеся документы, Николай Михайлович за несколько мгновений до пленения успел вручить их на хранение местной жительнице, которая после освобождения ее дерев-

ни передала эти награды в местный военкомат) и за восстановление в коммунистической партии. Добился возвращения наград, а позднее — хоть не восстановлен, но заново принят в партию. После XX съезда партии было принято решение о реабилитации бывших военнопленных, и так он оказался, по существу, реабилитированным.

Анна Исааковна вместе с мужем ездила на его встречи с однополчанами.

В семейном архиве сохранилось множество документальных свидетельств того, как Николая Михайловича отыскивали его «друзья по несчастью» (так он называл союзников, с кем претерпевал заключение в фашистских тюрьмах и лагерях). Это были, в частности, поляки. Завязалась их систематическая многолетняя переписка, периодические взаимные поездки семей друг к другу...

Следуя за наличными документами, ты старался добросовестно, десятилетие за десятилетием, событие за событием, изложить перипетии жизни одной семьи и наконец составил такую хронику.

Насколько познавательной она оказалась для потомков?

Ты не знаешь.

Но эта семейная хроника оказалась неожиданным и печальным открытием для тебя — сына, внука, племянника — персонажей этой хроники, с которыми ты прожил свою жизнь.

Это открытие понуждало к ответу, как получилось, что ты ничего не знал:

о детских впечатлениях родных, бывших свидетелями и участниками драматичных перипетий начала двадцатого века;

о причинах их фанатичного увлечения большевистскими (коммунистическими) идеями;

каково было им, коммунистам, испытать исключение из партии в 1930-е годы на фоне массовых тогдашних репрессий;

о серьезном семейном разладе, настолько травматичном, что его обсуждению оказались посвящены два с половиной года переписки эвакуированных жены и дочери с воюющим на фронте мужем и отцом;

еще о многом-многом-многом, в том числе относящемся непосредственно к твоей жизни.

Почему ты никогда ни о чем не спрашивал?

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» Вот пытливый смельчак, который, не боясь, задает вопросы «дяде» (родственнику?).

Почему ты оказался не таков?

Почему?

## II

— Взгляните: они друг друга не любят!

— Отнюдь: они так любят.

*Из одного разговора*

Самое раннее детское воспоминание.

Тебе, вероятно, около двух лет.

Мама вынимает тебя, спящего, из кроватки, встает на колени, ставит тебя перед собой и истерически кричит своему отцу:

— Папа, не бей!

Наверное, именно с той поры ты стал трусливым плаксивым истериком. Или истерическим плаксивым трусом.

Про тебя говорили: «Вечно у него глаза на мокром месте».

Ты помнишь, как то и дело валялся на полу, навзрыд плакал и стучал по полу ногами и руками.

Так был труслив, что бабушка не могла уговорить тебя, пятилетнего, выйти во двор поиграть с соседскими детьми: толкнут, скажут грубое слово — обидят.

Боялся встать на коньки (каток на стадионе через мост от дома): упаду, разобьюсь. И правда: падал, разбивался.

Съехать на лыжах с горки? Нет, лучше, только начав катиться, на полпути упасть.

Никак не мог в детстве осмелиться слезать на ходу с двухколесного велосипеда — проще было свалиться на бок. Однажды испугался едущего сзади тебя грузовичка, запаниковал и, по своему обычаю, завалился. Благо водитель ехал так медленно, что успел затормозить прямо над тобой.

Грамотный психолог объяснил бы эту твою манеру всякий раз падать в тех-то и тех-то ситуациях «выученной беспомощностью» — есть, кажется, такой термин. Но никакой «выучки» эта «беспомощность» не имела: ты даже не представлял себе, не думал, что для тебя возможно иное, доступное другим.

Взрослея, неизбежно предстояло избрать какой-то вариант «превращения» или, как говорят, стратегии поведения. Ты помнишь, что приноковился действовать исподтишка. Инстинктивно? Кажется, да. Но и, например, примечая, как на твоих глазах мама и ее младшая сестра таскают у своего отца папиросы «Беломорканал» и, вылезая на мансарду, тайком курят. А ты, пятиклассник, тащил мелочь из карманов взрослых: неподалеку был кинотеатр документальных фильмов, билет стоил всего десять копеек, и ты, пригласив друга, тайком сбежал в кино. Думал ли ты о последствиях? Не-а, точно совсем не задумывался!

Стратегия «исподтишка» и не задумываясь, не задавая себе (и другим) вопросов, стала свойством многого, что ты совершал впоследствии в течение десятилетий своей жизни, что могло со стороны глядеться смелостью, но таковой отнюдь не было.

Тебя просят спрятать огромный архив самиздата — стенограммы судов над «диссидентами», разнообразные рукописные журналы, копии стихотворений запрещенных в стране поэтов, машинописную брошюру-инструкцию «Как вести себя на допросе» (в КГБ) и множество других укрываемых от обысков материалов. Ты без раздумий берешь их и тайно надежно хранишь.

По укоренившемуся свойству к потаенным действиям ты сберегаешь архивы эмигрантов — писателей, филологов: эти архивы запрещены им к вывозу из страны. Мелькнула ли хоть однажды мысль, что это опасно для тебя? Ты помнишь и знаешь: никогда!

Суд над твоим другом-историком. Тебе вручают диктофон: нужно тайком записать его «последнее слово» о положении историка в СССР (эту запись потом передадут другому твоему другу, который опубликует ее в парижской русской газете). Задал ли ты вопрос: почему это поручается тебе, а не тому-то или тому-то? Разумеется, не спросил. Ты понимаешь: друзья знают, что для тебя естественно выполнять подобные секретные («исподтишка») задания. А одолевать вопросами тебе несвойственно.

Вот комиссовали из-за крайней формы туберкулеза заключенного того же лагеря, где сидит осужденный твой друг-историк. Нужно посетить этого человека, получить информацию о друге. Конечно, именно ты должен с ним встретиться, расспросить и потом передать информацию общим друзьям.

Вскоре этот больной умирает. У него нет родных, его некому похоронить. Твои друзья «по традиции» поручают эту «миссию» безмолвному тебе. Там санитарка выходит в вестибюль морга и просит помочь одеть покойника: второй санитар запил и не в со-

стоянии работать. Ты в вестибюле единственный. Идешь помогать. Видишь крупный грубый шов вдоль всего тела покойного. Жутковато. Но, не задумываясь, делаешь все, что велит санитарка.

Не задумываясь.

\* \* \*

— Папа, не бей!

В последние месяцы жизни мамы нужно было стараться выводить ее из систематического полудремотного состояния, стимулировать работу мозга, разговаривать. В то и дело повторявшихся сюжетах ей нравилось подчеркивать: младшая сестра была маминой любимицей, а я — папиной.

— Лишь однажды, — утверждала она, — папа поднял на меня руку...

Ты свидетель: это было неправдой.

Почти всякое домашнее застолье прерывалось одинаковой сценой. Он выпивал три-четыре граненых стограммовых стопки. После того ему вдруг оказывалось что-то не по нраву. К примеру, чудилось, будто кто-то из дочерей произнес нечто по отношению к нему неуважительное. Тогда яростно стучал кулаком по столу, ругался, вскакивал с угрозами. Дочери и жена разбежались.

Сейчас, вспоминая свой детский страх, ты чуть ли не готов снизойти к его тогдашним истерическим выходкам. Мол: это конец сороковых — начало пятидесятых годов, он только что вернулся с войны, прошел немецкий концлагерь, советский фильтрационный, подавлен бытующим предвзятым отношением к бывшим военнопленным и еще многими другими обстоятельствами. Да, это нужно принять.

Но после того, как ты прочитал и изучил его письма к жене, дочери, служебные характеристики, видишь: это такой природный характер.

Всего лишь по прошествии полутора лет совместной жизни двадцатидвухлетний молодой человек пишет жене: «...ты более любящая сестра и дочь, чем жена и мать. Не прими это за упрек — это только логический вывод из всей нашей жизни, и ты это лучше знаешь, чем кто-либо другой. Но ты также должна знать, что имеешь дело с пороком, даже с динамитом».

В характеристике при демобилизации с Советско-финской войны наряду с положительными его свойствами ты читаешь: «В обращении к подчиненным допускал резкость и невыдержанность. Обладая энергией, настойчивостью является вместе с тем честолюбивым и критику воспринимает болезненно».

Его вспыльчивость была отмечена и в мае 1941 года, когда партбюро нового места работы снимало с него вынесенный ранее строгий выговор — все за то же.

Ты изучил партийные дела его и своей бабушки — его жены.

В 1933 году бабушка проходила многоэтапный процесс исключения из партии. Его тогда тоже исключили из партии: из-за жены, которая скрыла чуждое коммунистам социальное происхождение своего отца.

На одном из заседаний комиссии ее спросили:

— Почему у вас синяк под глазом?

— Попало поленом, когда колола дрова.

Может, ты зря приплетаешь это к делу... Но с чего это именно она колола дрова, а не муж?

Сейчас, прочитав в одной из его автобиографий, что он в шестилетнем возрасте, оказывается, остался без отца, а у матери на руках было в эту пору еще пятеро его сестер, ты можешь вообразить мальчика, сознавшего себя в тех обстоятельствах единственным

мужчиной — опорой семьи. Возможно, тогда сформировались его решительная уверенность в себе, не допускающее возражений упрямство и реактивная вспыльчивость.

Ну да, фантазируй теперь. У тебя было много времени, чтоб сообразить. Вот он ездит ежегодно на могилу своей матери — твоей прабабушки, и ты иной раз ездил вместе с ним, значит, мог спросить: кем был твой отец — мой прадедушка, — когда умер, где похоронен, почему ты не посещаешь его могилу?

Никогда не спросил. А теперь не узнаешь.

И не узнаешь — не поймешь теперь, — кто или что повлияло на него так убедительно, что в юном возрасте он стал фанатичным коммунистом: при первой, как видно, возможности вступил в партию и стал таким ее инициативным активистом, что в двадцатипятилетнем возрасте возглавил партком большого завода.

Ты прочитал его письма сороковых годов к жене и дочери с фронта и вспомнил, как в середине шестидесятых годов был на каком-то странном спектакле в Театре комедии. Там персонаж, объясняясь в любви, пафосно произносил, что для него семья — самое главное «после партии и родины». Время было такое, что на эти слова зал единодушно отреагировал приглушенным смехом. Теперь ты читаешь в тех письмах: «...я не собирался да никогда и не собираюсь забыть моих ненаглядных дочурок, мою гордость и самое дорогое после партии и Родины»; «...предан моей единственной дорогой семье, хотя семья и стоит у меня всегда на 3-м плане: на первом партия, а на втором Родина»; «...нет у меня ничего дороже, кроме родины и партии, как моя дорогая семья». Ты сопоставляешь эти «формулы любви» из сороковых и из шестидесятых годов и недоумеваешь: неужели это было универсальным коммунистическим пропагандистским клише?

Что тебе досталось теперь? Недоумевать.

После освобождения американцами заключенных фашистского Маутхаузена он вместе с другими многочисленными пленными и других концлагерей был заключен в один из советских фильтрационных лагерей.

Подобные лагеря начали создавать уже через полгода после начала войны: фашистские войска наступали, красноармейцы, попавшие в окружение или в плен, были заведомо объявлены предателями.

В конце войны было шестьдесят восемь таких лагерей с примерно двумястами тысячами заключенных.

Он никогда не рассказывал об этом лагере. Каждый год, отмечая 5 мая день рождения младшей дочери, провозглашался тост и за очередную годовщину его освобождения из плена. Дальше как-то невзначай вспоминалось: и в конце года вернулся домой. Где был в очевидном многомесячном промежутке — не обсуждалось.

И ты не интересовался.

Незадолго до кончины он написал воспоминания о пребывании в фашистских лагерях — примерно сто шестьдесят книжных страниц. О фильтрационном лагере — одна страничка.

Теперь ты прочитал его письма из этого лагеря. Например, такое:

«...почти 7 месяцев исключительного нервного напряжения, ожидания и, главное, неизвестность, — что же будет дальше? — сделали нас всех душевнобольными. Мимолетное изменение в обстановке — и мы уже в панике».

И сравнил с его словами в воспоминаниях о лагере фашистском:

«...обрел присущую ему (он писал в третьем лице) уверенность в себе и неукротимую энергию»; «кипучая энергия» — немного пафосно, но в актуальных характеристиках его тамошних солагерников (ты прочитал их в семейном архиве), хоть и другими словами, о нем так и говорится: был бесстрашным, энергичным...

Парадокс!

Задумался бы, так расспросил: почему советский лагерь оказался для тебя эмоционально страшнее фашистского?

Его письма из фильтрационного лагеря стали приходить среди осени 1945 года. До тех пор в семье считалось, что он пропал без вести.

Ты смотришь на фотографию семейного застолья. По-видимому, это 5 мая 1945 года, отмечается восьмилетие младшей дочери. Рядом с ее мамой сидит какой-то мужчина. Знает ли он о правилах этикета — мужчине подобает сидеть по левую руку от дамы — или интуитивно занял то место, на котором должен был, будь он дома, сидеть ее муж? Кто он, какова его роль в этой семье?

Кажется, мужа (отца) в ту пору уже не ждали.

Ты никогда не задумался о возможности узнать, что происходило в семье в то время; как каждая из вас встретила мужа, отца; какое, в конце концов, впечатление произвел вытатуированный на его руке — длинный, от локтя до запястья — лагерный номер 72214, когда и как он от него избавился...

Не знаешь и не у кого теперь спросить.

\* \* \*

— Папа, не бей!

Сейчас ты готов спросить: где в этот момент были, как реагировали его жена — твоя бабушка, младшая дочь — твоя тетя?

Не спросишь.

Да никогда и не спросил бы.

На разных семейных праздниках (кажется, в застольях в твои дни рождения) любили, ласково потешаясь («какой смелый был мальчик!»), вспоминать, как ты в четырехлетнем возрасте обозвал доктора. Тот ставил бабушке банки: подносил спичку вовнутрь банки и потом быстро резко прикладывал ее к бабушкиной спине. Ты наблюдал это и гневался, уверенный, что доктор делает бабушке больно.

Когда доктор, прощаясь, стоял в дверях, ты, глядя ему в глаза, зло сказал:

— Сволочь!

Ты воспроизвел одно из любимых бабушкиных слов, которым она то и дело «награждала» разных людей, не исключая и членов семьи.

Сквернословие было, ты помнишь, ее повседневным обыкновением, в том числе на родном, порой коверканном идише (дрек — говно; мэшугене копф — дурная голова).

Тебе, примерно двенадцатилетнему:

— Мальчик ты хороший, но характер у тебя говенный!

Попробуй спроси после этакого о чем-нибудь важном.

Да и не было уже тогда у тебя этой привычки.

Ты вспоминаешь времена, когда ей было уже за пятьдесят и больше. Теперь, снова перечитывая письма к бабушке ее мужа (с фронта!), ты можешь еще раз представить себе меру ее вспыльчивости и агрессивности в молодые годы: «Прочитав последние два письма от тебя я вспомнил всю нашу совместную жизнь, — а времени у меня на это вполне достаточно, — лежу с малярией, поэтому и пишу так плохо. И нечем хорошим вспомнить... Я тебя ни в чем не хочу обвинять, но я был вполне в „своей тарелке“, когда ты уезжала на дачу или на курорт, и в этом виновата только ты. За последние 3 года мы с тобой вместе прожили всего 8 месяцев — 28 месяцев я жил самостоятельной жизнью — это лучшие месяцы моей жизни, когда я не чувствовал копеечного контроля над собой, и никаких издевательств за каждый шаг, за каждое слово, за любое про-

явление моей жизнедеятельности! И не преступник я, а глубоко несчастный человек (просто человеку не повезло!), что имея двух горячо любимых дочурок, не питаю такой же любви к их матери»; «Уверен, что ты ничего не прибавишь к тому, что так ярко изложено в твоих письмах, разве только добавишь, разразившись очередной истерикой, к которым я так привык за 12 с половиной лет!»

По-видимому, это с самого начала оказался союз двух своенравных натур. Ты был свидетелем уже едва заметных следов их противостояния.

Тем временем, не стань ты таким безъязыким, спрашивать было о чем и следовало бы.

Ты ведь знал о еврейских погромах в ее родных местах. Знал, что за белыми вчеред налетали с погромами красные — будущие в том числе большевики (1-я Конная армия Буденного): расстреливали, взрывали, сжигали синагоги вместе с прятавшимися в них жителями.

Что бабушка, тогда двенадцатилетний подросток, помнила об этом?

Как сказались погромы, в частности Красной армии, на ее семье и не оттого ли родители прогнали ее из дому (ты прочитал автобиографическое свидетельство об этом в одном из ее партийных дел), когда узнали, что дочь ходит на собрания комсомольцев?

Что (или кто) привело ее, несмотря на противодействие родителей, к коммунистам?

Наконец: неприятие родителями и старшим братом ее замужества за русским — не следствие ли в том числе русских погромов, которые пережили родители и братья?

Ни о чем этом ты не спросил.

Сейчас очевидно: ты почти ничего не знал о бабушке — родном человеке, с которым (и вблизи которого) прожил больше сорока лет. И не попытался узнать.

Еще с семидесятых годов тебе стало во многих подробностях известно о репрессиях в СССР, особенно в тридцатые. У тебя была возможность спросить, например, что творилось в семье, когда, судя по прочитанным теперь тобой многостраничным ее партийным делам, весь 1933 год шел долгий процесс исключения бабушки из партии, мужа сняли с должности секретаря парткома завода и следом, заодно с ней, исключили из партии (забудь ты про «синяк под глазом»).

Это была так называемая «чистка» — третья из практиковавшихся периодически проверок лояльности коммунистов советской власти. Бабушка оказывалась виноватой по двум из шести «проверочных» позиций: скрыла на предыдущей (1929 года) чистке, что ее отец — мелкий собственник и эксплуататор, да к тому же, вопреки требованиям коммунистической этики, он проживал тогда в ее семье. Из доступных исторических источников ты узнал, что в той чистке исключили чуть ли не четыреста тысяч человек и больше трети посадили в тюрьмы и лагеря, а иных расстреляли.

Самый «доступный исторический источник» был рядом с тобой. Ты им пренебрег.

Не спросил: знала ли она о возможных последствиях чистки для себя; были ли подобные ситуации у друзей, знакомых; подвергся ли кто-то из них репрессиям?

Главное: неужто она считала справедливыми обвинения властью отца в том, что тот зарабатывал средства на жизнь семьи ничтожным индивидуальным промыслом, а партией — обвинения себя в том, что она не предала отца?

Промолчал.

\* \* \*

— Папа, не бей!

Он вернулся домой из фильтрационного лагеря (с войны!) в конце декабря 1945 года. И через месяц должен был узнать, что его старшая семнадцатилетняя дочь беременна.

Как сказано, в последние месяцы жизни ты выслушивал мамины рассказы, среди прочего, о том, что она была любимой дочерью своего отца. Здесь важно еще раз припомнить ее слова:

— Лишь однажды папа поднял на меня руку...

И продолжила:

— ...за то, что я отказывалась выйти замуж.

Любой — на твоём месте — тотчас бы спросил:

— За кого? Почему отказывалась?

Но ты — на своём — привычном тебе месте.

Не спросил.

Теперь ты представляешь себе эту картину. Ее отец, измотанный войной, лагерями — фашистским и советским фильтрационным, — через четыре с половиной года возвращается наконец домой и почти тотчас узнает, что его дочь беременна, а выходить замуж не желает.

(Кстати. Обнаружив в архиве свидетельство о браке ее родителей, заключенном 25 января 1946 года, то есть после девятнадцати лет совместной жизни, ты решил, что это было реакцией на июльский 1944 года закон, предписывавший всем «фактическим» супругам непременно зарегистрировать браки, указав время начала совместной жизни: до коммунистической революции брак был исключительно церковным, новая власть отменила его и с конца 1926 года законным стали считать «фактический брак», то есть регистрировать его было необязательно. Наверное, новый закон тоже был причиной регистрации ими брака. Но теперь тебе кажется вероятным, что в том числе и отказ беременной дочери выходить замуж повлиял на решение родителей оформить наконец свой собственный брак.)

В семейном архиве ты прочитал отцовское письмо, посланное дочери в родильный дом: «Очень рад и горжусь, что у меня родился внук, и именно внук, а не внучка! Я вас, двух девочек, уже воспитал (!!!), — с особым интересом и любовью, и не меньшей, чем к вам, моим дорогим дочуркам, воспитаю и внука, как своего сына».

Надо же: «записал» тебя в свои сыновья и имя твоё он потом в этом письме называет — ты, конечно, не знаешь, коли, по своему обыкновению, никогда не спросил, кто тебе это имя дал: он ли, мама, бабушка?

Что случилось с ним через примерно два года, когда он с кулаками набросился на дочь, требуя, чтоб она вышла замуж, а та в истерике, стоя на коленях, защищалась тобой, едва ли двухлетним, от гнева отца?

Неизвестно.

Не знаешь и о том, как получилось, что в конце концов ты стал называть своего дедушку папой и никогда потом в течение своей многодесятилетней жизни (ни в глаза, ни за глаза) не назвал его дедушкой.

Главный вопрос — к себе самому. Легко ведь было удивиться тому, что вы оба, ты и твоя мама, называете одного и того же человека папой, хотя очевидно, что он твой дедушка. Удивиться. И поинтересоваться: почему так?

Никогда не то что не посмел — мысли такой не было. Во всю твою жизнь.

С мамой произошло то, от чего отец за три года до этого предостерегал ее в письмах с фронта: «До меня дошли слухи, что ты стала пользоваться большой популярностью на КУКСе, и не только, как участница концертов, но и как большая охотница погулять с курсантами. Я хочу тебе еще раз напомнить, что в твоей жизни главным является учеба, учеба и еще раз учеба! Нагуляешься, успеешь! Ведь тебе еще только 14 лет! Ты еще не вышла из младенческого возраста, а уже погуливаешь со взрос-

лыми папашами!» И негодуя по поводу обсуждений женой с дочерьми его предвоенной измены (лишь сейчас ты узнал, что на протяжении двух с половиной военных лет эта тема была чуть ли не главной в переписке его с женой и дочерью, значит, то была для них всех тяжелая семейная травма), предрекал тогда же в одном из писем жене: «Сейчас [дочери] будут вопрос о нравственности решать так: если папка развратник, так почему же и им не пуститься „во все тяжкие“ лет с 14?»

Через три года — всего лишь — пророчество подтвердилось.

Ты помнишь: поздравляя тебя с тридцатипятилетием, мама вдруг «выдала»:

— А ведь у тебя могла быть сестренка.

Как ты прореагировал? Какие — уместные — вопросы задал?

Никак. Никаких.

Сейчас из сохранившихся в архиве писем ты узнал, что, по-видимому, летом 1950 года мама родила восьмимесячную девочку, которая прожила лишь несколько дней. От кого был рожден этот ребенок? Было ли у девочки имя? Ее похоронили? Где?

Тебе было тогда уже около четырех лет, но ты ничего не помнишь.

Зато помнится, например, как ты якобы уже заснул в своей кроватке, а слышишь, что мама, тут же, тем временем, говорит какому-то дяде:

— Удивительно, что женщина не чувствует тяжести, когда на ней лежит мужчина.

Помнишь, что мама тебя забирала с собой жить к какому-то Иванову: запомнил эту фамилию, потому что бабушка вслед маме кричала:

— С этим Ивановым ты долго не проживешь!

(Так и случилось: вскоре вернулись обратно домой.)

Теперь из семейных документов ты узнал, что мама, по крайней мере в пору, когда тебе было почти шесть лет, сменила фамилию и прожила впредь с этой новой десять лет. Присутствовал ли в твоей жизни этот новый «дядя»? Точно помню: не было никого, кроме мамы, папы-деда и бабушки. Значит, очередное мамино «приключение» — «во все тяжкие», как предрекал ей отец. Теперь ты пытаешься вспомнить, какой фамилией она расписывалась в твоём школьном дневнике, но припоминаешь лишь подпись папы-деда.

(Младшая сестра очевидно подражала старшей. Вот бабушка кричит в окно ей, двадцатилетней, бегущей по двору:

— Если ты идешь (к такому-то), домой не возвращайся!)

В конце концов в нетях остался твой вопрос маме: любила ли ты тех, от кого родила меня, рожденную и в младенчестве умершую дочку, мужчину, за которого вышла некогда замуж и фамилию которого носила десять лет?

На поминках по маме перебирали уйму ее фотографий. Вдруг обратили внимание, что нет почти ни одной, где ты сфотографирован вместе с ней на фоне какого-нибудь летнего пейзажа.

Ты помнишь, почему это так.

Каждое детское лето ты проводил сначала на детсадовской загородной даче, потом почти все лето — три смены — в пионерском лагере, но иной раз только две, потому что бабушка и папа-дед брали тебя с собой то на Украину (бабушка любила свои родные края), то на загородную съемную дачу.

Бабушка водила тебя в театр, благо была уполномоченной (так назывались штатные распространители билетов), то в Малый оперный, то в театр имени С. М. Кирова (бывший и нынешний Мариинский).

Папа-дед непременно брал тебя с собой на обязательные — два раза в год, весеннюю и осеннюю, — демонстрации (раскидаи, леденцовые петушки на палочке...).

Подростком ты уже самостоятельно ходил на музыкальные концерты, выступления чтецов — тебе они были интересны, потому что ты занимался художественным словом, выступал на конкурсах и в концертах.

Где была мама?

Двадцатипятилетний, уговаривая будущую жену выйти за тебя замуж, говорил ей:

— Дети мне никогда не будут мешать.

Ты всегда помнил эти слова. Только никогда не признавал, отчего они у тебя тогда так сложились. Лишь теперь, продумывая свою жизнь, ты наконец понимаешь.

Не сводишь ли ты здесь счеты с родными?

Нет! Ты пытаешься понять себя, свою бессмысленную подслеповатую жизнь.

\* \* \*

Однажды приснился сон.

Ты и мама сидите рядом, долго, тревожно ожидая, когда наконец выйдет человек, который объявит результат очень важного для тебя экзамена. Вдруг мама уходит. Ты ищешь ее и находишь веселящейся в какой-то компании. Возвращаешься и, как маленький ребенок, долго и навзрыд плачешь.

Евгений ПОПОВ

## МИН УС – МОЯ РЕКА

Русские пословицы врать не станут. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Россияне живут и не собираются пропадать. Они надеются. Мы все надеемся. Ведь это наша страна, и другой у нас в запасе не имеется.

Мне искренне жаль многих столичных литераторов, для которых жизнь ограничена пределами Садового кольца, и тех, кто из богатой палитры художника выбирает всего два цвета: черный и белый. Ведь жизнь наша, смею вас уверить, пестрит всеми цветами спектра, а люди — они не дьяволы либо ангелы, не «положительные» или «отрицательные» персонажи, а просто люди — со всеми их ошибками, глупостями, воспарениями, озарениями, падением и возвышением. В своих поездках я вижу не только то, как тяжело живет страна после очередного «великого перелома», но и то, что постепенно все заново срастается. Люди привыкают к новым обстоятельствам и — хочется этого кому или не хочется — жить стали ВСЕ РАВНО ЛУЧШЕ, свободнее, не испытывая гнета однопартийной системы, отчего у многих моих сограждан просто-напросто опускались руки.

Всем известно, что столицей нашей родины является порфиноносная Москва, второй столицей — Санкт-Петербург, третье место на этом пьедестале оспаривают Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород. Есть у нас и другие так называемые мегаполисы: Волгоград, Омск, Новосибирск, Красноярск, Владивосток. Жители их перманентно жалуются на городскую скученность, загазованность, автомобильные пробки, и я говорю им: хотите покоя, езжайте в сибирский город Минусинск. То же самое я рекомендую российским туристам, которые, кажется, уже удовлетворили свою страсть к «галопам по европам» и лицемерию некогда диковинных иностранных чудес. И любопытные иностранцы, уверен, сказали бы «Wonderful», «Shön», «Карашо», побывав в здешних экзотических краях.

Я впервые оказался здесь, когда в юности работал геологом и самостоятельно пробирался к месту расположения моей экспедиции. Зима, снег, застывший Енисей, деревянные дома, церкви, тишина, автобус будет лишь на следующий день. Зашел в крохотный ресторанчик перекусить и осмотреться.

Накрахмаленные скатерти, вкусные пельмени, тертые с чесноком помидоры, копия «Боярыни Морозовой» на стене, окна в плюшевых портьерах.

Но особенно поразил меня тогда надменный швейцар в бороде, сановитость и важность которого явно не соответствовали размерам и значимости этого ordinarily общепитовского заведения. Стояла в дверях прямо-таки статуя, английский лорд,

---

Евгений Анатольевич Попов родился в 1946 году. Писатель, драматург и эссеист, секретарь Союза писателей Москвы, один из основателей и вице-президент Русского ПЕН-центра. Автор более двадцати книг, переведенных на множество языков. Заслуженный работник культуры РФ, награжден орденом Дружбы.

а не швейцар! Но вот он встрепенулся и схватил за шиворот какого-то мужика в черном полушубке, накинутом на серую нательную рубашку с желтыми пуговицами.

— Ты куда же это лезешь, японец? — зашипел он на этого славянского, вернее, сибирского человека.

— А чё нельзя, ли чё ли? — отвечал мужик на местном диалекте великого и могучего русского.

— В исподнем зачем прешь в приличное место?

Мужик с укором посмотрел на него.

— Так я ж после бани, — логично объяснил он.

— А-а, ну тогда — другое дело, — подобрел швейцар и, к моему великому удивлению, мужика ПРОПУСТИЛ, чтобы тот свой законный стакан после бани ПРОПУСТИЛ, уж извините за такой невольный каламбур. С годами я тоже подобрел. По молодости лет эта сценка воспринималась мною как образец анекдотической русской дикости, а теперь, во времена глобализации, отчуждения и бешеных городских ритмов, я думаю, что это и есть гуманизм: войти в положение брата своего и не препятствовать ему в обретении мелкого счастья, даже если заключается это счастье в двухстах граммах водки, налитой в тонкий стакан толстой буфетчицей.

Первое упоминание о старинном городе Минусинске, расположенном к югу от Красноярска на границе с Хакасией, относится к 1739 году, когда русские покорители Сибири основали здесь деревню, ставшую после строительства церкви селом, а потом и городом.

Минусинск находится в центре Хакасско-Минусинской котловины, которая со всех сторон окружена горами. С юга — Западным Саяном, с севера — отрогами Кузнецкого Алатау, с запада — Абаканским хребтом, с востока — соответственно, Восточным Саяном. Лето здесь знойное, хотя зимой ртутный столбик термометра способен опуститься до минус 40 градусов. Эти места сибиряки гордо именуют «нашей Италией». Здесь — горы, ледники, водопады, ручьи. Здесь вызревают арбузы, виноград, абрикосы. А словосочетание «минусинские помидоры» является такой же устойчивой идиомой, как, например, «балтийская килька» или «бородинский хлеб». Примечательно, что первыми садоводами в здешних краях были декабристы, то есть те из них, кого не повесили, не отправили на каторгу, а просто-напросто сослали в эти, как виделось из столиц, Богом забытые места.

Декабристы, как известно, разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. Неудивительно, что к концу XIX века в маленьком городке было полным-полно других ссыльных «политиков». Утопический социалист Буташевич-Петрашевский, участники польских восстаний, народники, эсеры, анархисты... В 1898—1900 годах побывал здесь и сам товарищ Ленин, помещенный в село Шушенское, что всего в 56 километрах от Минусинска в сторону Тувы. По свидетельству тещи и других очевидцев, ссыльный Ильич получал от царских сатрапов 16 рублей пособия в месяц при тогдашней цене коровы 6 рублей, каждую неделю съедал барана, растолстел, катался на коньках, стрелял зайцев с местным фольклорным персонажем по имени Сосипатыч, венчался, был такой слух, в минусинской церкви со своей Надеждой Константиновной, пережившей его на много лет. Короче говоря, неплохо провел время и вдобавок сочинил здесь обличительную книгу под названием «Развитие капитализма в России».

А вот что писали про капитализм сибирские справочники конца теперь уже позапрошлого века:

«В отношении земледелия и скотоводства Минусинский округ занимает первое место в губернии и избытками своими снабжает Енисейскую губернию и ее золо-

тые прииски. В 1891 году под пашнями, паром и разделками находилось 233.000 десятин, засевалось яровой ржи 90.000 десятин, яровой пшеницы 60.000 десятин, овса 40.000 десятин. Затем шли озимая рожь, ячмень и греча. Покосов числилось 90.000 десятин. Собрано сена до 22 миллионов пудов. Хлеба собрано более 6 миллионов пудов. Огородничество довольно значительное. Разводится много картофеля, капусты, луку, репы, огурцов, арбузов и дынь, которые сплавляются на плотах вниз по Енисею в Красноярск и Енисейск. Посевы льна и пеньки с каждым годом увеличиваются... Скотоводство в цветущем состоянии... Лошадей числилось в 1895 г. до 186.500 голов, рогатого скота 102.460 голов, овец 350.000 штук, коз 11.120, свиней 26.340 штук. Коневодство развито в степных местностях, в особенности у инородцев и степных крестьян. Пчеловодство — до 18.000 ульев, дающих ежегодно до 2.500 пудов меда и до 500 пудов воску... Рубка и сплав леса по Енисею, постройка барок, лодок, плотов составляют значительный промысел... Из мелких лесных промыслов смолокурение, выжигание угля, сбор коры для дубления кож, ореховый промысел, добывание листовичной серы для жевания, столь распространенного среди женского населения сибиряков-старожилов и инородцев, занимают немало рук в притаежном населении... Кустарная промышленность ограничивается тканьем холста, плетением неводо и сетей, валянием войлоков и пим, шитьем тулупов... Звероловством занимаются инородцы и русские притаежных местностей... Предметом охоты преимущественно служат сохатые, изюбри, косули, кабарги, белки, рыси, медведи и изредка соболи... В селениях немало маслобоен для выделки масла из льняного и конопляного семени, кедровых орехов, подсолнухов и горчицы... Переселенческое движение с каждым годом возрастает; в последнее десятилетие переселилось из Европейской России по крайней мере 20.000 человек. В последние годы прилив вольных переселенцев достигает с лишком 3.000 человек в год...»

Дальнейшее, увы, известно. Революция, Гражданская война, «военный коммунизм», голодуха, нэп, раскулачивание, война, застой, перестройка и новое «развитие капитализма в России», которому нынче мы все с вами свидетели. История свершила круг, и мы снова в начале неведомого пути. Прадедушка Ленин, ау!

Но эта новая и новейшая история Минусинска всего лишь верхушка гигантского исторического айсберга, основание которого глубоко погружено в океан Времени.

Люди жили здесь с незапамятных времен. Минусинская котловина впервые попала на страницы исторических хроник еще в III веке до нашей эры, когда гунны завоевали эту часть Сибири, населенную прежде воинственным и таинственным народом под названием «динлины». Происходило это примерно в то же время, когда на Черном море появились древнегреческие колонии. Сейчас в это трудно поверить, но, как утверждают археологи, когда-то именно здесь, в районе Минусинска, находился исторический центр самых могущественных государств Центральной Азии. Здесь были дворцы, города, оросительные каналы. Здесь была древняя канувшая цивилизация, но государства рушились, народы исчезали с лица земли, кочевали, смешивались, трансформировались... Некоторые всерьез пытаются доказать, что в Хакасско-Минусинской котловине располагалась легендарная страна Гиперборея, чье население обладало такими выдающимися оккультными способностями, по сравнению с которыми кажутся примитивными достижения индийских йогов, изыски восточной философии, культуры. «Динлины» были бледнолицые, голубоглазые, рыжие, многие считают их предками всех нынешних европейцев. «Провинциальный Минусинск — колыбель Европы» — по-моему, неплохой «слоган» для инвесторов в экономику и культуру края.

Впрочем, почему «провинциальный»? Ведь именно здесь, в Минусинске, существует с 1877 года «жемчужина Сибири», известный во всем мире краеведческий музей, носящий имя своего основателя Николая Мартьянова, скромного провизора, который, приехав в Сибирь по контракту на три года, возлюбил эти края и остался здесь навсегда. Музей уникален, по отзывам специалистов, его археологическое собрание — одно из лучших в стране. Достаточно сказать, что коллекция древней бронзы мартьяновского музея содержит более десяти тысяч предметов, этнографическая коллекция — шесть тысяч, в естественно-историческом отделе — сорок три тысячи экспонатов по геологии, зоологии, ботанике. Хранятся в музее и пятьсот стеклянных пластинок-негативов, на которых изображены представители еще одного коренного населения здешних мест — минусинские татары, или хакасы, имеющие теперь свое государство, которое официально именуется Республика Хакасия в составе Российской Федерации. Столица его Абакан находится всего лишь в 12 километрах от Минусинска, там есть аэропорт, связывающий здешние места со всем миром. Лету в Абакан из Москвы чуть более четырех часов.

Хакас — купец, пастух, учитель... Хакаские праздники, хакаский быт, хакасская кухня, одежда... Поэтесса Наталия Ахпашева, живущая в Абакане, в конце 2023 года стала лауреатом Международной премии имени Фазиля Искандера, организованной Русским ПЕН-центром. И это, к счастью, не канувшая, а возрождающаяся цивилизация. Ведь не секрет, что советская власть низвела этот древний народ до положения второсортного, несмотря на все свои благие намерения и широковещательные декларации. Впрочем, в этом смысле большевики действительно были интернационалистами — худо от них было всем нациям, которых они ссылали сюда. Сибирские немцы, сибирские поляки, сибирские латыши, сибирские евреи перемешались с местным населением, внесли свой вклад в его культуру и обычаи, но и сами от него многому научились: выносливости, терпимости, взаимовыручке и одновременно с этим осторожному недоверию к ЛЮБОМУ начальнику, будь то царский урядник или советский коммунист.

Еще одна минусинская достопримечательность — драматический театр, который непрерывно функционирует в городе, страшно сказать, аж с 1882 года. Сейчас его возглавляет относительно молодой, но уже заслуженный режиссер Алексей Песегов. Выпускник Екатеринбургского театрального института, умница и интеллектуал, он сумел сделать так, что ходить в театр здесь стало хорошим тоном, а это, согласитесь, само по себе чудо в нынешние электронные времена, когда компьютер и попса для многих являются наркотиком. Каждая премьера становится в городе событием. Песегов — моден и востребован, однако упорно отказывается от любых предложений сменить место жительства и работы, вовсе не считая тихий Минусинск захолустьем и уважая преданных ему зрителей. Например, вот недавнее объявление: «Семьи лиц, принимающих участие в Специальной военной операции, могут посетить спектакли нашего театра бесплатно»...

Что еще здесь есть выдающегося?

Ну, вот День помидора придумали и отмечают его ежегодно в двадцатых числах августа. Жители соревнуются, чей продукт будет слаще да крупнее, и в прошлом году пенсионер Александр Терехов представил на конкурс собственноручно выращенный им плод весом в 2 килограмма 700 грамм, получив в качестве приза автомобиль «нива» с прицепом. «Чемпион» больше человеческой головы, и удержать его можно только двумя руками.

Энтузиаст нового типа Сергей Ошаров создал издательский дом, который является культурным центром для местной богемы: поэтов, прозаиков, художников, музы-

кантов и других сибирских творцов. Выходит прекрасно изданный журнал «Енисейская Сибирь» (Тува, Хакасия, Красноярский край), впервые была проведена книжная ярмарка.

Практически каждое летнее воскресенье вечером у городского фонтана устраиваются танцы под Муниципальный симфонический оркестр. Звучат вальсы, фокстроты, танго. Кружатся пожилые пары, а последнее время к ним все чаще и чаще присоединяется молодежь. Сначала ребята поприкалывались, теперь просто танцуют. В Минусинском колледже культуры и искусства имеется великолепный джаз, где юные, красивые сибиряки и сибирячки профессионально дуют в золотые трубы и саксофоны.

А в Шушенском проводится международный эзотерический фестиваль «Саянское кольцо», где исполнители разных стран и городов соревнуются в горловом пении и шаманском искусстве камлания.

За минусинской водкой и минусинским пивом гоняются покупатели. Говорят, что вода здесь какая-то уж больно особенная, мягкая, энергетическая. А хорошая вода – главная составляющая хорошей водки, не говоря уже о пиве.

Проблемы здесь, конечно же, есть, как и во всей России. Но проблемы эти РЕШАЕМЫЕ, а отнюдь не БЕЗНАДЕЖНЫЕ.

Короче говоря, несмотря на трудности нашего очередного «переходного» периода, минусинцы, которых всего-то насчитывается менее 70 тысяч человек, стараются держаться на плаву, чтобы выжить и сохранить сибирское достоинство. В ожидании лучших времен, которые, по их мнению, рано или поздно, но придут. Ну, не могут не прийти!

И вообще, если кто не знает, название «Минусинск» – вовсе не от арифметического слова «минус». Тюркское «МИН УС» означает «Моя Река».

Моя река, мой город, моя страна... Наша страна.

---

---

Мария БУШУЕВА

## ЕЛЕЦКИЕ МОТИВЫ

Говорят, в первые две минуты знакомства происходит обоюдное подсознательное сканирование. И если двое встретившихся людей не заточены на деловые и финансовые сделки, такое сканирование определяет их дальнейшие отношения: симпатию или антипатию, дружбу или стремление отдалиться, доверие или недоверие. Что именно сканируется: психология, биология, духовное, природное? — вопрос таинственный, любой научный ответ обрисует только грань многогранника, а остальные грани скроются в поэтическом тумане непознанного. И любовь с первого взгляда, которую романтики определяют как «узнавание родной души», тоже, несмотря на объяснения профессионалов, не поддается полной рациональной расшифровке. И внезапно возникшая любовь к незнакомому городу, улице, куда впервые забрел, речушке, вдруг увиденной детскими удивленными глазами, тоже остается в дымке предположений: почему их «узнало» и выбрало сердце. Можно найти лишь какие-то фоновые причины, иногда почти не фиксируемые сознанием: освещение, открытость или замкнутость пространства, что-то близкое из архитектуры, собственное настроение, совпадение каких-то штрихов реальности с внутренними образами, приятный запах цветов... Наверное, таким фоном нежного моего отношения к городу Ельцу послужил сам момент первого приезда в город и та душная преисподняя гари, с которой тихий чистый город так резко контрастировал. Дело было летом 2010 года, в самый пик лесных пожаров. Мы выехали из Москвы днем, висел густой сизый смог, постепенно сгустившийся до черного, и вдоль дороги в этой черноте горели адские костры. Когда машина вдруг вырвалась из дымового плена, показалось, что мы попали из царства Аида — в жизнь, тут же приоткрывшую свою простую истину — истину земной красоты. Все зеленело, и мне казалось, я слышу музыку листвы и травы, слышу дыхание легких летних облаков. Елец, окутанный для меня прозрачным свитком литературной истории (Бунин, Пришвин, Розанов...), сначала явил взору Вознесенский собор, и, много позже читая Пришвина, я даже не удивилась полному совпадению своего первого впечатления с пришвинским: «Город показался сначала одним только собором. Эта белая церковь в ясные дни чуть была видна с балкона, и что-то слышалось с той стороны в праздники, о чем говорили: „В городе звон“. Теперь таинственный собор словно подходил сюда ближе» (М. М. Пришвин. «Архиерей»). Все было точно так: мы ехали, и собор подходил ближе.

---

Мария Бушуева — прозаик, критик, автор нескольких книг прозы, в том числе романов «Отчий сад», «Лев, глотающий солнце», «Рудник», «Демон и Димон» («Проекции»), «Король. Главный конструктор», а также множества публикаций в периодике и в сетевых журналах («Москва», «Нева», «Знамя», «Зинзивер», «Дружба народов», «Наш современник», «Нижний Новгород», «День и ночь», «Сибирские огни», «Гостиная» (США), «Алеф» (Израиль), «Литературная Америка», «Новый континент» (США)). Стихи переводились на французский язык. Автор монографии «„Женитьба“ Гоголя и абсурд». Лауреат журнальных премий.

Поскольку Елец, город на холме, не был целью нашего путешествия, путь наш лежал дальше, не было у нас и азарта глотателей достопримечательностей. Случайность встречи определила легкость восприятия: первым заговорило чувство. И возникшее чувство оказалось столь теплым, точно здесь, на этих улочках, то взбирающихся на возвышенность, то стекающих вниз — перепады высот городского ландшафта весьма ощутимы, — жил кто-то из моих предков. Не поленилась и позже нашла на одном из краеведческих сайтов однодворцев с фамилией отца прапрабабушки. Родственники? Решила: скорее, однофамильцы, но все равно не исчезло ощущение душевной близости с этим когда-то пограничным уголком России. Между прочим, на том же сайте нашла и однодворцев Буниных. В XVII—XVIII веках большинство населения приграничных территорий составляли потомки служилых людей, «дети боярские», небольшая часть из них попала на службу по отечеству в Сибирь, большая — пополнила ряды однодворцев, о которых помним больше не по учебникам истории, а по «Запискам охотника».

Мальчик Ваня Бунин учился в мужской гимназии Ельца. Краснокирипичные здания, стены которых столь прочны, что спокойно пережили полтора столетия, архитектурная примета не только Ельца, но и многих деревень. Сохранились подобные постройки конца XIX — начала XX века и в Подмосковье. Бунин прожил около трех лет в более простом доме А. О. Ростовцевой на Рождественской улице. Меня всегда занимала переключка фамилий в культурологическом пространстве российской истории. И возле дома-музея вспомнилась критик и поэтесса Инна Ростовцева...

Елецкую гимназию блестяще окончил С. Н. Булгаков, будущий философ и богослов, отправленный Лениным из России на «философском пароходе», не отставал от Булгакова будущий академик Н. А. Семашко. Я уверена: Бунин обладал не меньшими способностями к учебе, но пробуждающийся дар, еще даже не угаданный его разумом, но уже исподволь управлявший его судьбой, оказался сильнее стремления коллежского регистратора А. Н. Бунина дать своему сыну подобающее среде образование. Иван запустил учебу, получил клеймо «тупоголового», нарекания за поведение — и гимназию покинул. Сейчас это школа № 1 имени М. М. Пришвина, по ироничному совпадению повторившего гимназический узор судьбы Бунина с литературно утрированным окончанием сюжета: на второй год Пришвина оставил учитель географии В. В. Розанов, он же активно поспособствовал исключению «малоспособного ученика». Позже Пришвин экстерном сдал экзамены за полный курс классической гимназии. Жизнь часто сигнализирует нам о подспудной связи случайных совпадений, о неких единых подводных течениях судеб, казалось бы, разных людей. Перечитывая Пришвина, думаешь с грустью, что ЕГЭ и заточенность на рейтинги способствуют конвейерному производству «успешных потребителей», а отнюдь не стремлению к раскрытию больших творческих дарований. Впрочем, и дореволюционная гимназия не разглядела в двух недисциплинированных двоечниках зарождающийся писательский талант. Напомню, что Бунин — лауреат Нобелевской премии по литературе того периода, когда премию давали именно за литературу, а Пришвин тоже — признанный классик. На вопрос, почему школа носит имя Пришвина, а не Бунина, ответил официант ресторана русской кухни, где мы обедали (еда была вкусной и красиво оформленной). Как выяснилось, причина в такой вот елецкой справедливости: есть дом-музей Бунина, это был первый в СССР бунинский музей, а пришвинского нет, потому школа названа в честь Пришвина. Музей Бунина скромный, однажды обворованный: вынесли личные вещи писателя, в том числе чемоданчик. Не знаю, заграничный, «нобелевский» или тот, с которым он покидал Россию. Не слышала и о возвращении украден-

ного. Тут самое время вспомнить известную поговорку: «Елец — всем вора́м отец» — и ради престижа города — бунинские мародеры, скорее всего, были птицы залетные — поискать корни ее происхождения. Одно из объяснений таково: Борис Годунов от имени царя Федора Ивановича в указе 1597 года ограничил период сыска беглых крестьян пятью годами, а тех, что убежали более пяти лет назад, предписал оставлять на месте их постоянного проживания. И в Ельце собрались беглые со всей страны, среди которых было немало людей разбойного склада. Но мы помним, что на Руси «ворами» звали не «татей», а бунтарей и государственных преступников. Так что, возможно, корни поговорки растут от крестьянского восстания под предводительством Ивана Болотникова: ельчане в восстании принимали активное участие.

Напомню, Елец — город с 1146 года! И пережил он многое. Рядом с Вознесенским собором расположена часовня, открытая и освященная в 1801 году. Это братская могила ельчан, ставших жертвами нашествия Тимура (1395 год). В 1606 году пострадали ельчане, выступившие на стороне Болотникова. Не знаю, имеет ли отношение село Хрущево-Левшино, в котором родился Пришвин, к С. Хрущеву, мужественно защищавшему казну царского посольства от захвативших Елец запорожских казаков гетмана Сагайдачного, разграбивших город (1618 год). Пытали царского чиновника, но ничего от него не добились. Думаю, никто не спросит: много ли таких чиновников в России сейчас...

Есть в Ельце дом-музей Т. Н. Хренникова, советского и российского композитора. Тихон Хренников в этом доме родился. Возможно, повлияла на него в детстве елецкая рояльная гармоника... Дом Хренникова — филиал Елецкого краеведческого музея. Другая примета города — интересный памятник иллюстратору «Повести о настоящем человеке» Н. Н. Жукову (надеюсь, не снесли?). Николай Жуков был широко известен как художник, сделавший более 400 рисунков на Нюрнбергском процессе, — отправили его туда от газеты «Правда». Между прочим, отец Жукова служил царским прокурором — и в этом тоже есть намек на историческую переключку судеб, в данном случае: отца-прокурора и сына, в определенном смысле оказавшегося художником-судьей. Елец с 8 октября 2007 года — город воинской славы, так что ельчанам памятник Жукову нужен.

...Вечером мы просто гуляли. Елец нам улыбался. Некоторые старые дома стояли на пересечении сразу четырех улиц: к советским названиям прибавлены таблички с дореволюционными. Это была инициатива краеведа Заусайлова В. А., потомка почетного гражданина Ельца купца первой гильдии А. Н. Заусайлова, которому город обязан некоторыми интересными зданиями. На средства купца была построена и красивая церковь Михаила Тверского и Александра Невского.

Названия улиц четко показывают смену курса истории:

- Монастырская — Демьяна Бедного;
- Архангельская — Свердлова;
- Большая Дворянская — Комсомольская;
- Староцерковная — Колхозная;
- Архангельская площадь — площадь Ленина.

Один деревянный дом так сильно покосился, что казалось, вот-вот упадет. Увидев нас из окна, вышел хозяин и крайне недружелюбным взглядом отреагировал на сочувственное внимание к его дому-инвалиду. Неприятное впечатление и сожаление о случайной своей неловкости тут же рассеялись, едва мы услышали зазвучавшие вальсы и поспешили узнать, что происходит. Оказывается, на берегу реки собрались люди — они танцевали. Было много пар «серебряного возраста», даже преклонного, вальси-

рвал с полноватой блондинкой весьма бодрый седой ветеран с орденскими планками на рубашке, были и молодые. Звучали советские мелодии, точно мы попали в годы своего детства. Это выпадение из современного времени я и потом улавливала в Ельце. Причем выпадение необязательно в период СССР, в городе есть и «зоны» других периодов истории. Кто-то, возможно, читал про неразгаданное явление, то ли атмосферное, то ли психологическое: человек в небе, точно на экране, видит картины сражения — идут полки, оживают эпизоды прошлой реальной битвы, которая отгремела очень давно и далеко от того места, где находится наблюдатель. Вот и мне над Вознесенским собором в облаках привиделись картины прошлого: крестный ход, стайка девушек-монахинь... Собор близок традициям русского зодчества, сложившимся до XVII века, и вполне объяснимо, что рядом с ним чувствуется аура прошлого, иногда сгущающаяся до призрачных очертаний. И еще в Ельце, несмотря на привычные городские звуки, обитает какая-то вневременная тишина. Особенно ощутимая зимой. В Музее народных ремесел и промыслов в руках тихой женщины оживала тишина белых кружев. И возникли такие строки:

Вы о парижках, а я о Ельце,  
о голубом крыльце,  
о девушке с родинкой на лице  
и — о ее отце,  
я их не знаю, их дни тихи,  
мать кружева плетет —  
они легко, как будто стихи,  
слетают на синий лед,  
и вторит им колокольный звон,  
и светит им чистый свет,  
а след их легкий, как тихий сон,  
поземкой машине вслед...

Если кто-то из ельчан, прочитавших эти заметки, возмущенно возразит: город всем не такой! Я вздохну и соглашусь: вы правы. Конечно, не такой. Ведь я рассказала про уголок своей души...

Лев БЕРДНИКОВ

## ЧУЛОК – ГОСУДАРЫНИ ВЕЩЬ

Вещь... да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек... Наконец слово для меня найдено... Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к хозяину...

*А. Н. Островский. Бесприданница*

Истинная дочь своих родителей — царственная, как Петр I, и простая, как ее мать Екатерина I, императрица Елизавета Петровна, воцарившаяся в 1741 году, заявляла: «В моей империи только и есть Великого, что я». В самом деле, не только ростом и статью, но и грандиозными планами она была вся в своего папеньку. Несмотря на приписываемое ей «диванными» историками легкомыслие, была она женщиной весьма практичной и с ранней юности взяла для себя золотое правило: окружать себя людьми простыми, абсолютно во всем ей обязанными, а потому и душой и телом беззаветно преданными. Одна беда: она панически боялась ночного нападения и зареклась ложиться спать до рассвета. А все потому, что она и сама некогда совершила дворцовый переворот ночью, а несколько ранее под покровом темноты был арестован и низложен регент империи герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон (1690—1772). Как и все узурпаторы, Елизавета была дамой опасливой (правда, в меньшей степени, чем Екатерина II). Страдая навязчивыми ночными кошмарами, Елизавета часто просыпалась и истошно кричала во сне. Опасаясь заговоров, она каждый раз спала в разных покоях, так что никто заранее не ведал, где же «оне возлягут». Более того, сия монархиня распорядилась отыскать надежного человека, который бы имел «тончайший сон». И по счастью, такого человека-сову отыскали. Секретарь французского посольства Клод Карломан де Рюльер (1735—1791) свидетельствовал, что им был простолюдин, который ежедневно (точнее, еженощно) проводил время в опочивальне монархини, сторожа ее альков. Речь идет о придворном истопнике Василии Ивановиче Чулкеве

---

Лев Иосифович Бердников родился в 1956 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института и Высшие библиотечные курсы. Работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где в 1987—1990 годах возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. В 1985 году защитил диссертацию «Становление сонета в русской поэзии XVIII века». С 1990 года живет в Лос-Анджелесе. Автор девяти книг и нескольких сотен публикаций в России, США, Канаде, Англии, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине, Беларуси, Молдове. Тексты Л. Бердникова переведены на иврит, украинский, датский и английский языки. Член Русского ПЕН-центра, Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Союза русскоязычных писателей Израиля. Член редколлегии журналов «Новый берег» (Дания) и «Семь искусств» (Германия), зам. главного редактора журнала «Слово/Word» (США). Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации «По Руси. Историческая публицистика». Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда им. Булата Окуджавы.

(1700–1775). Этот, как его называли, «старик» (хотя на самом деле он был старше Елизаветы всего-то на девять лет!) был выбран охранником из-за того, что обладал способностью просыпаться от малейшего шороха. То был один из самых странных персонажей российской истории, о котором даже в наши дни стесняются говорить многие историки. А в тогдашней Европе шептались, что в спальне Елизаветы, в углу, на тюфяке, он дремал даже тогда, когда та принимала очередного фаворита.

Несмотря на не вполне аристократическую фамилию, Чулков плебеем не был. Он происходил из старинного именитого рода, пращуром коего считался некий Ратша, выходец то ли из Германии, то ли из Литвы, поступивший на службу к русским князьям еще в конце XII века. Между прочим, этот самый Ратша был и предком Пушкиных. А его праправнук Григорий получил прозвище Чулок, вот и все его потомки стали именоваться Чулковыми. В родовых дворянских книгах можно встретить указание, что прадед Василия, Иван, жил в Москве и в 1619 году был награжден именем. Другой родич Василия Ивановича, Климент Чулков (ум. 1725), при императоре Петре I был сначала стольником, а затем руководил оружейными заводами в Туле.

О семье самого Василия положительных сведений нет, разве что, похоже, что именно с ним соотносится колкая русская пословица: «Отец твой – Чулок, мать – Тряпица, а сам ты что за птица». Известно, однако, что в годину Петра Великого он (равно как и его родитель Иван Чулков) был самым что ни на есть «простым служителем». У нашего героя было два брата: Степан и Егор, а также сестра Анисия. Исследователь Владимир Сединкин уточнил, что Василий «с 12 лет (!) занимался топкой печей и отопительных котлов во дворце», что в сочетании с замечательной способностью очень чутко спать помогло ему при дворе сделать карьеру и фортуны.

Чрезвычайно рано он обзавелся семьей. И вот по какому случаю. Согласно «Указу о единонаследии» (1714, 1722), в России был принят к руководству запрет на ранние браки: для жениха устанавливалась нижняя граница в 20 лет, а невесты – в 17 лет, тогда как Василий Иванович сочетался браком в 16 лет (!), а его суженая «осупружилась» в 22 года. «До времен Петра, – пояснил правовед профессор Московского университета Владимир Никольский, – у нас не было твердого, положительного определения возраста для вступления в брак. Правда, источники нашего древнего права предполагают для сего различные возрасты, а именно: 12, 13 и 15 (Митрополит Фотий, Эклога); 14 и 12 (Прохириоп); 15 и 12 (Стоглав); но лета эти не соблюдались на самом деле: наши предки любили рано женить своих детей и не обращали внимания на возраст, лишь бы представился добрый случай». А дьяк Посольского приказа, беглый Григорий Котошихин (ок.1630–1667) был куда более категоричен: «Несовершеннолетних женихов с возрастными девками отнюдь не венчать; а ежели будут такие браки повенчаны, велено их расторгать». Впрочем, обряд этот носил скорее рутинный характер: жених добивался согласия родителей, и только потом происходило объяснение с невестой; романтические же отношения между молодыми до брака считались нежелательными. Однако русская молодежь осуждала строгость этих требований, считая это следствием необразованности старшего поколения. Кроме того, дворянские свадьбы сохраняли тогда прочную связь и с русскими народными традициями. Нарушение брачного канона могло произойти и с ведома некоего авторитета из высшего начальства, вплоть до инициативы самого Петра Великого. Ведь избранницей Василия Чулкова стала чуть ли не вековуха Дарья Брюхова (1694–1776). Происходила она, однако, из старинного, восходящего к началу XVI века дворянского рода и вращалась в высших кругах (ее племянник Семен Брюхов, которому достанется впоследствии московский дом покойного Чулкова, был выпускником балетной школы Жана Батиста

Ланде и выступал на придворной сцене при Екатерине II). Дарья была шестью годами старше мужа. И несмотря на все кажущиеся препоны, трудно отыскать в XVIII веке пару столь дружную и гармоничную. Достаточно сказать, что эта пара благополучно дождала чуть ли не до бриллиантовой свадьбы: ведь адамант, как известно, считается самым прочным и одним из самых ценных минералов. Брак их, по тем временам весьма редкий, словно баснословный Феникс, продержался 59 лет и отличался завидной крепостью. За годы, прожитые вместе, наши супруги накопили серьезный материальный и духовный капитал. Чадолубивые Чулковы воспитали пятерых детей (трех сыновей и двух дочерей).

Добавим к сему, что, как и его царственная хозяйка, Василий был человеком богомольным и свято соблюдал все церковные обряды. Он общался и вел оживленную переписку со многими видными российскими иереями; особенно же сблизился с настоятелем московского Златоустовского монастыря архимандритом Лаврентием (ум. 1758). Последний был надзирателем за благочинными священниками «Китайского сорока» в Москве, состоял членом следственной комиссии о раскольниках и безжалостно наказывал за крещение двуперстием. Известно, что в 1742 году сей монастырь вместе с Чулковым посетила державная хозяйка Елизавета Петровна и пожаловала 2000 рублей на постройку новой каменной церкви. Этот монастырь — увы! — будет потом полностью уничтожен большевиками. В фондах Сергиево-Посадского музея-заповедника хранится записка старца Лаврентия о посылке в дар иноку Василию серебряной коробочки-мощевика. «Небольшой серебряно-позолоченный футлярчик в виде коробочки» долгое время находился в ризнице Спасской церкви вкупе с сопроводительной «запиской старинного письма». В принадлежавшем Чулкову с 1722 года селе Гагине, что в Дмитровском уезде Московской губернии, поставили каменную церковь Великого Спаса с большим медным колоколом, снабдили ее ризницей, богатейшей утварью, замечательной по своей ценности и древности (здесь хранились, в частности, 70 мощей разных святых). В этой церкви было устроено три престола: с приделом великомученика Дмитрия Солунского, в честь Казанской иконы Божией Матери и во имя великомученицы Параскевы Пятницы. Храм был построен в стиле зрелого барокко и являл собой пример редко встречающейся в русской архитектуре шестистолпной базилики. Позже, вокруг этой самой базилики, выросло село и стало называться Спасское-Гагино, а в приходе его значились деревни Яковлево, где Чулковыми была построена деревянная часовня Ильи Пророка (разрушенная уже в советское время), а также Гальнево, Истомино, Терпигорево, Сурупцево, Шеино, Путятино. Курьезно, но в главном храме этих мест будет впоследствии венчаться великий Федор Шаляпин. В советское время церковные здания, однако, сильно разрушились. От Спасской же церкви сохранились разве только остатки стен, и использовали ее не иначе как склад химических удобрений.

Василий и Дарья всю жизнь шли вместе рука об руку и оказались рядом даже за гробовой доской, в той самой фамильной Спасской церкви. Начать с того, что тело самого храмоздателя погребено на правой стороне, при входе в сию церковь, под столбом. К столбу же прибита медная доска, на коей выгравированы памятные стихи, подводящие итог земному бытию четы Чулковых. Замечательно то, что оба они ушли из жизни с разницей ровно в год: он почил в Бозе 4 июня 1775 года, она — 4 июня 1776 года. Не знаменательно ли таковое совпадение у супругов, тем более единомышленников? Важно то, что Дарья всегда относилась к своему благоверному с пиететом и в память о дражайшем супруге заказала у доморощенного пиита панегирическую стихотворную эпитафию:

Воззрите, смертные, своими днесь очами,  
Загладьте место вы прежалкими слезами!  
Бессмертной славы муж повержен здесь лежит,  
Молчанья вечного приняв спокойный вид.  
Закрыв свое лицо, Отечества любитель,  
Императрицы Елизаветы Петровны раб и вернейший служитель,  
За многие труды кой назван камергер,  
Был аншев-генерал, великий кавалер.  
Препровожая жизнь, хранил он добродетель,  
Для бедных и сирот усердный благодетель,  
Он ближних, как себя, любил и почитал,  
С законом Божиим согласно поступал...  
Да будем помнить мы, что здесь Василий Иванович лежит Чулков.  
В 700 году от матери рожденный,  
Восьмнадцатом же служить определенный,  
В 1775 год похитил и сразил для всех любезный плод,  
Четвертое число июня показал  
И по полудни во 2-м часу жизнь его скончал.

Видно, что Чулковы во главу угла всегда ставили интересы державы, материализовавшиеся в культе «божественной монархии». И почитали себя не только ее вернейшими служителями, но и нижайшими рабами.

Толковый и расторопный, Чулков скоро привлек внимание Елизаветы. Известно, что уже в 1718 году он всячески обихаживал грациозную девятилетнюю цесаревну, старался ей потрафлять. Писательница Елена Арсеньева в повести «Царственная блудница» (2009) повествует: «В ту пору, когда ее чаще звали Елизаветкою, не было у нее друга верней и няньки нежней, чем этот молодой человек, служивший в полунищем дворце истопником... Никто лучше не мог так мешать веселые, а порой и похабные сказки (а Елисавета была до них большая охотница) с их вещественным и весьма умелым осуществлением. Поговаривали даже об их кратковременном романе, еще в ее бытность цесаревной». Та же Арсеньева будто бы подсмотрела и в лицах живописала характерную сцену: «— Как же сладко поешь ты, Васенька! — прерывисто вздохнула женщина. — А все одно: страшно мне, маятно! Жарко натоплено, а все дрожь бьет дрожкою. Согрей меня, Васенька. А? — Воля твоя, — покорно отозвался Васенька, — как велишь, так и сделаю. — Проворно, нога об ногу, он сбросил валенки и мигом взобрался на высокую кровать, очутившись среди такого множества подушек, подушечек, вовсе уж маленьких думочек, что затаившуюся меж ними женщину пришлось искать ощупью. Впрочем, сие дело было для Васеньки привычное, и спустя самое малое время беспорядочная возня на кровати сменилась более размеренными движениями. Шумное дыхание любовников, Впрочем, изредка перемежалось еще не утихшими всхлипываниями, как если бы женщина еще не вполне успокоилась и продолжала оплакивать свою долю». Но как бы там ни было, Чулков не превратился в отчаянного ревнивца, не пользовался альковными секретами, что становились ему ведомы, но навсегда сумел остаться заброшенной царевне верным другом и товарищем. Впрочем, вопрос о возможных ночных амурах наших визави остается открытым, особенно если разглядеть в Чулкове образцового мужа, семьянина, отца семейства. Другое дело, глубокая привязанность между этими двумя, всемерно усиливавшаяся со временем. Отмечалось, что успех пришел к Чулкову «благодаря упорному и усидчивому труду на ниве обеспечения комфорта (хотя слово это суть англицизм и войдет в русский

язык только в XIX в.!) императоров и императриц». И это при том, что современники считали его персоной без особых дарований: не отличался он ни образованностью, ни остроумием, не вышел ни ростом, ни фигурой и, как изъяснялись тогда, «был слишком прост». Но зато обладал нравом покладистым и спокойным. Портретов Чулкова до нас не дошло. Тем более сомнительны любые «точные» детали его внешности. Так, один современный блогер изобразил его «курносым, рыжим парнем, который... быстро заслужил полное доверие принцессы». И важно то, что боязливая Елизавета доверяла ему самое дорогое, что у нее было, — жизнь.

Немецкий историк Георг фон Гельбиг охарактеризовал Чулкова «низкорослым и безобразным», что резко выделяло нашего героя среди прочих монарших фаворитов — мускулистых красавцев, богатырей отменной стати. А в сентябре 1731 года цесаревна отдала под его команду свой гардероб, назначив его камердинером. Как отмечает историк Константин Писаренко, «камердинерская должность способствовала росту высочайшего доверия, которое позднее подняло безвестного слугу на недосягаемую высоту». И хотя, по общему мнению, грамотеем он не был, но зато своей преданностью, немногословностью и ненавязчивостью постепенно заслужил полное доверие императрицы. Его незатейливый, мягкий, «домашний» облик служил ей отдушиной на фоне неискренности и показного блеска придворных.

Сам Александр Герцен говорил о душевной отзывчивости Василия, о его неукротимой потребности творить «добрые дела». В качестве подтверждения сему он привел одно «трогательное семейное предание». Оказывается, Чулков был пестуном и воспитателем приходившейся дальней родственницей литератору Филиппу Вигелю (1786—1856) Мавры Лебедевой (1752—1830) — это он ее «вспоил, вскормил, берег и лелеял, оставил ей пример своих добродетелей». Так что многие домочадцы не уставали благодарить Провидение, что семье их был ниспослан Чулков, «как будто, для того, чтобы дать защиту круглой сироте». Да и другие отзывы о нем современников были более чем благоприятны: «Я знал людей, кои помнили еще царствование Елисаветы Петровны, и со слезами умиления вспоминали об нем».

Истово преданный Елизавете, Василий Иванович в 1739 году уже де-юре становится наново ее придворным истопником. Под его ответственностью находились все печи и каминь, а также заготовка дров, чистка дымоходов, разные прочие дела дворцового печного хозяйства. Надо иметь в виду, что должность истопнического — царедворца, следившего за чистотой покоев, существовала еще в Московской Руси. В «Лексиконе Российском историческом, географическом, политическом и гражданском» Василия Татищева (составлен в середине века, издан в 1793 году) читаем: «Истопник, чин придворный, одни названы комнатной, другие просто, и первые то ж самое, что ныне камер-лакеи... часто от государя к знатым с подачами и приказами посылались; а просто истопники должны были топить покои и внешнее содержать в чистоте». В другом месте читаем: «Истопник, постоянно пребывавший возле печей, был слишком грязен, чтобы быть допущенным к августейшей руке». В щегольстве Василий Иванович особо замечен не был, зато отличался необычайной опрятностью, что для такого «простого истопника» с его нехитрым скарбом вызывало, по крайней мере, неподдельное удивление. Среди особенностей характера Чулкова придворные мемуаристы отмечали также его немногословность (если не сказать молчаливость), ненавязчивость, прямоту, умение быть «всегда под рукой», острый слух и бесшумную «кошачью» походку.

По словам филолога Александра Ошовата, в отечественной культуре XVIII века формируется представление об истопнике как о человеке, «делающем карьеру за счет

повседневного контакта с августейшими особами и неразборчивости в средствах; в условиях же женского правления такое возвышение намекало на готовность к услугам специфического интимного рода». Князь Петр Долгоруков (1816–1868) приводит в пример буффона Алексея Милютин (1673–1755), который, входя в покои Анны Иоанновны, раболепно «простирался на полу и целовал ее ногу, а затем делал то же самое с ногами Бирона». Впрочем, этот самый Милютин служил придворным истопником еще при царе Иване Алексеевиче и царице Прасковье Федоровне. Характерно, что в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790) Александр Радищев приводит «послужной список» некоего ловкого асессора (не Милютин ли?): «Начал службу свою при Дворе истопником, произведен лакеем, камер-лакеем, потом мундшенком; какие достоинства надобны для прехождения сих степеней придворныя службы, мне неизвестно!» Как и всякий дворцовый служитель, он, входя в комнату, даже если он пришел со стаканом воды, целовал руку императрице, чем, видимо, весьма умасливал Ее Величество. Та соизволила изготовить для него достойный дворянский герб: «три серебряные вьюшки, окаймляющие золотой шеврон на голубом поле». Эти вьюшки суть не что иное, как печные трубы. Потому на гербе Милютиных они помещены в щите на лазоревом поле, а между ними – золотое стропило. Сам щит увенчан дворянским шлемом, лазоревый намет на нем подложен золотом и серебром. Так Милютин получил грамоту на дворянство, а затем ему и его потомству был пожалован титул графа.

Вот и один третьестепенный поэт, некий В. Гаркуша в «Отрывке из современной повести» (Сын Отечества и Северный архив, 1831. Ч. 141. Т. XIX. № 17) тоже поведал о головокружительной карьере некоего преуспевающего царедворца:

...истопник в чины пробрался,  
Жил, нажил дом, а все служил... —  
Потом с столицей распрощался,  
Дом продал и крестьян купил.

В окружении Пушкина непосредственно сведения о Чулкове мог распространять все тот же Филипп Вигель, как раз в 1830-е годы работавший над своими мемуарами: «Родившись в низком состоянии, он, неизвестно как, попал в придворные истопники на половину цесаревны Елисаветы Петровны; по усердию своему сделался ей известен и служил, как божеству, дочери Петра Великого. Почести на него посыпались с ее воцарением». В «Капитанской дочке» (1836) А. С. Пушкина была выведена племянница придворного истопника Анна Власьева: «Разговор [ее] стоил нескольких страниц исторических записок и был драгоценен для потомства». А в XIV главе дочь капитана Миронова Марья Ивановна, добравшись до Софии и узнав, что Двор пребывает в Царском Селе, решила остановиться в почтовом дворе. «Жена смотрителя тотчас с ней разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни».

Когда же Елизавета Петровна взошла на российский престол, Чулкову придумали специальную должность, на которую тот заступил в феврале 1742 года, — метерде-гардероб (гардеробмейстер) с немалым жалованьем (788 рублей). Теперь его прямые обязанности состояли как раз в том, что он истово служил императрице, преимущественно в ее опочивальне, где бережно хранил ее сон. Кроме того, он выполнял и разовые монаршие поручения. Так, «Ея Императорское Величество соизволила указать из имеющейся в Коллегии Иностранных Дел мягкой рухляди взнесть в ком-

нату Свою один мех лисий душчатой черной, в 700 рублей. И того ж числа вице-канцлер приказал оной мѣх отвезть во дворец... и отдать метр-де-гардеробу Чулкову».

Но перенесемся в старину-старинушку. Если говорить об охранителях царского алькова былых времен, то имеются все резоны обратиться к отечественной историко-культурной традиции. Приходит на ум придворный чин спальника в Русском государстве в XV—XVII веках. Таковой находился в подчинении у постельничего и дежурил в комнате государя, раздевал и одевал его, сопровождал во время поездок и т. п. Хотя в отличие от возрастного Чулкова спальниками становились, как правило, люди молодые, знатного происхождения. Они пользовались особой близостью к государю, именовались комнатными или ближними боярами. Но дадим вновь слово Григорию Котошихину: «Спальники — которые сидят у царя в комнате посуточно... и бывают в том чину многие годы, и с царя одеяние принимают и разувают; а бывают в тех спальниках изо всех боярских и окольных и думных людей дети, которым царь укажет, а иные в такой чин добиваются и не могут до того придти и, быв в спальниках, бывают пожалованы больших бояр дети в бояре, а иных меньших родов дети в окольные, кого чем царь пожалует, по своему рассмотрению».

Что же до Франции эпохи «короля-солнца» Людовика XIV, то здесь особую роль играл первый камердинер (некто вроде должности Чулкова при Елизавете). Он участвовал в ритуале вставания монарха с постели: в восемь часов он будил повелителя, спал у подножия его постели и был готов удовлетворить его малейшие желания и потребности. Чтобы сей камердинер не спал, он привязывал себе на запястье ленточку, а другой ее конец — к кровати короля. Так монарх мог посреди ночи потянуть за ленту и попросить, например, воды или же ночную вазу.

А в викторианские времена камердинером (англ. «valet») называли личного слугу, ассистента именитого господина. Тот помогал хозяину одеваться, собирал в путешествия, прислуживал за столом и выполнял множество прочих обязанностей, занимая при этом особое положение и довольно высокий статус. И господин, и его лакей были, что называется, не разлей вода, и близость эта выражалась как в физическом смысле (имел доступ к комнатам, гардеробу и личным вещам лорда), так и духовном (слуга и его хозяин много времени проводили вместе, привыкая друг к другу). Зачастую иные слуги даже не имели права зайти в комнату хозяина без разрешения и присмотра камердинера. Здесь надо иметь в виду, что российские императрицы, будучи немками по происхождению, привозили камердинеров со своей родины. Как правило, число таких «привозных» слуг было ограниченным, но поскольку все они оставались при дворцах, то со временем в дворцовом штате появилось много слуг с немецкими фамилиями. Не то натуральный русак Чулков. Как это подобало нашему доморожденному камердинеру, он с детства ухаживал за будущими царями. То был традиционный тип «дядьки» при ребенке, подростке, юноше, а затем и царе. Между царем и камердинером устанавливался особый род «полусемейных» отношений, когда камердинер наедине мог ругнуть или же поворчать на своего высокопоставленного патрона.

О Василии говорили, что много лет он вообще не ложился в постель. Утверждение явно спорное, если принять во внимание его образцовую семейную жизнь. Есть основания думать, что и супруга его Дарья весьма дорожила «верной» службой мужа и относилась к ней с придыханием. Как бесценная реликвия, в семье Чулковых десятилетиями хранилась золотая медаль с изображением оскалившего зубы сторожевого пса, загораживающего собой дверь, что знаменовало собой надежную защиту от любых недоброхотов. Поговаривали, что то был подарок самой монархини. Пожалованный со временем в камергеры (1751) за безукоризненное исполнение особо интим-

ных обязанностей стража алькова, он каждый вечер появлялся с матрацем и двумя подушками, чтобы провести ночь на полу у государыни. Легкая дремота на кресле (называемом в просторечии топчаном или тюфячком) была для него вполне достаточным отдыхом. Так со временем из «друга сердечного» он превратился в верного помощника.

Перед отходом ко сну, обыкновенно в пять часов утра, в спальню Елизаветы Петровны навевались подруги и ближние статс-дамы, такие, как влиятельная Мавра Шепелева (1708–1759). О ней говорили, что та искательна с вышестоящими, заносчива, груба и надменна с подданными. Согласно отзывам ее современников, она «была зла, как диавол, и соответственно корыстна». За натуральное свое уродство она именовалась «ведьмой огурцом», особенно же когда открывала свой «зловонный рот». А вот кузина монархини, жена канцлера Анна Воронцова (1722–1775), напротив, слыла необыкновенной красавицей. «Графиня прелестна: чем больше ее видишь, тем больше любишь», — отзывалась о ней позднее Екатерина II. Однако Воронцова слыла модницей и шеголихой, к тому же любила «закладывать за воротник». Отличалась и тем, что выбалтывала петиметрам-иноземцам государственные секреты. Еще одна наперсница — вдова адмирала Ивана Головина Мария (в девичестве Глебова), женщина злобная и корыстолюбивая, к тому же заядлая сплетница. Курьезно то, что она приходилась родной сестрой злосчастного майора Степана Глебова, которому довелось побывать любовником первой жены Петра I Евдокии Лопухиной. Петр насильно постриг постылую Евдокию в монахини, а охальника Степана посадил на кол в 1718 году. И все эти окружавшие императрицу бой-бабы ублажали Елизавету тем, что усердно чесали ее августейшие пятки. Была тогда такая профессия на Руси — чесальщица монарших пяток, уж в этом-то деле Ее Величество толк знала. Она настолько любила комфорт (впрочем, этот англицизм станет в популярным позднее, в начале XIX века), что за право доставить ей наслаждение придворные отчаянно боролись. Право почесать ноги государыни нужно было заслужить — и при дворе шли нешуточные интриги. Столь высокой чести удостаивались лишь избранные.

Помимо всех этих непременных наперсниц, монархиня распорядилась отлавливать на площадях женщин из простонародья, «не гнусного вида», языкастых, непременно оригинальной и забавной наружности, а те потом обступали ее ложе. Образовался целый штат записных кумушек-интриганок, сплетен и злословия которых опасались даже самые титулованные особы. «У всех этих женщин была возможность, пересказывая всякие сплетни, оказывать услугу своим друзьям или повредить врагам; из этих сплетен возникали многие состояния и прерывались многие жизни; поэтому этих полуночниц щедро оплачивали самые знатные вельможи», — откровенничал мемуарист. Императрица, чтобы дать им свободу говорить между собою, иногда притворялась спящею; но не укрылось это от сметливых баб. Последние подкупали первых, чтобы они, пользуясь мнимым сном императрицы, хвалили или хулили, кого им надобно, в своих шушуканьях. Эти бессовестные наушницы до того досаждали правдолюбу — «строгому контролеру» Чулкову, что тот обзывал их в сердцах «гнусными тварями» и поносил такими словами, «которые во дворце слышать бы не должно было», — гнал их вон и «успокаивал рождающиеся подозрения добродушной царицы». При этом даже со статс-дамами особо не церемонился. Когда же ближе к рассвету те удалялись, уступая место Алексею Разумовскому (1709–1771), Ивану Шувалову (1727–1797) или какому иному елизаветинскому избраннику, Чулков оставался при ней: «Верный слуга, Василий Иванович, должен был также тут находиться и не взирая на разницу лет и звания, являясь опять прежним истопником,

смирненно клал на пол тюфячок свой подле кровати императрицы и, как бесшумный страж, ложился у ног ее». И монархиня знала, что перешагнуть порог ее спальни можно было разве только через труп верного друга. Сохранилась легенда тех лет, что Чулков охранял сон государыни с двумя заряженными пистолетами. Просыпался же он от малейшего шороха и караулил императрицу лучше сторожевого пса. Судачили также, что и у Елизаветы Петровны под подушкой тоже имелось два пистолета, а у кровати за балдахином — заряженная английская винтовка и испанская шпага в ножнах; а под окном всегда наготове стояла лошадь, готовая к длительной скачке с препятствиями.

Спальни императрицы во дворце должны были стать одним из самых нарядных парадных помещений. Между окнами помещались зеркала, а на стене с альковом — золоченая резьба. Вся она была выполнена из липы, древесина которой отличалась мягкостью и вязкостью. Резьба струилась золотым потоком по стене, то превращаясь в объемные фигуры, то извиваясь в причудливых завитках, то переходя в почти плоский орнамент. Опочивальня была «убранная оранжевым штофом с серебром». В ней стояла кровать «штофная, голубого французского штофа, ново-сделанная в последнем вкусе». К тому же Ее Величество изволили спать в разных местах, так что никто не знал заранее, где она возляжет. О размерах кровати стоит сказать особо. Некоторые из них могли бы вместить 7—8 человек обычного роста! Поражала также и роскошь царских спален. Постельное белье, балдахин над кроватью, шторы, шкафы, кресла — каждый предмет мебели и интерьера представлял собой результат многочасового ручного труда лучших умельцев своего дела. Королем, как известно, быть непросто. хлопоты начинались уже с утра. Многочисленная прислуга буквально виляла вокруг, помогая одеться, напудриться, умыться, поправить прическу и так далее. Ритуал этот мог длиться несколько часов. Отход ко сну, кстати, был столь же трудоемким: царской особе предстояло умывание, поэтапное освобождение от нарядов. Хотя в отличие от Франции при елизаветинском дворе отсутствовала специальная должность прогревальщика королевской кровати. Не говоря уже о восходившей еще ко временам Гиппократата, а затем узаконенной в XIX веке японскими самураями (1871) электрогрелке.

День монархини начинался обыкновенно в 12 часов пополудни. Тогда Елизавета, «вставая ранее утомленного старика», будила его, вытаскивая из-под головы подушки или щекочка под мышками, а он, «приподымаясь легонько, потрепывал ее, говоря: „Ох ты, моя лебедка белая!“» Василия называли человеком испытанной верности, подлинным телохранителем дочери Петровой. Он знал все тайны ее частной жизни. А сколько фаворитов промелькнуло перед взором верного Василия Ивановича! Самые приятельские отношения сохранил он с Алексеем Шубиным (1707—1766). Он знал, как истомилась по нему цесаревна, когда того упекли на Камчатку, хотела было даже постричься в монастырь города Александрова, стихи писала пронзительно искренние. И каким же ненужным стал этот самый Шубин, вернувшись из ссылки, когда она, зазноба его, стала самодержавной императрицей! Дала Алексею звание генерал-майора, словно за былую любовь награду! Но Чулков присоветовал тогда Шубину отбыть на Новгородчину, чтобы сердце попусту не рвать в Петербурге. Звали они друг друга между собой «Чуллок и Шуба — государыни вещи» и нисколько не омрачали своих отношений ревностью из-за того, кто в разное время был удостоен Елизаветиных милостей. Видел он и внезапно вспыхнувшую звезду — красавца кадета Никиту Бекетова (1729—1794), видел затем и его стремительный закат. Наблюдал за фортуной вознесенного на гребень славы малоросса-бандуриста Разумовского.

Встречал и скромного и рассудительного Ивана Шувалова, самого, пожалуй, образованного из всех Елизаветиных амантов. И вот что примечательно: сей присяжный истопник был так понятлив, излучал столько душевного тепла и стал для Елизаветы столь необходимым и повседневным предметом, что Ее Величество, нимало не конфузясь, у него на глазах могла предаваться страсти с очередным фаворитом, словно Василий Иванович был чем-то неодошевленным, вещью, этаким аксессуаром мебельного гарнитура. Спокойный сон царственной особы, он ведь, знаете ли, дорогого стоит.

Да и сам он был исполнен значимости порученного ему дела и ни малейшего конфуза не чувствовал. Столь безграничная близость к царице принесла Чулкову высокие чины, ордена, звания, поместья. В сентябре 1751 года Василий Иванович, перепрыгнув ранг камер-юнкера, получил камергерский ключ. В 1752 году стал кавалером ордена Св. Анны. Эта награда была установлена за подвиги, совершаемые «на поприще государственной службы, и в воздаяние трудов, для пользы общественной подъемлемых». Хотя этот орден относился к числу младших, он, однако же, пользовался высоким признанием. Примечательно, что это был первый орден, к которому был представлен будущий генералиссимус Александр Суворов. Этот же орден именно при Елизавете заслужил и его отец, генерал-поручик Василий Суворов. А в 1789 году им удостоится будущий фельдмаршал Михаил Кутузов. В 1756 году Чулков получил наконец третий по значимости в империи орден Св. Александра Невского. Его почетный жетон являл собой четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами и характерными двуглавыми орлами, помещенными между концами креста. А в центре креста располагался круглый медальон с изображением конной фигуры сего святого. Также к знакам ордена относилась серебряная восьмилучевая звезда с патриотическим девизом «За труды и отечество».

Но стоит ли удивляться, что неболтливый от природы Чулков, хотя и знавший многие приватные секреты императрицы, как бы ненавязчиво, молчком, мало-помалу сделал себе головокружительную карьеру, вплоть до того, что стал основателем собственного дворянского рода. И закончил он службу действительным камергером. Однако высокие чины никогда не были для Чулкова лишь синекурой. Долгое время он исполнял обязанности обер-кригскомиссара в Москве: ведал снабжением войск деньгами, обмундированием, снаряжением, ручным оружием, обозным и лагерным снаряжением, гошпиталями и др. А подчас, как заправский казначей, он заведовал выдачей денег из Кабинета Ее Величества. Начиная же с 1740-х годов он был тесно связан и с организацией увеселений и театральных представлений при дворе (имя его с очевидным подобострастием упоминается в письмах корифеев российской словесности, «громкого» Михаила Ломоносова и «нежного» Александра Сумарокова, озабоченных изданиями на казенный кошт своих творений).

Сомнительно, однако, чтобы наш истопник чрезвычайно редко покидал пределы гардеробной комнаты, хотя и был вхож к государыне в любое время, а это, кстати, определило его огромное влияние при дворе. Многие вельможи пытались заручиться его поддержкой. Но Чулков никогда не злоупотреблял этим своим особым положением. Многоликий и деятельный, он, по словам графа Федора Головкина, «днем был камергером, Александровским кавалером, а ночью становился истопником». Мало того, помимо этих его свойств и особенностей, он соединил в себе ипостась образцового семьянина, рачительного хозяина, крупного помещика и землевладельца России. Елизавета жаловала «верного слугу» прямо-таки по-царски: угодья, поместья, особняки в Московской, Владимирской, Тульской губерниях и т. д. Так, в 1749 году мо-

нархиня пожалует ему еще одно село Гагино, но уже в Александровском уезде Владимирской губернии. А неподалеку от него расположилась деревня Зезевитово, которой он, среди прочего, был пожалован при своей отставке. Но наиболее впечатляющими были его богатые села и деревни в Крапивенском уезде Тульской губернии: Архангельская, Устье, Малынь, Бегина, Лески, Доробин Колодезь и др. Достаточно сказать, что на его пашнях работали разом 962 крепостных людей. Обзавелся он и знатной недвижимостью в столицах. В Петербурге владел двумя домами: «стоящим на Неву реку и Немецкую улицу у Мошкова переулка» (Дворцовая набережная, 22) и на Миллионной улице (№ 23/3), «напротив Иберкамфова двора». Еще один его помещицкий каменный двухэтажный дом расположился в Москве, на Новобасманной улице (на месте нынешнего дома № 16); он сгорел во время пожара 1812 года, а в 1815 году был отстроен наново и превратился в красивый особняк с шестиколонным портиком.

А вскоре после кончины своей хозяйки и повелительницы Елизаветы он в марте 1762 года был уволен со службы, получив от императора Петра III сначала звание генерал-лейтенанта, а затем и генерал-аншефа (равносильного действительному тайному советнику II класса) — и это при том, что не принял участия ни в одной военной баталии. Он удалился из столицы в свои палестины, в родовое имение Гагино Владимирской губернии, где спокойно, в молениях и земных поклонах доживал свой век с любимой супругой. Но вот что интересно: с приходом к власти Екатерины Великой Василий Иванович сразу же ушел в отставку, и это несмотря на упорные уговоры остаться. Может статься, он почитал из всех одну только российскую императрицу — Великую Елизавету — словом, спать под дверью новой, хотя и куда более просвещенной монархини категорически отказался. Однако Чулков, эта «государыни вещь», все-таки вошел, точнее, ворвался в отечественную историю. Впрочем, «бесмертной славы мужем» его мало кто называл, хотя имя его сопрягается более всего с делами амурными и предметом самым прозаическим — тюфячком у монаршего ложа. Но, как отметил историк, биография фаворитов царствующих особ «не представляет из себя главу любовной хроники; это глава истории России, и с ней следует ознакомиться — хотя бы рискуя натолкнуться на Чулкова, со своими подушками, матрацем и всем остальным».

Александр МЕЛИХОВ

## ЧТО МЫ НЕСЕМ?

«Как нам побудить народ побольше читать?» — постоянная тема литературных встреч. Но лично для меня призыв читать не слишком отличается от призыва есть, пить и любить, — тут проблема скорее в обратном, как бы не слишком перебирать в этом деле, чтобы оставались силы и время и еще на что-то: чтение такая жизненная радость, без которой все прочие становятся не в радость, ибо литература — это главная стихия, которая придает жизни значительность и красоту. Те же, кто ограничивается материальными удовольствиями, рано или поздно начинают страдать от эстетического авитаминоза, с которым они тщетно пытаются бороться при помощи всевозможных суррогатов от сплетен до психоактивных препаратов. Эстетический авитаминоз сделался одной из важнейших причин распада СССР — нам перестал казаться красивым мир, в котором мы жили, — и этот же эстетический авитаминоз является и сегодня одной из глубинных причин множества социальных язв вплоть до экстремизма, в котором его адепты пытаются добрать красоты, недостающей им в повседневности.

Но беда в том, что, в отличие от физического голода, человек не ощущает голода эстетического — просто нарастает скука, тоска, раздражение..

И как же пробудить в человеке эстетический аппетит? Да точно так же, как и физический, — нужно почаще показывать ему тех, кто с аппетитом готовит и с аппетитом уплетает эстетическое лакомство. Но вот жратву на всех телеканалах безостановочно готовят и уписывают артисты и футболисты (подспудно давая понять, что важнее жратвы на свете нет ничего), а часто ли мы видим, как кто-то на экране делится радостями чтения?

У нас есть прекрасные литературные передачи Дмитрия Бака, Игоря Волгина, Сергея Шаргунова (простите, если кого-то пропустил), но это высококвалифицированные беседы профессионалов, а я бы хотел видеть рассказы страстных читателей о тех наслаждениях, которые дарит им чтение: порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь...

Такие читатели — особая и довольно редкая порода, а обычные люди читают ради какой-то пользы, ради знаний о том, как печь пироги и как в пять уроков стать миллионером, как увеличить размер бюста и растянуть оргазм на лишние сутки.

Утилитарный подход к литературе, видимо, начался в эпоху позитивизма: прежде-де фантазия преобладала над наблюдением, а теперь наблюдение будет доминировать над фантазией. В русской литературе пророком позитивизма сделался Белинский — вы-

---

Александр Мотелевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе премий им. Искандера (2022), правительства Санкт-Петербурга (2023), «Книга года» (2023) и Царскосельской премии за роман «Сапфировый альбатрос», премии им. Гончарова за роман «Тризна» (2023), премии «Неистовый Виссарий» за вклад в развитие критической мысли (2024), премии «Литература без границ» за роман «Испепеленный».

двинул теорию реализма, согласно которой в своем детстве человечество занималось богами и героями, зато во взрослом состоянии оно должно будет интересоваться исключительно своими собственными делами.

Но если человек поглощен практическими делами, зачем ему читать? Литература должна нести нам полезные знания и отвечать на важные вопросы бытия, то есть правильно изображать реальность и давать правильные рекомендации, как в этой реальности правильно себя вести, — вот был лозунг тогдашнего реализма.

Но если дело литературы нести нам знание, задалась вопросом более последовательные «реалисты», как их с гордостью назвал пророк очередного покончившего с иллюзиями поколения Писарев, то чем она отличается от науки? Ведь прежде всего именно наука несет знание, только многократно более компактное и надежное! Зачем нам читать какого-то писателя, если он не ученый или не носитель некоего уникального опыта? Ответ ясен: совершенно незачем, если мы ищем только знаний. Но вот если мы ищем утешения, воодушевления, то знание очень часто способно его только разрушить.

Когда кто-то говорит нам: ты самый красивый, самый умный, самый благородный, почему нам так нравится это слушать? (И притом, как отмечал Свидригайлов, даже в самой грубой лести половина кажется все-таки правдой.) Неужто дело в знании? Неужто мы и впрямь уверены, что те, кто нас хвалит, знают нас лучше тех, кто нас хулит? Но нам все равно приятно, когда кто-то старается обесценить мнения наших хулителей — они-де дураки, завистники, ничтожества и т. д., и т. п. Ибо первейшая функция нашей психики самооборона — ресурсы на познание, на развитие выделяются по остаточному принципу.

И художественная литература, как и вообще вся культура, служит именно этой первейшей потребности. Иногда она прямо сулит нам счастье, успех, как это делает мелодрама, утешение для простаков. Серьезная литература чаще всего трагична, но даже и живописуя страдания, гибель, она все равно возвышает нас в наших собственных глазах. Прежде всего тем, что придает нашим бедам значительность и красоту, которой нет в реальности, — в этом и заключается «очистительная» миссия трагедии. Впрочем, по-своему утешает и обличительная литература, которая «опускает» наших врагов (даже тотальные мизантропы, вроде Селина или Чарльза Буковски, утешают нас тем, что если скоты все, то и мы не хуже прочих).

Словом, главная ценность писателя не в наличии каких-то особых знаний, а в наличии обнадеживающего, утешительного, лестного для его читателей мироощущения, без которого любое литературное мастерство способно заинтересовать лишь очень узкую группу эстетов.

Но многие ли из нас сами обладают таким мироощущением? Пусть каждый себя спросит и честно ответит: какую надежду он несет? Которая была бы способна увлечь и других? Скажем, лично моя греза — государство, озабоченное формированием гениев, — вряд ли может увлечь массу. Потому я и твержу о необходимости новой аристократии. Психологической, духовной, а не сословной, разумеется.

А вот гениальный Андерсен, скажем, и не делает вид, будто несет какое-то новое знание. Что нас так волнует в каком-нибудь «Гадком утенке»? Да то единственное, что нас только и может волновать: мы сами. Ощущение восхитительной гармонии возникает тогда, когда мы воочию видим то, что нам лишь смутно грезилось. *Туманная мечта, обретшая отчетливый образ*, — это и есть красота.

Если по честности, кто из нас не гадкий утенок? Кого не обижают, не ценят ниже, чем ему хотелось бы? И кто бы не был счастлив вдруг оказаться белоснежным лебедем, царственно плывущим по зеркальным водам среди избранных, подобных ему красавцев? В мелодраме бы мы этому не поверили, а сказка, не пытающаяся выдать себя за правду, нас трогает.

Но не всех. Литература способна дарить свои радости лишь особо одаренным читателям. Подозреваю, что способности наслаждаться чтением встречаются не чаще, чем математические способности, это удел, возможно, пяти-десяти процентов населения. И требовать от преподавателей литературы, чтобы они приохотили к чтению именно всех, задача утопическая.

Так что же, для остальных нужно вообще отменить уроки литературы? Нет, но нужно понять, что главная цель уроков литературы не столько эстетическое ее освоение, сколько *социализация*.

Чтобы люди могли взаимодействовать в качестве членов одного общества, они должны обладать общим запасом каких-то азбучных знаний типа того, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, что мир состоит из атомов, что человеческому организму необходим кислород, а троллейбусу электричество. Школьные знания предельно упрощены, точнее — адаптированы к возможностям среднего школьника. Этим создается, если так можно выразиться, научная социализация.

Сходным образом литературная социализация требует освоения имен-паролей, произведений-паролей, сюжетов-паролей, по которым происходит включение в единую национальную культуру и опознание людей своей культуры. Прежде всего именно поэтому нельзя исключать из литературного канона ни одно из сакральных (речь не о мистическом, а о социальном смысле этого слова) имен. Эстетическое освоение неадаптированной классики — это следующая задача, подозреваю, далеко и не всем доступная, как не всем доступны современная математика и физика.

Другое дело — современная литература. Да, современные писатели не напишут лучше Толстого и Достоевского, тем более что они еще и породили критерии оценивания. Но только современные писатели могут предоставить читателю зеркало, в котором он увидит свою жизнь высокой и значительной, без чего общество начинает страдать от эстетического авитаминоза.

Социализация и эстетическое освоение — для того и для другого требуются разные формы адаптации. Любимые книги моего детства — приключения Гулливера, Робинзона и Уленшпигеля — были адаптированные, и это хорошо, потому что полные версии я бы не осилил. Как уже в выпускном классе я чуть не умер от скуки над «Войной и миром», хотя через каких-то пару лет как раскрыл рот от восхищения, так и до сих пор не могу его закрыть. Значит ли это, что «Войну и мир» следовало исключить из школьной программы? Нет, тогда бы я и не знал, что за мной числится должок. Но для социализации не самых умных, вроде меня, возможно, стоило бы допустить какую-то адаптированную версию — художественный пересказ. С непременно подчеркиванием, что это лишь первая попытка взять высоту.

Я не исключаю, что для социализации и для эстетического освоения требуются две разные школьные программы.

Лучше повторить, чем остаться недопонятым. Я склоняюсь к тому, что для восприятия серьезной литературы необходима особая одаренность, вполне сходная с музыкальной или математической одаренностью, и обладают ею тоже лишь несколько процентов населения. И как же можно в пределах общей учебной программы удовлетворять столь различные эстетические потребности особо одаренного меньшинства и преобладающего большинства? Я думаю, можно предложить школьникам и их родителям выбирать облегченный и «углубленный» курс литературы, в которых будут осваиваться адаптированные и неадаптированные версии литературных шедевров. Адаптированные будут «проходить» для социализации, а неадаптированные для эстетического, философского, исторического и прочего постижения. При обязательном условии, что адаптациями будут заниматься высокопрофессиональные литераторы.

Удачные примеры известны.

## ХУДОЖНИК И ЕГО СУДЬБА: П. О. КОВАЛЕВСКИЙ

Есть люди, будто специально рожденные для своей судьбы. Им все удается, ведь каждый шаг они направляют словно по заранее проложенному маршруту. Чаше бывает по-другому: мучительно ищешь, вроде бы находишь, до отказа вкладываешься в то, что тебе — внезапно оказывается — совсем не нужно. Или, наоборот, твердо знаешь, чем должен заниматься, но обстоятельства располагают тобой весьма своеобразно, вот и думаешь: время ли не пришло, окружение ли неподходящее, а может, тебе самому сил и настойчивости не хватает. Приходится всю жизнь ломать себя в попытках приспособиться. Павел Осипович Ковалевский — как раз из таких. Прирожденный художник-анималист, он всю жизнь отдал батальному жанру и мог бы достичь высот огромных, известности всемирной. Однако хватило одного не вовремя сказанного «нет», чтобы карьера, блистательно начинавшаяся, рухнула.

Кто-то скажет: мол, мелочь. Кто-то пожмет плечами: рисуй любимых лошадей, вон сколько у тебя времени, кто мешает? А кто-то, быть может, и поймет, что сознание художника гармонично и едино и любое принуждение извне черным пятном фальши ложится на душу.

Спросим у образованного друга: что за художник — Павел Ковалевский? Пожмет плечами, в лучшем случае вспомнит, мол, что-то мелькает в связи с Русско-турецкой войной 1877—1878 годов. Но что именно?..

### Отец

Павел Осипович Ковалевский родился 23 июля (по новому стилю — 4 августа) 1843 года в Казани, в замечательной семье. Дед его был священником, а отец, Осип Михайлович или, по-польски, Юзеф Штефен Ковалевский (1800–1878), выпускник Виленского университета, приятель Адама Мицкевича, полиглот и филолог-классик, — ученым, чье имя и до сих пор звучит в белорусской, литовской, польской и русской науке. Собственно, Осип Михайлович по праву считается крупнейшим востоковедом середины XIX века, авторитетнейшим тюркологом, изучавшим Монголию и Тибет. Он первым начал по-настоящему интересоваться монгольским народным искусством и историей, поставив изучение культуры этой страны на научную основу.

В юности Осип Михайлович совершил не то чтобы ошибку — проступок, характерный для тогдашних образованных молодых людей, одержимых идеей социального переустройства на неких высших «надмирных» началах, которые — так верили студенты-романтики — могут быть пробуждены человеком. Он вступил в *тайное общество*. Правительству Российской империи хватило словосочетания, чтобы чле-

---

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

нов общества арестовать, Ковалевского сослать под особый надзор в Казань, подальше от родной Польши.

Ну и повезло же Осипу Ковалевскому! Причем дважды. Во-первых, арест состоялся в 1823 году, за два года до восстания на Сенатской площади. Если б общество сумело еще два года скрывать от власти свою деятельность и арест произошел бы во время процесса над декабристами, светила бы Ковалевскому не Казань, а Чита. Во-вторых, в Казанском университете молодой знаток древнегреческого и античности принялся изучать доселе неизвестные ему арабский, персидский, татарский. Тут же написал и «Историю Казанского ханства», убедившую преподавателей: политическая неблагонадежность — ошибка юности, с кем не бывает, а вот бесспорный талант есть алмаз редчайший. В Казанском университете давно задумывали открыть кафедру языков монгольской группы. Для начала Ковалевский-старший в 1827 году был командирован в Иркутск, чтобы оттуда ездить в этнографические экспедиции по Монголии, Бурятии, Китаю.

Из дальних и долгих путешествий он привозил и присылал в Казань предметы материальной и духовной культуры, а главное — древние тибетские рукописи. Занимался переводами на русский, например, бурятского эпоса «Гэсэр», много лет спустя вдохновившего Н. К. Рериха на создание одной из самых загадочных его картин. Знаменитые коллекции Казанского университета — первый вклад востоковеда Ковалевского в профессию. А ведь он был и просветителем, устраивал школы для бурят. Выпускники, как правило, составляли отряды, вместе с казачьими охранявшие границы России. Но не только: появлялись бурятские учителя, литераторы, ученые.

В 1833 году, когда наконец открыли кафедру, Осип Михайлович возглавил ее, получив звание профессора. Решено было ввести здесь и преподавание санскрита. Понятие «восточная культура» расширилось на всю Азию — так ученые осознали существование огромного ареала, в чем-то подобного древнегреческой Ойкумене. Взаимопроникновению культур немало способствовали параллельные словари Ковалевского, например монгольско-русско-французский, выпущенный в 1840-х годах.

Через какое-то время Осип Михайлович Ковалевский стал ректором Казанского университета. А еще через несколько лет написал прошение об отставке: появилась возможность вернуться на родину. В 1855 году Ковалевский стал ректором Варшавского университета. Член Азиатских обществ и академий, широчайше образованный, переписывавшийся с известнейшими коллегами-современниками, и не только с коллегами (среди его корреспондентов — знаменитые русские литераторы Аксаковы, Михаил Петрович Погодин), страстно увлеченный своим делом, — словом, настоящий ученый позапрошлого столетия, первооткрыватель, основатель, родоначальник — вот каким был Осип Михайлович Ковалевский.

Природа не стала отдыхать на его детях: старший, Николай Осипович, стал известнейшим ученым-физиологом, изучал сердечную деятельность, а младший, Павел, — замечательный художник.

### Несколько слов о «баталической» живописи

На тот момент, когда Павел Ковалевский начал обучаться в петербургской Академии художеств, она находилась в апогее, хотя до *бунта четырнадцати*, с которого началась история передвижничества и критического реализма в России, оставался всего год («бунт» имел место в 1863 году). Существовало два отделения — одно для художников и скульпторов, второе — для архитекторов. На обоих, помимо специальных, преподавались и общеобразовательные предметы (скажем, архитекторы изучали ма-

тематику, физику, химию). Всех будущих живописцев в соответствии с их желаниями и склонностями распределяли по «классам», или специализациям. Существовали, например, «исторический» и «портретный» классы. В 1859 году были установлены три степени звания «классных художников». Получивший первую золотую медаль приобретал вместе со званием чин десятого класса по Табели о рангах и право на пансионерскую, за счет академии, поездку за границу.

О развитии академического батального жанра — тогда говорили «баталической живописи» — нужно сказать особо. Расцвет его начался примерно в 1840-е, когда эстетика воцарившегося стиля историзм потребовала уважения к славному прошлому, воскрешения важнейших событий в искусстве. Новое дыхание обрела историческая картина, в самом широком диапазоне — от академиста Семирадского до модерниста Васнецова. Правда, популярность батальных картин, или «баталий», была высока и в XVIII веке: недаром целый ряд живописных сюжетов украшал Летний дворец в петербургском императорском Летнем саду. Здесь художники А. М. Матвеев и М. А. Захаров исполнили композиции на темы Северной войны России со Швецией. Затем была создана мозаичная «Полтавская баталия», украшавшая надгробие Петра I в Петропавловском соборе (авторы — М. В. Ломоносов и его ученики). Позже появилась серия картин М. М. Иванова, запечатлевавшего победные эпизоды русско-турецких войн, в частности выход России к Черному морю.

В 1800 году Михаил Матвеевич Иванов (1748—1823) стал руководителем класса «живописи баталий» в Академии художеств. Постепенно здесь утвердился определенный тип условно-аллегорической композиции: полководец обязательно должен был изображаться на фоне сражения, полотна непременно изобиловали эффектными сценами. Художники тщательно изучали натуру — наблюдали, как проходят взрывы, как стреляют пушки и ружья или что бывает при том или ином ранении.

Все большим вниманием педагогов, студентов академии и других художественных учебных заведений, самостоятельных мастеров привлекали сюжеты из славного прошлого страны: Куликовская битва, ополчение Минина и Пожарского, наконец, Отечественная война 1812 года.

Постепенно жанр стал отходить от условных канонов. Живописцы вносили в изображение сражений все больше жизненности, аллегории уступали документальной точности. Примерно до начала тех же 1840-х русская знать предпочитала зарубежных баталистов отечественным, и первые шаги на этом поприще сделали выходцы из Европы, для которых Россия стала второй родиной. Среди них Б. П. Виллевалде, А. И. Зауервейд, А. К. Коцебу, А. О. Шарлемань, В. Ф. Тимм. Со временем появлялись и отечественные мастера: К. Н. Филиппов, И. М. Прянишников и В. Е. Маковский. О создании большой «баталической» коллекции мечтал император Николай I. Художники читали сочинения историков В. О. Ключевского, Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, И. А. Забелина, консультировались с ними; военно-историческая тематика так или иначе близка И. Е. Репину, В. В. Верещагину, К. Е. Маковскому, В. И. Сурикову, Н. К. Рериху, В. А. Серову, А. Н. Бенуа и другим мастерам.

### **Художник, и никто больше**

Итак, в положенный срок Павел Ковалевский поступил в Казанскую гимназию. Довольно быстро выяснилось, что юноша одарен выдающимися способностями к рисованию, а к регулярным занятиям науками самой природой не предназначен. Богатая фантазия помогала усваивать яркие детали, но она же препятствовала систематическому усвоению кабинетных знаний. Гимназию Павел так и не окончил. Зато благо-

даря отцу удалось перевестись в петербургскую Императорскую Академию художеств: в 1862 году девятнадцатилетний Ковалевский стал здесь вольнослушателем («вольно-приходящим»), а затем, через несколько лет — студентом-«академистом». Ковалевский с 1868 года занимался у Богдана Павловича Виллевальде (1818—1903) — ученика Карла Брюллова, профессора академии, преподавателя и страстного поклонника баталической живописи.

Педагог Богдан Павлович Виллевальде, как и Ковалевский-старший, тоже был основоположником: под его руководством батальный жанр осуществлял прорыв от аллегории к жизни. Словно генерал действующей армии, рвался живописец на поля сражений, изучал рекогносцировку, расстановку сил, расположение арьергардов и авангардов. А затем писал картины, посвященные то Венгерской кампании 1849 года, то сражениям на Дунае в 1854-м, то битвам под Севастополем, на Кавказе, в Малой Азии... Множество полотен Виллевальде посвятил Отечественной войне 1812 года. Добиваясь исторической правды, художник изучал документы, выслушивал рассказы очевидцев, благодаря чему в своих реконструкциях добивался невероятной достоверности. Немудрено, что Виллевальде пользовался расположением царской семьи.

Учеников он умел заразить азартом. А Ковалевский вдобавок сразу выделился из общей массы. Одну за другой получил он академические награды. Четыре серебряные медали: в 1863, 1865 и 1868 годах — Малые, в том же 1868 году — Большую. Затем пришло и золото: первая, Малая медаль, — за «Преследование турецких фуражиров казаками близ Карса» (1869, посвящена Крымской войне 1853—1856 годов), вторая, Большая, — за «Первый день сражения под Лейпцигом» (1871, посвящена событиям 1813 года). В 1870 году академия направила Ковалевского на Кавказ, где живописец изучал природу, национальные типы, костюмы. По окончании курса Павел Осипович получил звание классного художника первой степени и право на пансионерскую поездку за границу. За государственный счет он отправился в Рим — изучать наследие великих живописцев прошлого, как обычно делалось в то время.

### Триумфы пансионера: из Рима в Париж

Из Петербурга художник выехал в 1873 году. Сначала побывал в Мюнхене. Изучал музейные собрания, писал этюды, пейзажи. Затем поехал в Вену, где участвовал во Всемирной выставке, получил золотую медаль. Путешествовал по Германии и Австрии. Поселился, наконец, в Риме.

Вместе с Павлом Ковалевским в Рим поехал его закадычный друг, тоже, кстати говоря, поляк по происхождению — Генрих Ипполитович Семирадский (1845—1902), посещавший в академии класс исторической живописи. Их совместным «римским каникулам» посвящен занятный сюжет в воспоминаниях Михаила Васильевича Нестерова, знавшего о событиях той поры понаслышке, ведь он был намного моложе Семирадского и Ковалевского (Нестеров родился в 1862 году). Но тем замечательнее его повествование, явно основанное на анекдотах, бытовавших в художественной среде.

Ковалевский кончил Академию с Семирадским. Вместе с ним был послан в Рим. Там, в Риме, эти два, столь противоположные, художника прожили 4 года пансионерства. Из русских художников, может быть, никто лучше не знал Семирадского, талантливого поляка, нашумевшего на всю Европу своей картиной «Светочи христианства». Никто не знал, как работал автор «Светочей» в Риме. С каким усердием он собирал всюду и везде «материал» к своей картине. На вечерних прогулках по Пинчио с Ковалевским Семирадский неожиданно останавливался, раскрывал небольшую походную шкатулку, бросал на какой-нибудь осколок старого мрамора

цветной лоскуток шелка, или ставил металлическую безделушку и заносил в свой этюдник, — наблюдая, как вечерний свет падает на предметы. Он был тонким наблюдателем красочных эффектов и великим тружеником. Этот гордый, замкнутый человек, с огромным характером и умный, не полагался только на свой талант, работал в Риме, не покладая рук...

И так Ковалевский блестяще кончал Академию, написав программу по батальному классу проф. Виллевалде. Из Рима он прислал на звание академика, или профессора, картину «Помпейские раскопки». В этой «батальной» картине не было ничего батального, как не было ничего воинственного и в самом милейшем Павле Осиповиче.

Как бы там ни было, «Раскопки» принесли Ковалевскому звание академика живописи (сама работа оказалась в музее Александра III, ныне она хранится в Русском музее в Петербурге). А в 1878 году за это же полотно автор был удостоен золотой медали на Всемирной выставке в Париже. Спустя восемь лет «Раскопки» были отмечены золотой медалью на берлинской юбилейной художественной выставке. Так что не во всем стоит доверять оценкам мемуаристов...

Из Рима Павел Осипович отправился не домой, а в Париж, где провел конец 1876 — начало 1877 года. Малоизученный эпизод его парижской жизни также комментирует Нестеров: «Дело было сделано, и Павел Осипович, пожив в Италии, проехал в Париж, где своими этюдами и рисунками лошадей привел в восторг самого Мейсонье. И тот говорил, что после него, Мейсонье, никто не знает так лошади, как наш Ковалевский. Действительно, знание лошади и любовь к ней у Ковалевского были исключительные».

### **Похвала Мейсонье**

Похвала Жана Луи Эрнеста Мейсонье (1815—1891), да не простая, а столь лестная, дорогого стоила в те времена. Мейсонье, великолепный живописец, блистательный рисовальщик, гравер, скульптор, книжный иллюстратор эпохи Наполеона III сделал очень много для французского изобразительного искусства, хотя порой его творчество уничижительно оценивается критиками, предубежденными против «салонной живописи». Да, Мейсонье выразал художественные вкусы своей эпохи, создавая многофигурные жанровые полотна: деловитые голландцы XVII, галантные французы XVIII века, самодовольные буржуа предаются на них каждодневным занятиям — курят, читают, вскрывают любовные письма, играют в карты. Военные выступают в походы, дуэлянты бьются на поединках, лошади скачут, и все это исполнено легкой виртуозной кистью (современники называли мазки Мейсонье «перышками колибри»). Никакая критика социальной действительности Мейсонье не увлекала; чуть театрализованная поверхность человеческой жизни (часто мэтр приглашал к себе в мастерскую актеров-статистов, наряжал их в исторические костюмы и выстраивал мизансцены), красочная и динамичная, радовала его сама по себе, без глубоких размышлений о справедливости или несправедливости общественного устройства.

Батальный жанр также привлекал Мейсонье. Он сосредоточился на изображении сцен из походов Наполеона Бонапарта, ставшего к середине XIX века одной из *блгоуханных легенд* прошлого, сентиментальной и безобидной. Вот такую легенду художник и писал. Нет в его работах ни напряженного драматизма, ни героического пафоса. Перед зрителем предстают жанровые сюжеты, относящиеся то к 1805—1807, то к 1812 годам. И мельчайшая фигурка где-нибудь на самом дальнем плане выписана так, что можно увидеть каждый волосок, каждую складочку!

Видимо, высокое мастерство и сблизило маститого француза с начинающим русским живописцем. Есть некоторое основание предполагать, что художники работали вместе; возможно, Мейсонье предложил коллеге воспользоваться его мастерской. Впрочем, работа «Нормандская белая лошадь» (1876), привезенная Ковалевским из Европы, явно сделана на пленэре. Об этом свидетельствуют и мастерски выполненная тень, и блики солнечного света, и разнообразие оттенков, и богатства рефлексов серого, желтого, коричневого, почти черного. Интересно, что «моделью» для художника послужила обычная рабочая лошадь, усталая, с большим животом и опущенной головой.

Коренное отличие стиля Ковалевского от манеры его старшего французского коллеги — в отсутствии приемов салонной живописи. Художники академического толка тоже не были однородны: одни тяготели к салону, ориентировались на вкусы потенциальных покупателей и любили чистую красоту, услаждение глаза, другие же предпочитали реалистические приемы. Ковалевский, кажется, не желал нравиться прежде всего: главным для него всегда был замысел и его высокохудожественное воплощение.

Зато Ковалевский часто — вряд ли, конечно, сознательно — шел за Мейсонье в плане композиции: динамизм, сжатая энергия многофигурных полотен баталиста возникает из приемов, которым русский художник научился у французского мастера.

### **Труба зовет**

Знакомство с Мейсонье сделало Ковалевского участником целого ряда европейских живописных выставок конца 1870-х годов. Кто знает, как разворачивались бы дальнейшие события, но вмешалась история. Началась Русско-турецкая война 1877—1878 годов. После неудач и разгрома двадцатилетней давности (Крымская кампания принесла России позорное поражение) она просто обязана была оказаться победоносной. На фронтах требовались профессиональные живописцы, способные запечатлеть ход военных действий.

Павел Осипович Ковалевский был спешно отозван из Парижа в Петербург. Почти сразу после возвращения он в числе других русских художников отправился на Балканы в составе действующей армии. Среди прикомандированных живописцев значился и Виллевальде. Он-то, вероятнее всего, и посоветовал включить в группу своего лучшего ученика.

Конечно, в наши дни на войну ездят фотографы. В 1870-х годах фотография уже существовала, но аппаратура была весьма громоздкой, а главное — техника не позволяла запечатлеть движущиеся фигуры: позировать перед камерой нужно было подолгу, чего, конечно, невозможно требовать от сражающихся воинов. Зато живописцы с их цепкой профессиональной памятью и блестящим чувством композиции могли, внимательно наблюдая за ходом атаки, после, в спокойной обстановке, воспроизвести ее.

Для русских художников поездка на Балканы была не просто обязательной правительственной командировкой. Зверства турок в христианской Болгарии, при попустительстве европейских правительств, не могли не волновать русское общество. Недаром эта война так много значила для нашего национального сознания. Кстати сказать, после полной победы российской армии и полупозорного, примиренческого мира — дипломаты значительно больше, чем солдаты, боялись реакции «европейского концерта», проигравшего на поле битвы, но выигравшего в кабинетах, — и народ, и интеллигенция, и аристократы преисполнились гордости за армию и презрения к правительству.

Русско-турецкая война с первых дней воспринималась как освободительная. Произведения М. О. Микешина и К. Е. Маковского, написанные до начала сражений, пока-

занные в академии и опубликованные в журналах, подогревали в обществе ненависть к турецким башибузукам. И. Н. Крамской, например, считал, что помощь Болгарии — «дело чести и добра». Г. С. Чурак в статье о русских художниках на балканском фронте цитирует слова Крамского из письма П. М. Третьякову, написанного незадолго до начала военных действий: «Война в настоящее время за дело, поднятое славянами, я думаю, была бы неизмеримо выше многих наших войн, она нашла бы огромную поддержку и в обществе, и в народе, во всяком случае, была бы в тысячу раз популярнее Крымской». А Третьяков, отвечая, писал о воодушевлении, охватившем москвичей: «Сбор денег повсеместный и довольно крупный, отряд за отрядом отправляются врачи в походные лазареты... Россия ведет себя в отношении славян вовсе не позорно... Как-то приятно принадлежать в настоящее время к русскому народу».

В действующей армии оказались художники Василий Дмитриевич Поленов, Михаил Егорович Малышев, Петр Петрович Соколов, Алексей Петрович Боголюбов, писатель Всеволод Михайлович Гаршин. Они получали ранения. Некоторые погибали. За храбрость в сражениях живописцы получали награды — боевые ордена и медали, некоторые удостоились Георгиевского креста, высшего военного ордена России. Символом кампании стал Василий Васильевич Верещагин, автор знаменитых полотен «Апофеоз войны», «На Шипке все спокойно» и десятков других. Выходили иллюстрированные газеты с шаржами на деятелей турецкой, английской, французской армий. Публиковались и зарисовки самых известных эпизодов, этнографические сюжеты.

Павел Осипович Ковалевский состоял в качестве художника при штабе 12-й армии. Он сделал огромное количество рисунков, эскизов и зарисовок, пользовался ими в дальнейшем для создания станковых полотен, создал множество небольших картин, в частности знаменитый «Перевязочный пункт» (1878), а позже, в 80-е годы, пользуясь эскизами, написал несколько крупных батальных картин для Военной галереи Зимнего дворца: «Сражение при реке Ломе 12 октября 1877 года», «Кавалерийское дело у Трестеника и Мечки 14 ноября 1877 года», «Ночной бой под Карагачем 4 января 1878 года».

### **Конец карьеры**

Однако именно Русско-турецкая война оказалась роковой для карьеры Павла Ковалевского: однажды в глазах правительства и царского дома он стал отверженным. Круги высочайшего неприятия расходились, как по воде, по всему петербургскому обществу... Некоторые работы по-прежнему покупали, но заказов поступало все меньше и меньше. Петербург пришлось покинуть. Ковалевский вынужден был лечиться в харьковской клинике нервных заболеваний и лишь незадолго до смерти смог вернуться к нормальной профессиональной деятельности.

Что же случилось? Какова причина внезапного слома, столь тяжело отозвавшегося на судьбе художника?

Насмешливый и ироничный Нестеров — опять-таки с чужих слов — писал:

Вернувшись в Россию и неудачно женившись, Павел Осипович начал работать. Однако скоро началась Русско-Турецкая война и Павел Осипович должен был в качестве официального баталиста ехать в Болгарию, прикомандированный к штабу Вел[икого] Кн[язя] Владимира Александровича, тогдашнего президента Академии Художеств. Он почти все время оставался при штабе, или, как острили его друзья, в обозе, где-то там, куда ни одна пуля ни разу не залетела. Он, совершенно мирный человек в душе, ненавидел войну, и походы, и все то, что с этим сопряжено, нена-

видел все то, что так страстно любил другой и уже «истинный баталист», Василий Васильевич Верещагин, позднее положивший жизнь свою на «Петропавловске».

Павел же Осипович, не рискуя ничем, наблюдал из своего обоза, как наши донцы таскали кур по болгарским деревьям, охотясь за ними, как за страшными башибузуками. Павел Осипович наблюдал и писал такие «баталии» охотно, соединяя приятное с полезным. Однако такое отношение к подвигам российской победоносной армии не могло нравиться его Августейшему начальнику — и Павлу Осиповичу дали это понять. Он попытался одним взглядом взглянуть, что там в армии делается, — зрелище это ему не понравилось, и он снова перенес свои наблюдения в любезный ему арьергард, тонко наблюдая его жизнь. Нерасположение к нему росло, и вместо того, чтобы сделать блестящую карьеру художника-баталиста, — он навсегда попал в разряд бракованных, милости высокого начальства его миновали навсегда.

Ряд картин, якобы батальных, написанных им после войны, не были ничем примечательны. И Павел Осипович, как умный и чуткий человек, это понял и перешел к «жанру», вводя в него столь любимых им лошадей, и его «На ярмарку» и «Архиерей на ревизии» — превосходные вещи, украшающие Третьяковскую галерею.

И все же надо сказать, что автор «Помпейских раскопок» не оправдал надежд, кои на него возлагала Академия и общество.

Рассказ звучит вполне правдоподобно. Однако правдоподобие — необязательно правда. Потребовались десятилетия, чтобы выяснить, что же произошло в действительности. И выстроилась совсем иная картина — не иронически-шаржированная, как в воспоминаниях Нестерова, а драматическая, печальная. Исследователь С. А. Подстаницкий, изучив картину Ковалевского в минском музее, сумел реконструировать ход событий тех лет.

Все произошло не в 1877–1878 годах, а значительно позже, в 1885-м. По привезенным с войны материалам Ковалевский написал полотно «Великий князь Владимир Александрович со свитой». Ее подробно описывает Подстаницкий:

В центре первого плана картины виден офицер на буланой лошади. Одет он в белый двубортный китель, синие шаровары с генеральскими лампасами, на голове у него — белая фуражка, на плечах — генерал-адъютантские золотые погоны с императорскими вензелями. За спиной у генерала — весьма представительная свита из многочисленных офицеров и казаков. Чуть левее этой группы русские пехотинцы конвоируют турецких военнопленных. На дальнем плане произведения изображены маневрирующие группы войск.

Любопытно, что центральное лицо картины имеет несомненное физиогномическое сходство с великим князем Владимиром Александровичем (1847–1909), третьим сыном императора Александра II, прославившимся в качестве августейшего президента Императорской Академии Художеств. А ведь во время русско-турецкой кампании Ковалевский стоял при великом князе, командовавшем 12-м армейским корпусом, в качестве художника. Следовательно, картина из Минска изображает один из эпизодов боевой биографии великого князя Владимира Александровича. Внушительный размер картины и несомненно заказной сюжет, связанный с представителем царской династии, позволили предположить, что данное полотно должно было найти отражение в воспоминаниях современников художника.

Исследователь такой источник обнаружил. Автором воспоминаний оказался коннозаводчик и коллекционер Яков Иванович Бутович. В его мемуарах «Каталог моей жизни. Описание Прилепской коннозаводской галереи» есть рассказ, проливающий свет на историю Ковалевского. Бутович записал сюжет, сообщенный генералом А. П. Струковым — покровителем художника, знавшим его еще до русско-турецкой войны:

Вот что произошло. Ковалевский присутствовал, ибо сам был в свите и сопровождал великого князя, в тот момент, когда неподалеку от лошади Владимира Александровича разорвался снаряд. Великий князь осадил лошадь, но быстро овладел собой и двинулся вперед, и свита, конечно, двинулась за ним. Этот-то «исторический» момент и увековечил Ковалевский, и написал его, по своему обыкновению, правдиво: на переднем плане картины разрывается бомба, Романов осаживает лошадь, свита в замешательстве и прочее. Картина была написана замечательно и всем очень понравилась, но когда была представлена великому князю, тот поморщился, и художнику было передано, что он изобразил Владимира Александровича трусом, ибо тот осаживает лошадь при виде разорвавшейся бомбы; к этому была добавлена просьба переделать картину, вернее, лошадь и фигуру великого князя. Ковалевский наотрез отказался это сделать и надолго попал в немилость. Много лет спустя, после того как я услышал этот рассказ, так хорошо рисующий нам Ковалевского, я увидел эту картину, которая принадлежала тогда генералу Тальма... Это выдающееся произведение искусства, несомненно, одна из лучших батальных картин Ковалевского, и я порадовался тому, что художник не согласился переписать удивительно исполненную буланую лошадь первого плана, которая в те годы ходила под седлом Романова. Тальма просил с меня за картину пятнадцать тысяч, я находил, что это дорого, и картину не купил; ныне она находится в частных руках...

В середине XX века полотно перешло в художественный музей Минска, ныне Национальный художественный музей Республики Беларусь.

Не правда ли, совершенно другой образ, иной человеческий характер? Не дрожащий при звуках снарядов робкий живописец, любящий сладко поесть и вдоволь поспать, а между делом написать жанровую картинку, а настоящий мастер, исполненный самоуважения и профессиональной чести, не желающий исказить правду войны.

### **Два лика войны**

Одна черта делает свидетельства мемуаристов схожими: Ковалевскому действительно не была свойственна романтическая драматизация военных событий, он фиксировал бытовую, обыденную сторону войны, простые характеры, будничные впечатления. Невозможно сравнивать изобразительный язык Ковалевского и манеру Верещагина. В «Солдатском привале» (1883) Ковалевский соединяет два жанра, батальный и бытовой, пишет русских солдат за приготовлением и раздачей пищи. Обстановка привала мирная, почти домашняя, далекая от героизма.

В картинах Верещагина этого периода, так называемой «Балканской серии», мало характерности и жанровости. Есть, конечно, «Два ястреба (Башибузуки)», «Шпион» или «Адъютант», есть и потрясающий по психологической портретности холст «Победители», где единственный оставшийся в живых русский солдат стоит в окружении турок, явно дивящихся человеческой мощи. Но это скорее исключения. В основном у Верещагина работает пространство — бескрайние небеса или поля сражений, на фоне которых человеческие фигурки, живые или мертвые, кажутся крошечными. Таковы «Пикет на Балканах», «Снежные траншеи (Русские позиции на Шипкинском перевале)», «Побежденные (Панихида)»... Или возьмем холст «Привал военнопленных»: поднимаются, словно ободья гигантских колес, полукружья языков снежного бурана, за ними едва видны вжавшиеся в снег люди. Или «В турецкой покойницкой», где единственное живое — лунный луч, проходящий через полуразбитое, загаженное оконце...

Символы у Верещагина важнее бытовой стороны дела, все, что происходит на его полотнах, космично, *против неба на земле*. Но это вовсе не означает, что войну нельзя

изображать так, как у Ковалевского. Голодный солдат много не навоюет. И вряд ли стоит буквально следовать за Нестеровым, противопоставляя «истинному» баталисту Верещагину «ложного» Ковалевского... Лучше пофантазировать: когда-нибудь в каком-нибудь гигантском выставочном зале кто-нибудь развесит друг против друга полотна Верещагина и Ковалевского.

Собственно, оба художника следовали одному и тому же кредо, сформулированному Верещагиным (Павел Осипович был действительно далек от деклараций):

До сих пор живописцы передавали истории в виде более или менее остроумных анекдотов... мы уже не можем удовольствоваться ни традиционной лестью, ни легендами, без всякой критики принятыми в старинных школах. Когда художники перестанут узнавать историю по клочкам, они поймут, что условная деланность оперы недостаточна для живописи... Вечный праздник исторических картин заменится повседневной жизнью — при этом правда и простота много выиграют.

Итак, Ковалевский — жертва не любви к комфорту и безопасности, а своего понимания профессии и живописной правды. Смелый поступок был для него нетипичным, он ведь и вправду не был ни героем, ни бунтарем — только живописцем. Но версию Бутовича—Подстаницкого подтверждают факты. Все наиболее известные работы Ковалевского созданы до середины 1880-х: это «12 октября 1877 года» и «Штаб 12-го корпуса в Болгарии» (1878), приобретенные русским императором; «Перевязочный пункт» (1878); «Эпизод из Аустерлицкого сражения» (1881), приобретенный Академией художеств; «Казачи убирают своих убитых» (1884), картина, между прочим, купленная великим князем Владимиром Александровичем; «Привал пехотного полка в Болгарии», «Раненый на Шипке» (обе 1884), «На станции» и «Объезд епархии» (1885) и др. Вряд ли если бы Ковалевский попал в опалу в 1878 году, его работы стал бы приобретать российский император. Вдобавок в 1881 году Ковалевскому «за труды на художественном поприще» было присвоено звание профессора Академии художеств.

### Верные ценители

Известно несколько замечательных произведений Ковалевского, относящихся ко второй половине 1880-х годов. Среди них «Нападение разбойников на проселочной дороге» (1888), «Тревога», «Переправа», «Тройка в грязи» (1889). Картины были куплены видными российскими коллекционерами. Третьяков, Дмитрий Боткин, граф Бенигсен и другие видные деятели российской культуры украшали свои собрания живописью Ковалевского.

Художника поддерживали коллекционеры. Множество произведений находилось в собрании Бутовича. Другим любителем живописи Ковалевского был Иван Евменьевич Цветков, известный московский собиратель, чудака и большой оригинал. Он владел работами Боровиковского, Венецианова, Брюллова, Кипренского, Перова, Крамского, Репина, Сурикова и других мастеров. Некоторые современники даже считали, что собрание графики и эскизов у Цветкова богаче и разнообразней, чем у Третьякова. Другие полагали, что он зачастую приобретает посредственные работы. Совершенно ясны две вещи: во-первых, очень многое попадало в Цветковскую галерею через Третьякова, который, отказываясь по каким-либо причинам приобретать то или иное вполне достойное произведение, многие из них переправлял, снабдив пояснительными записками, своему товарищу. Во-вторых, собрание Цветкова многое добавляло

к истории создания различных картин, поскольку он часто покупал рисунки, эскизы, варианты известных произведений.

Коллекционер отличался редкой умеренностью вкуса. «Цветков действительно любитель искусства, он неутомимо, по силе своих средств, собирает рисунки, картины; он особенно любит жанристов. Только одна беда: понимание его дошло до 80-х годов XIX столетия и ни ну, ни тпру. Все новое, хорошее понимается им очень туго, точнее сказать, совсем не понимается», — записывал в дневнике художник В. В. Переплетчиков.

Увы, в отличие от собрания Третьякова бывшая Цветковская галерея не сохранила целостности: она распылена по другим музейным собраниям. Многие находятся в Третьяковке, в частности в отделе графики. Повинен в том отчасти сам Иван Евменьевич: растрুবив в 1892 году о прижизненной передаче своего наследия в дар городу Москве, он до самой смерти в 1917 году не пустил туда ни одного посетителя — так был дорог ему установившийся порядок жизни, размеренной и комфортной.

В разное время Цветков приобрел у Ковалевского полтора десятка работ. В Российском государственном архиве литературы и искусства (фонд 904) хранится «Перечень художественных произведений Цветковской галереи, составленный И. Е. Цветковым» (1913). В нем указываются произведения Ковалевского: «Лошади на дворе» (1878), «Болгарская мученица», «Тройка во ржи» (1890), «У водопою» (1887, акварель), «Солдаты у костра в Болгарии» (1883, сепия), «Арест башибузука» (1883, сепия), «Раненый солдат» (1883, сепия), «Застольная речь» (1883, сепия), «Починка штанов» (сепия), «Раненый офицер в Болгарии» (сепия), «Всадник с раненым товарищем» (сепия), «Горцы» (1887, карандаш), «Несчастье на дороге» (1897, акварель), «На охоту» (1897, акварель), «Во время дождя» (акварель), «Табун» (акварель).

Этот перечень интересен и как очередное подтверждение творческого кризиса, охватившего Ковалевского в начале 1890-х, и с еще одной точки зрения. Знаменитая работа «Болгарские мученицы» была написана в 1877 году, еще до начала военных действий, художником Константином Маковским. Сюжет ее трагичен: молодые женщины схвачены турками-башибузуками в христианском храме, жестокость расправы над ними — свидетельство бесчеловечности османского ига в Болгарии. То, что Ковалевский создает собственное произведение на сходный сюжет, демонстрирует, насколько глубоко он воспринимал творческий контекст своего времени.

Понятно, чем именно Цветкова привлекали работы Ковалевского. Батальный жанр мало подвержен новациям: здесь даже при отказе от языка аллегории остаются в действии твердые законы, даже каноны. Отходя слишком в сторону, художник, собственно, перестает быть баталистом. Вдобавок Ковалевский с его строго реалистическим, умеренно психологическим и достоверным письмом являлся, пожалуй, одним из наиболее последовательных представителей «классического вкуса», столь любимого ценителями русской академической школы.

Покупал работы Ковалевского и Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818—1901). Он был видным, преуспевающим купцом: коммерции советник, член совета Московского учетного и учредитель Волжско-Камского банка, директор правлений Товарищества Кренгольмской мануфактуры, товарищества мануфактуры «Эмиль Циндель», товарищества Даниловской мануфактуры; вдобавок — директор Московского страхового общества, гласный Московской городской думы, выборный Московского биржевого общества, основатель и попечитель богадельни, жертвователю общине Рогожского кладбища, строитель Солдатёнковской больницы, долгие годы ее содержавший, почетный член совета Московского коммерческого училища и Общества для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета. Активную ком-

мерческую и благотворительную деятельность Солдатёнков сочетал с любовью к живописи, собрание его насчитывало около 250 полотен, он был действительным членом Императорской Академии художеств. Имел и собственное издательство. Свое собрание живописи Козьма Терентьевич принес в дар московскому Румянцевскому музею. Среди картин — кавказские пейзажи Ковалевского, написанные в начале 1870-х.

### Горемыка в Киеве и Владимирский собор

Но все же, несмотря на поддержку ценителей, опальный Павел Осипович вынужден был уехать в Варшаву, затем жить в Киеве и Харькове. Несколько его частных писем написаны на бланке харьковской нервной клиники. Видимо, давний эпизод оказался слишком тяжелым воспоминанием для впечатлительного, тонкого, ранимого человека. Конечно, и вдали от столицы он продолжал работать, выставлялся вместе с передвижниками, хотя членом товарищества не стал. Какие-то картины продавались в столицах, однако далеко не так часто, как хотелось бы, да и порой торговцы назначали невысокие цены. Сохранилась переписка Павла Осиповича с Иваном Федоровичем Шене, петербургским владельцем магазина художественных принадлежностей, с другими продавцами живописи.

Именно в Киеве с Ковалевским познакомился Нестеров — наконец-то лично. С 1890 года Михаил Васильевич подолгу жил в Киеве. Вместе с Виктором Михайловичем Васнецовым он работал над росписями знаменитого Владимирского собора. Васнецов — близкий приятель Ковалевского — посвятил собору более десяти лет жизни (1885—1896). Когда Ковалевский был отозван из Парижа на войну, Васнецов еще на некоторое время остался в *столице мира* вместе с И. С. Репиным и В. Д. Поленовым, затем переехал в Москву, где сблизился с С. И. Мамоновым, с абрамцевским художественным кружком, начал активно развивать в своем творчестве русскую тему, наконец, получил приглашение расписывать Владимирский собор. В артель входили также М. А. Врубель, П. А. Сведомский, В. А. Котарбинский, работавшие под руководством А. В. Прахова.

В 1892 году Нестеров писал родным, что Павел Осипович высоко оценивал его работы для собора: «Гораздо ценнее отзыв самого Ковалевского, который как-то выразился, что видит во мне то, что, может быть, между русскими художниками появляется у меня у первого». Какая прозорливость — у Нестерова действительно есть то, что никому из современников не присуще. Однако что-то свое, уникальное и по большому счету неповторимое, как ни тщатся эпигоны, присутствует у каждого его современника. Такова эпоха.

Воспоминания о времени, проведенном за росписью Владимирского собора, — теперь уже исполненные не только иронии, но и благодарности, даже пиетета — Михаил Васильевич Нестеров писал уже по собственным впечатлениям, а не с чужих слов.

Мы его застаем в Киеве усталым, разочарованным и в своем таланте и жизнью, сложившейся для него крайне неудачно. Он был уже не молод, лет пятидесяти, с проседью, носил кавалерийские усы, как полагалось в старые времена баталисту, как носил их его учитель Виллевалде, а до него Зауервейд и прочие.

Как-то он зашел в собор к Васнецову, — тот был на лесах не очень высоко от полу, сажени на две, не больше. Поздоровались, я был тут же, меня Васнецов познакомил. Время было горячее, не до гостей. И вот, помню, Виктор Михайлович с лесов говорит гостю: «Ну что, старик (они были приятели, на ты), полезай ко мне сюда — поговорим». Ковалевский посмотрел на леса, на шаткую лесенку, ведущую кверху, подумал, покачал головой, потрогал особым жестом свои усы, поправил привычно

воротник рубашки, которая как бы жала ему шею, — еще подумал и сказал: «Нет, я постою здесь, я тебе мешать не буду» и так простоял, неустанно говоря, что-то вспоминая о прошлом, и ушел, не решившись подняться на леса...

Добрый был человек Павел Осипович. Хороший он был человек, умница, наблюдательный, но такой незадачливый...

Работал он тогда мало, больше мечтая о том, что он хотел бы написать. Самой заветной его мечтой было написать цикл картин или хотя бы нарисовать ряд иллюстраций к «Войне и миру», которую он безмерно любил. Обладая огромной памятью, некоторые места из романа знал наизусть. Любил разговор сдобривать целыми цитатами Пьера Безухова и других персонажей романа. Отлично знал Кутузова. Все это для него были живые, еще действующие лица, которые то и дело появлялись, отвечали на вопросы, участвовали в общем разговоре и т. д. Милый был человек Павел Осипович, но подчас надоедливый...

Далее Нестеров, с присущим ему юмором, описывал, как истосковавшийся по общению Ковалевский часов с десяти-одиннадцати вечера начинал обход художников, умаявшихся за день на лесах и мечтавших только об одном — выпасться. Васнецов на правах старого товарища быстро выпроваживал позднего визитера, и тот шел к более молодым художникам. У тех не хватало духу попросить его уйти. Глаза слипались, а Ковалевский все говорил и говорил, вспоминая Рим или цитируя Толстого.

Кто-кто не знал горемыку в Киеве. Знали его и любили по-своему и девицы на Крещатике, такие же подчас горемыки, как и он, — они сердцем чуяли в нем собрата по несчастью. И не раз поздней осенью видели Павла Осиповича где-нибудь на углу Крещатика и Фундуклеевской, горячо разговаривающего с окружившими его девицами... Его истинно доброе сердце откликалось всюду и везде и, как Эолова арфа, отражало в себе тысячи звуков земли...

Да! Любили Павла Осиповича и тут, на Крещатике, и тут он умел задеть лучшие чувства, умел почувствовать, расспросить о насущном, никогда не осудить, утешить. И здесь знали доброго старика и, увидав его, прозябшие зимой, промокшие осенью, усталые, доверчиво делились с ним и горем и радостями своими, а он никогда их не осуждал. Покрывал все своей безмерной любовью. Прекрасный человек был неудачливый баталист Павел Осипович Ковалевский.

Однако образ убогого добряка-жалельщика у Нестерова дополняется другими деталями, важными уже не как штрихи к портрету талантливого неудачника — они расширяют наши знания по истории искусства.

А кто, бывало, лучше Павла Осиповича замечал ошибки, недочеты в рисунке, в композиции, кто так мягко, не задевая авторского самолюбия, укажет, с величайшей осторожностью выведет из тупика, как не он, не наш милый Павел Осипович

О! далеко не всегда приход его был нежелателен... Целыми вечерами, бывало, ждешь его, не начинаешь писать образа без того, чтобы не посмотрел его в угле Павел Осипович. Деликатно он направил уставшую руку на верный путь. Он с величайшей осторожностью миновал то, что трогать было нельзя, или опасно, он был искуснейший хирург, костоправ. После него всегда можно было с уверенностью начинать писать.

Я лично только ему обязан тем, что в образах моих не было тех элементарных ошибок, которые были так возможны при спешных, массовых работах. Я знаю, как часто и Васнецов прибегал к Ковалевскому за советами. Особенно много он помог Виктору Михайловичу в «Богатырях». Там, где кони имели такое ответственное место, Павел Осипович был никем не заменим.

## **Возвращение**

Виктор Михайлович Васнецов не просто так пользовался советами коллеги. Деятельный и энергичный, он еще в 1870-х мечтал работать с Ковалевским. Начав своих «Богатырей» в 1871 году, Виктор Михайлович сразу подумал о Ковалевском: никто, кроме него, не смог бы проконсультировать по вопросам, связанным с анатомией и нравом лошади. Кто бы, действительно, посоветовал, как передать характер коня Ильи Муромца? В былине сказано: «А и конь под Ильей лютый зверь». Дело не в массивной металлической цепи, которой только и можно усмирить ярящееся животное, а в выражении глядящего на зрителя глаза — бешеного, с острым белым бликом света и набухшим кровью белком... Особенно усилилось у Васнецова желание совместной деятельности после встречи с приятелем в Париже. Но жизнь сложилась иначе... Теперь, по прошествии без малого двадцати лет, Васнецов задался целью вернуть Павла Осиповича Ковалевского в родную академию. Закончив работу во Владимирском соборе и вернувшись в Петербург, он начал хлопотать о должности для старого товарища. Благодаря хлопотам Васнецова Павел Осипович оказался в 1897 году профессором академии — теперь уже действующим, а не номинальным:

Конец своей карьеры и свою жизнь Павел Осипович Ковалевский отдал любимой Академии. По предложению В. М. Васнецова, он был приглашен профессором того «батального» класса, в котором когда-то так блестяще, с такими надеждами окончил Императорскую Академию художеств!

Павел Осипович Ковалевский был любимым профессором «батального» класса и умер — оставив по себе прекрасную память как учитель и как добрый, прекрасный человек.

В Петербурге оказалось возможно и осуществление давней мечты Ковалевского — создание цикла иллюстраций к «Войне и миру» Толстого. Собственно, к работе над рисунками художник приступил еще в начале 1890-х годов в Киеве. А в 1896 году Софья Андреевна Толстая писала Льву Николаевичу: «...был... издатель киевский с иллюстрациями к „Войне и Миру“, просит позволения от имени старого художника академика и бывшего профессора живописи Ковалевского приехать в Ясную Поляну, показать рисунки и просить тебя дать указания на те художественные моменты в романе, которые стоят того быть иллюстрированными. Он будет тебе писать. У него уже 60 больших рисунков». Однако встреча, кажется, не состоялась: когда Павел Осипович из «бывшего» профессора превратился в «настоящего» и начал руководить мастерской батальной живописи Высшего художественного училища живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской Академии художеств, да еще и стал действительным членом академии, то ему, вероятно, стало не до яснополянских вояжей.

Вернувшись из добровольного изгнания, Павел Осипович стал довольно много писать, хотя, конечно, не так, как раньше. Создавал пейзажи, обычные русские сельские виды, работал со старыми эскизами.

## **Наследство**

О том, сколько все-таки сделал Ковалевский для иллюстрирования романа Толстого, мы узнаем из документа печального. 19 февраля 1903 года Ковалевский умер в Санкт-Петербурге. Всего через три месяца после его смерти жена и сын поспешили распорядиться наследием.

С.-Петербург. Тысяча девятьсот третьего года апреля шестнадцатого дня. Мы, нижеподписавшиеся, вдова профессора Александра Лукинична Ковалевская и доктор Владимир Павлович Ковалевский, унаследовав, в качестве законных наследников, имущество и права нашего покойного мужа и отца, профессора Павла Осиповича Ковалевского, — сим продаем Потомственному Дворянину Адольфу Федоровичу Марксу в полную собственность с перенесением на него, А. Ф. Маркса, всех прав художественной собственности на сто сорок два (142) рисунка покойного П. О. Ковалевского, а именно: I) восемьдесят восемь иллюстраций к роману графа Л. Н. Толстого: «Война и мир», из них три больших и десять малых вполне законченных рисунков на картоне, десять дублетов (набросков) к последним; тридцать восемь этюдов; двадцать шесть рисунков карандашом и один большой рисунок сепией, изображающих отдельные типы из «Войны и мира». II) Пятьдесят три этюда, частью масляной краской, относящиеся к Русско-Турецкой войне. III) Один рисунок «Езда на долгушке». <...> Условленную плату в количестве одной тысячи семисот (1700) рублей за переданные А. Ф. Марксу в собственность сто сорок три оригинала вышеозначенных рисунков с перенесением на А. Ф. Маркса и прав художественной на них собственности мы, А. Л. и В. П. Ковалевские, получили от А. Ф. Маркса сполна при подписании сего акта (РГАЛИ. Ф. 335. Издательство «А. Ф. Маркс». Оп. 1. Ед. хр. 38: Договор, заключенный Марксом Адольфом Федоровичем и Ковалевскими А. Л. и В. П. о продаже ему рисунков Ковалевского П. О. и Васнецова В. М.).

Оценку производил Василий Васильевич Матэ, замечательный гравер и педагог, делавший гравюры с картин Ковалевского.

Матэ не упускал случая пристроить в значительные столичные собрания работы покойного мастера. Например, 24 октября 1904 года он написал совету Третьяковской галереи письмо, сообщая о рисунках художника, достойных приобретения (РГАЛИ. Ф. 646. Третьяковская галерея. Оп. 1. Ед. хр. 42). Благодаря его авторитету еще несколько произведений Ковалевского оказались в Третьяковке.

Часто по прошествии нескольких десятков лет художественный процесс видится искаженным, не таким, каким был в действительности. В свое время неизвестный нам Павел Осипович Ковалевский был заметным, значительным живописцем. Баталист и анималист, жанрист, пейзажист — такова амплитуда его творческих интересов. Блистательный педагог, деликатный и мудрый советчик, человек с большим юмором и без намека на сознание собственной значительности — вот каким он был. В его лучших произведениях, многофигурных, динамичных, совершенство живописи равно совершенству рисунка. Они радовали его современников; что ж, вероятно, пришла пора, чтобы начали радоваться и потомки.



Олег СОЛОД

## ЛЕОНИД АНДРЕЕВ. ГОЛОС ОДИНОЧЕСТВА

### ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Я не знаю, когда появились книги Андреева в нашей семейной библиотеке. Помню только, как однажды снял с полки небольшой томик в темно-зеленом коленкоровом переплете, раскрыл его наугад и прочел первый попавшийся на глаза рассказ. Назывался он «Большой шлем». Сюжет простой. Четверо немолодых людей раз в неделю играют друг с другом в карты. Не ради выигрыша, просто в силу привычки. За окнами гремят революции, начинаются и заканчиваются войны, но им это неинтересно. Весь их мир, надежды, страдания — лишь стол с зеленым сукном. Один из четверых, Николай Дмитриевич, мечтает собрать однажды на руках «большой шлем». Мечта эта несбыточна потому, что играет Николай Дмитриевич плохо, да и ласки фортуны всегда обходят его стороной. Но однажды неудачливый игрок оказывается в шаге от цели. Нужно лишь протянуть руку и взять прикуп. Если там окажется туз — мечта сбудется. Николай Дмитриевич тянется к картам, но человек он пожилой, сердце не выдерживает такого всплеска эмоций, и Николай Дмитриевич умирает.

Тело увозят. Игроки расходятся по домам, озадаченные не столько внезапной смертью давнего партнера, сколько тем, как же им теперь быть. Ведь невозможно играть втроем. Один из них все же решает узнать, был ли столь желанный Николаем Дмитриевичем туз в прикупе. И находит его. А читатель находит в последующих строках пронзительно точный ответ на вопрос, что же такое смерть:

Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял <...> Если Яков Иванович станет кричать над самым его ухом,

---

Олег Солод родился в 1959 году в Ленинграде. Кандидат химических наук, доцент, автор более 100 научных трудов. Заслуженный работник высшей школы РФ. Член Российского союза профессиональных литераторов и Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор 12 книг и 12 драматических и музыкально-драматических пьес, идущих в репертуарных театрах России и Белоруссии. Сценарист двух полнометражных кинофильмов. Автор сценариев художественных программ и праздников, проходивших на крупнейших площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Лауреат ряда литературных премий.

будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь, — и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кончилось, и он не знает и никогда не узнает.

С тех пор, как я прочел этот рассказ, я и полюбил Андреева. Впоследствии оказалось, что в его произведениях есть ответы не только на этот вопрос.

## ЛИЧНОСТЬ

Шел 1887 год. Шестнадцатилетний ученик Орловской классической гимназии из семьи бедных интеллигентов, рано потерявший отца... Юноша с очень странным кругом чтения, который составляли сочинение Льва Толстого «В чем моя вера», трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление» и «Философия бессознательного» фон Гартмана, гуляя в компании сверстников, вдруг оставил их и пошел к железнодорожным путям... О дальнейшем Андреев вспоминал так:

Я лег между рельс, задавшись вопросом: если останусь жив — значит, есть смысл в моей жизни, если же поезд раздавит меня, стало быть, в этом есть воля Провидения... Мне зашибло грудь и голову, расцарапало лицо, сорвало с меня куртку, разодрало в клочья, но я все же остался невредим.

Зачем Леонид сделал это, особенно трудно понять тем, кто знает слова беспощадного и едкого критика Корнея Чуковского:

У Андреева был великий талант, — он умел бояться смерти, как никто. <...> Тут было истинное его призвание: испытывать смертельный отчаянный ужас.

Почему же человек, который панически боится смерти, так безрассудно играет с жизнью? Потому что с юных лет пытается понять, имеет ли она смысл. Не только для него, но и для всех людей на планете. Именно поэтому Андреев всегда жаждал известности. Ведь если ты известен, твоя жизнь наверняка наполнена смыслом.

Еще 1 августа 1891 года, в год зачисления на юридический факультет Петербургского университета, будущий писатель оставил в дневнике запись, которую можно считать жизненным манифестом. Здесь много юношеской бравады и последствий передозировки Шопенгауэром и Гартманом, но цели высказаны определенно:

Я хочу в своей книге подействовать на разум, на чувство, на нервы человека, на всю его животную природу. Я хотел бы, чтобы человек бледнел от ужаса, читая мою книгу, чтобы она действовала на него как дурман, как страшный сон, чтобы она сводила людей с ума, чтобы они ненавидели, проклинали меня, но все-таки читали...

В том, что эти цели будут достигнуты, автор никогда не сомневался, поскольку еще одной чертой Леонида Николаевича было невероятное самомнение. Вот красноречивая фраза из дневника:

Как художника я определяю себя так: где-то посередине между гением и талантом.

Страх смерти, высокая самооценка и критическое отношение к окружающим сформировали обстоятельство, которое наложило отпечаток на все творчество Андреева.

Большую часть своей жизни, находясь в кругу товарищей по перу и восторженных читателей, Леонид Николаевич был бесконечно одиноким человеком.

## ПИСАТЕЛЬ

У каждого состоявшегося литератора есть ранние произведения, которые он впоследствии охотно «распечатал» бы обратно. Есть они и у нашего героя. Посему оставим в стороне юношеские пробы пера. Настоящим писателем Леонид Андреев стал в 1898 году, когда в газете «Курьер» был напечатан его рассказ «Баргамот и Гараська». Недавно завершились студенческие годы, не отмеченные страстью к учебе. Сокурсники по университету запомнили Леонида Николаевича разве что умением «пить по-андреевски». Это означало одолеть аршин стопок водки и закусить аршином колбасы. Для тех, кто «не в материале», стоит напомнить: аршин — примерно 70 сантиметров.

К счастью, еще до окончания университета, подрабатывая уроками, Андреев смог завязать полезные знакомства, что в России подчас важнее диплома. В частности, стал своим в доме известного терапевта Филиппа Доброва. Войдя в эту семью, он, по сути, воспроизвел сюжет гоголевского «Ревизора», успешно приударив за супругой хозяйна и почти одновременно за ее 15-летней сестрой.

Подобные победы можно объяснить тем, что, по отзывам современников (главным образом — современниц), Андреев был невероятно красив. В чем и сам не сомневался, признаваясь в дневнику:

Вечерок. Внизу разливающаяся, полноводная река. И сапоги красивы, и сам я красив...

Страсть к покорению женских сердец сопровождала Андреева всю жизнь. Что ж, не худший способ бороться с одиночеством. Впрочем, даже будучи в браке, в 1915 году Леонид Николаевич напишет критику Сергею Голоушеву:

...мы с Анной моей живем недурно, что не мешает мне мечтать о победах над женским полом вне, так сказать, закона. <...> Очень хочу любовной авантюры, ведь я же еще молод душою! И хочется мне: либо 1) балерину; либо 2) святую и непорочную. На свидание бы пойти... хорошо!

В доме Добровых Леонид Николаевич завязал еще одно полезное знакомство. Друг семьи юрист Павел Малянтович нанял студента, как сказали бы сейчас, «литературным негром». В задачу входило посещение судебных заседаний и написание отчетов, которые Малянтович публиковал под своим именем в газете «Московский вестник». В редакции быстро раскусили, в чем дело, и предложили Андрееву публиковаться под собственной фамилией. А вскоре дарование молодого автора разглядели в газете «Курьер».

Газеты на рубеже XIX и XX веков обрели новое качество. Бурный рост промышленности привел к притоку в города малограмотных крестьян, которых требовалось как-то образовывать. В результате литературные журналы уступили роль флагманов культурной жизни более доступным периодическим изданиям, которые, подчиняясь требованиям времени, завели литературные отделы.

Опубликованный в «Курьере» рассказ Андреева заметил владелец популярного «Журнала для всех» Виктор Миролюбов. Успех издания объяснялся дешевизной и вниманием редакции к молодым литераторам. На его страницах не гнушались появляться Горький, Бунин, Куприн, Ахматова. Для «Журнала для всех» Андреев на-

писал рассказ «Петька на даче». Родственный по тематике и тональности чеховскому «Ваньке Жукову», по пронзительности звучащей ноты и силе воздействия, он, как минимум, не уступает чеховскому шедевру.

Войти в литературный мир Леониду Николаевичу довелось в непростое время. Золотой век русской литературы, овеянный именами Достоевского, Тургенева, Толстого, катился к закату. Основанная ими школа реализма не выпустила равных учеников. Не способствовала их появлению и обстановка в стране. Инерция государственной машины, запущенной Александром III, позволяла в первые годы правления его преемника Николая II сдерживать революционные порывы. В интеллектуальных кругах продолжало царить уныние, на почве которого выросло уникальное явление — русский символизм. Рупором символистов стало основанное в 1899 году издательство «Скорпион», а печатным органом — альманах «Северные цветы».

Лагерь приверженцев реализма возглавил Максим Горький. Несправедливо «ошканный» в конце XX века после реставрации в России капитализма, Горький был и остается одной из величайших фигур в отечественной литературе. Масштаб его личности красноречиво отражают строки монографии «История русской литературы с древнейших времен до 1925 года» князя Дмитрия Святополка-Мирского, которого трудно обвинить в симпатиях к большевикам:

Горький — единственный русский писатель, обладающий подлинно мировой славой, причем, в отличие от Чехова, его читатели не ограничиваются интеллигенцией. В 1898 году в возрасте 30 лет он стал наиболее популярным писателем России (его имя стояло наравне с Толстым и безусловно выше Чехова).

По тональности первых произведений Андреев, конечно, был гораздо ближе к реалистам, поэтому нет ничего удивительного в том, что Горький первым «прибрал к рукам» молодого автора и ввел его в круг московских литераторов.

Начало девятисотых стало для Андреева временем взлета. Выпущенный в сентябре 1901 года горьковским издательством «Знание» первый сборник его рассказов имел оглушительный успех. Тираж разошелся за три месяца. Любопытно, что до этого рукопись несколько месяцев пролежала безо всякого движения у другого издателя. Алексей Максимович выкупил ее, вернув владельцу 500 рублей выплаченного ранее аванса.

Лев Толстой, которому Андреев рискнул послать экземпляр книжки с дарственной надписью, в ответном письме признался, что еще раньше знал все рассказы автора. Да, впоследствии широко разлетится по стране едкая фраза Льва Николаевича: «Он пугает, а мне не страшно». Но то, что автор имеет полное право на занятие достойного места в рядах российских литераторов, Толстой не ставил под сомнение никогда. В общем, для полного успеха Леониду Николаевичу не хватало только скандала. И он не замедлил себя ждать. 10 января 1902 года «Курьер» опубликовал рассказ «Бездна».

Влюбленный студент и гимназистка, гуляя по лесу, встречаются с группой пьяных бандитов. Студент избит, девушка становится жертвой насилия. Придя в себя, юноша обнаруживает ее бессознательное тело и — к собственному ужасу — помимо горя и отчаяния ощущает растущее... желание. Короткий рассказ о темном, что незримо таится в каждом из нас, завершается фразой «И черная бездна поглотила его».

Сразу после публикации разразилась яростная полемика. На сей раз Лев Толстой пришел в ярость: «Ведь это ужас!.. Какая грязь, какая грязь!.. <...> И к чему все это пишется? Зачем?»

Леонид Николаевич вместо защиты перешел в нападение, опубликовав еще более дискуссионный рассказ «Мысль». Его герой — врач, совершивший убийство, подвер-

гается экспертизе, в ходе которой доказывает... сначала то, что здоров, а потом — не менее убедительно — что болен. Читателю предоставляется возможность самому сделать вывод: безумен доктор Керженцев или нет? А заодно почувствовать, настолько тонка грань между безумием и нормальностью, на которую указывает главный герой:

Не хотите ли проползти на четвереньках? Конечно, не хотите, ибо какой же здоровый человек захочет ползать! Ну, а все-таки? Не является ли у вас такого легонького желания, совсем легонького, совсем пустяшного, над которым смеяться хочется, — соскользнуть со стула и немного, совсем немного проползти?

Полемика вокруг творчества Андреева вспыхнула с новой силой. Пока в его жизни все шло по нарастающей. В 1902 году Леонид Николаевич обвенчался с Александрой Велигорской — той самой девушкой, которую обольщал в доме Доброва. Брак оказался удачным, и одиночество, окружавшее Андреева, впервые отступило. Но — неотвратно приближались годы великих потрясений, после которых ни ему, ни стране уже не суждено было оставаться прежними...

Набатный колокол ударил во весь голос, когда 27 января 1904 года началась Русско-японская война. Всегда чувствительный к проблемам жизни и смерти, Андреев не мог не отреагировать на это событие. Через год, 22 января 1905 года, в сборнике издательства «Знание» вышло одно из самых известных его произведений — рассказ «Красный смех». Он ожидаемо вызвал в обществе бурю, несмотря на то, что, в отличие от «Четырех дней» Гаршина, «Красный смех» не сказал о войне ничего нового. Андреев лишь с присущей ему силой воздействия ужасается безумию массового кровопролития:

Миллион людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны — что же это такое, ведь это сумасшествие?

Есть у «Красного смеха» и еще один недостаток. В отличие от того же Гаршина, автор никогда не был на войне, а потому ничего не знал о тех ее действительно страшных особенностях, о которых с предельной откровенностью поведал Викентий Вересаев:

Мы читали «Красный смех» под Мукденом, под гром орудий и взрывы снарядов, и — смеялись. Настолько неверен основной тон рассказа: упущена из виду самая страшная и самая спасительная особенность человека — способность ко всему привыкать.

Война с Японией оказалась лишь зарницей потрясений. Еще до ее окончания Россию сотрясла первая революция. Николай II был вынужден пойти на уступки. 17 октября 1905 года в манифесте «Об усовершенствовании государственного порядка» были провозглашены свобода совести, слова, собраний и союзов. Среди противников власти тут же возникли разногласия, которые помогли подавить антиправительственные выступления.

Разделились и литераторы. Поначалу не только реалисты, но и некоторые символисты поддержали восставших. Бальмонт печатался в газете большевиков «Новая жизнь». Брюсов тоже обратился к гражданской лирике. Но 13 ноября 1905 года вышла в свет статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», в которой утверждалось, что «литераторы должны <...> поставить свой талант на службу общему делу». Брюсов выступил резко против. И не только он.

Разногласия привели к распаду школы модернистов, еще недавно переживавшей пору расцвета. В 1909 году были закрыты основные символистские издания — журналы

«Золотое руно» и «Весы». Последний Д. Святополк-Мирский называл самым культурным изданием своего времени. Брюсов объявил символизм пройденным этапом в истории литературы, а Блок оставил в дневнике запись: «Я больше не школьник. Никаких символизмов больше».

Андреев поддержал революционеров. И даже оказался в тюрьме за предоставление квартиры для заседаний членам РСДРП. Что быстро охладило его бунтарский пыл. Большую часть активного периода волнений Леонид Николаевич провел за границей.

Год 1906-й принес ему новые удачи. Рассказ «Губернатор» Святополк-Мирский причисляет к трем лучшим в наследии писателя. В нем Андреев откроет читателю глаза на еще одну истину: не так страшна смерть, как ее ожидание. Согласно сюжету рассказа, губернатор, по приказу которого расстреляна демонстрация, понимает, что в отместку будет убит революционерами. Но не знает — когда. И вовсе не факт неизбежной кончины, а именно эта неизвестность делает остаток жизни губернатора адом.

Можно лишь гадать, как сложился бы дальнейший путь Андреева, если бы не смерть 15 ноября 1906 года во время родов его жены. С этих пор писатель вновь одинок, теперь — навсегда. Горький пытается вернуть друга к жизни и творчеству. И это ему удается. В декабре 1906 года на Капри рождается повесть «Иуда Искариот». Библейская история звучит здесь совершенно по-новому. При этом Андреев не пошел по пути нынешних авторов, сочинив нечто «по мотивам», где Иисус — плохой, Иуда — хороший, а живут оба в наши дни на Патриарших прудах. Иуда Андреева — все тот же библейский Иуда. Он предал Христа. Но предал потому, что любил беззаветно. И не мог понять, почему не замечает Иисус его любви. Почему не замечает слабости учеников Своих. Почему не видит, что недостойн дара Его народ иудейский. Предательством хотел Иуда раскрыть Ему глаза на это. Страшась и надеясь, что окажется неправ...

Когда был поднят молот, чтобы пригвоздить к дереву левую руку Иисуса, Иуда закрыл глаза и целую вечность не дышал, не видел, ни жил, а только слушал. <...> Еще не поздно. Иисус еще жив. <...> Вдруг — они поймут? Вдруг всей своею грозной массой мужчин, женщин и детей они двинутся вперед, молча, без крика, сотрут солдат, зальют их по уши своею кровью, вырвут из земли проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса! <...> Еще на земле Иисус. И еще? Нет... Нет... Нет... Иисус умер.

В этой повести в очередной раз проявилось умение автора заставить читателя задуматься над прочитанным и воскликнуть: «А ведь правда!»

Вот фрагмент беседы Иуды с первосвященником:

Своего учителя <...> всегда любят, но больше мертвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим!

Разве не так? И разве не прав Иуда, вопрошая апостола Фому:

— Где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?

<...>

— Учитель не велел убивать.

— Но разве он запретил вам и умирать? Почему же вы живы, когда он мертв?

Насколько важен был для автора образ Иуды, подтверждает тот факт, что в доме Андреева висела картина его собственной работы, на которой Иисус и Иуда объединены одним терновым венцом.

Чтобы еще более увлечь соратника делом, Горький предложил Андрееву стать редактором альманахов «Знания». Определив качество материала единственным критерием для публикации, Леонид Николаевич попытался привлечь авторов самых разных направлений. Но когда в июле 1907 года он предложил Горькому пригласить Блока и Сологуба, Алексей Максимович пришел в ярость и категорически отказался предоставить страницы альманаха своим идеологическим противникам. Андреев, который уже успел выплатить некоторым авансы, в ответ полностью прекратил работу в «Знании». Более того, осенью того же года он переехал в Петербург и принял предложение о сотрудничестве с альманахом «Шиповник». Это издание считалось символистским, хотя его основатели — художник-карикатурист Зиновий Гржебин и скрипач Соломон Копельман — были «всеядными» и охотно публиковали авторов, принадлежавших к разным направлениям.

Порвав со «Знанием», Андреев все же сохранил личные отношения с Горьким. Увы — ненадолго. В сентябре 1907 года Леонид Николаевич опубликовал рассказ «Тьма». Его герой — революционер, скрывшийся от полиции в публичном доме, проводит ночь, беседуя с проституткой. Борец за лучший мир для обездоленных резко отзывается о ее образе жизни. В ответ девушка бросает обвинение, которое стало крылатой фразой: «Как можешь ты быть хорошим, когда я плохая?!» «Дева дна» не желает тянуться к свету! И хотя к утру она меняет взгляды, революционер, разочаровавшийся в своих целях, сдается полиции.

Рассказ Андреева не понравился никому! Но больше всех разгневала «Тьма» Горького. Рассказ основан на истории, которую Алексей Максимович сам однажды рассказал другу. Но в жизни концовка была совсем иной. Горький обвинил Андреева в клевете. Леонид Николаевич отказался что-либо менять, ссылаясь на право художника переосмысливать действительность. После этого личные отношения между недавними соратниками прекратились навсегда. К чести Горького, никто после смерти Андреева не сделал больше для увековечения его памяти. Усилиями Горького в коммунистической стране издавались книги и проводились вечера памяти искреннего, убежденного, яростного антикоммуниста!

Утверждают, что истинной причиной разрыва стал переход Андреева с позиций реалистического искусства в стан символистов. Но согласиться с этим трудно. Ведь Андреев никогда не был ни символистом, ни реалистом. Можно привести много цитат в поддержку этой точки зрения, но достаточно одной, принадлежащей самому писателю:

...я никогда не останавливался на одной форме, не делал ее для себя обязательной — и вообще никогда не связывал свободы своей формой или направлением. <...> Для меня ф о р м а была и есть только граница содержания, им определяется, из него естественно вытекает. <...> Когда символизм потребует от меня, чтобы я даже сморкался символически, я пошлю его к чорту; и когда реализм будет требовать от меня, чтобы даже с н ы м о и строились по рецепту купринских рассказов — я откажусь от реализма.

Итак, в 1907 году писатель Леонид Андреев отправился в «свободное плавание». Кто бы мог подумать, что жить этому писателю осталось не более года! Нет, Леонид Андреев не умер в 1908-м, но его последней удачей как беллетриста был опубликованный 5 апреля 1908 года в «Шиповнике» «Рассказ о семи повешенных». Здесь автор подарил читателям, а может, и себе самому очередное откровение: люди, которые не могут найти бессмертие в жизни, ищут его в смерти.

Леонид Николаевич находился на пике славы. Среди живущих писателей его ставили на второе место после Толстого. Но отныне Андреев не создаст ничего, равного

по таланту и силе воздействия. Будут еще написаны два романа («Сашка Жегулев» и «Дневник сатаны»), около тридцати рассказов, но все это уже не то, не для вечно-сти... В причинах случившегося Леонид Николаевич на закате дней пытался разобрататься сам. Вот фрагмент из записи в дневнике, сделанной 22 апреля 1918 года:

За последний месяц очень много думаю о своей писательской судьбе, ищу разгадки одному странному обстоятельству. <...> А именно: почему я остановился? Ведь это не был еще один хороший писатель, медленно созревающий на солнце, как баклажан. <...> Над ржаво-зеленым болотом, где вся жизнь в тине, бурчанье и лопающихся пузырьках, — вдруг высоко поднялась на тонкой змеиной шее чья-то очень странная голова, очень бледная, очень странная, с очень нехорошими глазами. И все ахнули: «Вот он, пришел!» <...> Это потом они говорили следом за Толстым: «Он пугает, а нам не страшно!» — потом, когда я изменил себе. Да, в этом все дело — я изменил себе. <...> Рожденный проклинать, я занялся раздачей индульгенций — немножко проклятий и тут же целая бочка меду и патоки. Ведь только уксус и желчь у меня настоящие, а вместо сахара — патока. Сладко, но противно.

Итак, ответ есть. Писатель Андреев умер не потому, что изменил реализму с символизмом. Он изменил себе. Подобно многим другим до него и после, он решил не открывать глаза читателем, а вести их за руку туда, куда, как ему казалось, им надо идти. Но превращение литератора в пророка всегда заводит только в тупик. К счастью, за несколько лет до описанных событий Леонид Николаевич успел подружиться с музой драматургии, и эта дружба дала богатые плоды.

### **ДРАМАТУРГ**

Войти в мир театра Андрееву довелось в годы больших перемен. Позади остался XIX век, когда на сценах безраздельно властвовал Александр Островский — автор 47 (!) пьес, бытописавших жизнь империи во всех ее проявлениях. Занять освободившееся место решился Лев Толстой. Однако при всем уважении к классику из девяти написанных им пьес испытание временем выдержали разве что «Живой труп» и «Власть тьмы». Затем наступило время Чехова.

Антон Павлович презрел почти все законы жанра. Его «Чайка» переосмыслила понятие конфликта. У Чехова он не является достоянием главного героя, а «размазан» по персонажам. Ни театры, ни публика к такому не привыкли, премьера в Петербурге провалилась. Требовался режиссер, способный понять идеи Чехова. Долго ждать не пришлось. Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, основавшие в 1898 году Московский художественный театр, нашли у Чехова именно то, что им было нужно — предельный реализм и равенство всех исполнителей. Премьера прошла с триумфом. Еще больший успех сопутствовал другим пьесам — «Три сестры» и «Вишневый сад».

После кончины Чехова его наследником в МХТ стал Горький. Алексей Максимович отшел в сторону долгие разговоры чеховских интеллигентов в вишневых садах. Его пьесы были остросоциальны, их персонажи жили в ночлежках и не говорили — воевали друг с другом.

А что же модернисты? Увы, русский символизм, в отличие от зарубежного, где уже владели умами Метерлинк и Гауптман, не смог составить конкуренции Чехову и Горькому.

Андреев, как и ранее в прозе, пошел своим путем. Чехов изменил законы драматургии — Андреев отбросил их, придумав свой «условный» театр. В письме Станиславскому он объяснил концепцию новой драмы:

Если в Чехове и даже Метерлинке, сцена должна дать жизнь, то здесь — в этом представлении сцена должна дать только отражение жизни.

Леонид Николаевич задумал показать в обобщенном виде жизнь человека от первого до последнего дня. Даже не «показать», а рассказать о ней, что опять противоречит законам театра. Действие заменили комментарии, которые делает персонаж Нечто в сером.

Пьесу приняли в МХТ, но перенесли постановку на следующий сезон. Большой интерес проявил тогда еще малоизвестный Всеволод Мейерхольд, приглашенный в театр Верой Комиссаржевской. Немирович-Данченко не стал возражать против постановки в Петербурге, видимо, полагая, что до закрытия сезона остается всего ничего, и Мейерхольд не успеет. Как бы не так! В Петербурге «Жизнь человека» не только поставили, но и успели показать 10 раз, неизменно с полным успехом! Мейерхольд в письме Андрееву объявил день премьеры днем создания Нового Театра.

Реакция литературного мира оказалась предсказуемой. Реалистам «Жизнь человека» не могла понравиться «по определению». От символистов поступили неоднозначные отзывы. Гиппиус и Брюсов отвергли пьесу, а вот в среде молодых символистов «Жизнь человека» приняли не только Белый, но и Блок:

Метерлинк никогда не достигал такой грубости, топорности, наивности в постановке вопросов. За эту-то топорность и наивность я люблю «Жизнь человека» и думаю, что давно не было пьесы более важной и насущной.

Казалось бы, будущее обеспечено. Для дальнейшего успеха Андрееву, как ранее Чехову, нужно было лишь найти своего режиссера. Увы, этого не случилось. В МХТ ему благоволил лишь Немирович-Данченко. Станиславский Андреева не признавал. А с Мейерхольдом Леонид Николаевич поссорился по малозначащей причине.

Следующий, 1908 год, подтвердил: «измы» были для него не самоцелью. В пьесе «Черные маски» Леонид Николаевич заткнул за пояс любого модерниста. И тут же написал вполне реалистические «Дни нашей жизни». Андреев и далее будет «слугой двух господ», при этом служа лишь одному господину — себе самому. Характерным примером стала пьеса «Анатэма» — не первая и не последняя в искусстве попытка поместить дьявола в мир людей. Но андреевский дьявол так же неоднозначен, как его Иуда. Он презирает человека и жалеет его. Преисполнен величия и в то же время чувствует, что бессилён.

Согласно сюжету, дьявол, желая показать Богу истинную природу людей, является на землю под видом адвоката и сообщает бедному еврею Давиду Лейзеру об огромном наследстве. Лейзер раздает деньги нуждающимся, но когда средства заканчиваются, его убивают те, кто уверен: Лейзер прикарманил остаток. Нелицеприятная характеристика человечеству — еще одно, что роднит «Анатэму» с «Иудой Искаримотом».

Премьеры в Москве и Петербурге прошли успешно, но против «Анатэмы» выступила церковь — и пьесу запретили. На всякий случай были сняты со сцены и другие постановки крамольного автора. Андреев в одночасье превратился из «драматурга номер один» в изгоя.

В этих условиях Леонид Николаевич занялся теорией сценического искусства. В 1910 году в свет вышли его «Письма о театре», в которых Андреев объявляет о необходимости пересмотра подхода к драме:

Не голод, не любовь, не честолюбие: мысль, — человеческая мысль, в ее страданиях, радости и борьбе, — вот кто истинный герой современной жизни.

Новый театр по Андрееву должен быть обращен во внутренний мир человека. Этот новый театр он назвал «театр панпсихизма».

Получив возможность в 1912 году вернуться к практике, Леонид Николаевич реализовал свои идеи в пьесе «Екатерина Ивановна». На первый взгляд она вполне реалистична. Героиня живет в счастливой семье, но однажды муж, получив анонимку от завистника, в порыве ревности пытается убить супругу. Ситуацию удается разрешить, но сознание женщины меняется. Екатерина Ивановна в отместку сама пускается во все тяжкие, совращая в итоге брата супруга.

Андреева, конечно, интересовали не перипетии любовных страстей, а те загадочные превращения, которые происходят в душе человека под влиянием обстоятельств. Но Немирович-Данченко увидел в «Екатерине Ивановне» лишь сюжет и социальную драму. В декабре состоялась премьера, которую Станиславский открыто назвал «гнилым нарывом» на театральной афише. Спектакль провалился.

Однако Андреев не оставил попыток укоренить театр «панпсихе». Над главной пьесой в этом жанре — «Собачий вальс» — он работал три года. В ней почти нет действия, герои существуют сами по себе. Нетрудно было предположить, что зрители не воспримут подобное зрелище. Чтобы не обижать драматурга, «Собачий вальс» в 1916 году приняли к постановке в МХТ, а на деле «положили под сукно». Аналогично поступили в Александринском театре. Автор, так и не увидевший пьесу на сцене, упрямо назвал ее вещью будущего. И не ошибся. Причем не только в этом. Забытые почти на сто лет, сейчас пьесы Андреева вернулись к зрителю. На театральных подмостках можно увидеть и «Жизнь человека», и «Дни нашей жизни», и «Екатерину Ивановну», и даже инсценировки андреевских рассказов. Спектакль «Губернатор», поставленный в БДТ Андреем Могучим, удостоен нескольких премий.

К сожалению, автор не мог этого знать. Устав сопротивляться обстоятельствам, в 1916 году Леонид Николаевич напишет свою последнюю пьесу «Милые призраки», в которой нет ничего от театра «панпсихе». Александринский театр успел показать премьеру 6 февраля 1917 года — за месяц до начала Февральской революции. Дальше Андрееву, да и стране, будет не до театра...

## ГРАЖДАНИН

Потрясения второго десятилетия XX века Леонид Николаевич встретил в качестве гаснущей звезды, имя которой еще помнят, а вот почему — уже не всегда. В этот период жизни имеет смысл обсуждать Андреева скорее как гражданина, чем как литератора. Можно спорить о том, что первично. То ли большие перемены заставили его окунуться в водоворот общественной жизни, помешав литературе, то ли наоборот: публицистика заполнила образовавшуюся пустоту.

Определенно можно сказать одно: революционером Андреев не был, предпочитая смотреть на происходящее со стороны, хотя голос его по-прежнему звучал громко. После начала Первой мировой войны, когда антигерманский порыв поначалу объединил людей самых разных взглядов, патриотические очерки Андреева постоянно выходили в газетах. Он продолжал считать дело империи праведным даже тогда, когда в этом усомнились многие. При этом отклоняя все предложения побывать на фронте. Безудержный патриотизм привел к тому, что весной 1916 года Андреев возглавил отделы беллетристики, критики и театра в проправительственной газете «Русская воля». Это решение потрясло всех, кто знал Леонида Николаевича. Ведь ранее он всегда избегал ситуаций, связывавших его с приверженцами крайних позиций. Потому не стал публиковаться в «Весах», разошелся с Горьким. По той же причине, позднее, на-

ходясь в эмиграции в стесненных обстоятельствах, отвергнет предложение об издании своих сочинений в России за сумму в 100 тысяч рублей под надуманным предлогом нежелания печататься по новым правилам орфографии.

Возможно, истинной причиной согласия Леонида Николаевича работать в «Русской воле» было желание всегда оставаться в центре событий. Пока это удавалось делать с помощью книг и пьес, в других способах нужды не было. Теперь же приходилось их искать.

В 1917 году смотреть на бедствия со стороны уже не получилось. Андреев не пошел на фронт? Что ж, фронт пришел к Андрееву.

Крах монархии он принял с энтузиазмом. Но дальнейшая раскрутка «красного колаеса» Андреева отпугнула. Встречаясь с угрозой, люди либо борются, либо отходят в сторону. Позицию Андреева точно описал основатель петербургского «Нового театра» Федор Фальковский:

Знамена, лозунги, марсельезы, восторженные лица <...> все это лавиной заполняло улицы... За манифестацией тянется изредка интеллигенция, но она держится тротуара, случайно, но упорно. На глазах слезы умиления, в сердце радость, но с тротуара не сходит — почему? <...> Леонид [Николаевич] и на тротуар не вышел. Он остался в своем кабинете на Марсовом поле и здесь целыми днями, не отрываясь от телефона, жадно выслушивал подробности. <...> Но события с улицы стали переноситься в дома, пули стали залетать в окна, и Леонид] Н[иколаевич] перешел в свой Райволовский дом, чтобы оттуда продолжать свои наблюдения.

Знаменитый райволовский дом был построен на Карельском перешейке в местечке Ваммельсуо в мае 1908 года по проекту писателя и всей своей сутью отражал черты личности хозяина. Вот каким увидела его одна из посетительниц:

Высокий, темный, бревенчатый дом с башней, с ярко-красной на солнце черепитчатой крышей, открытый всем ветрам и вьюгам Финляндии, казался тяжелым и угрюмым. <...> Раздвинув занавеску, посетитель оказывался в столовой, настолько обширной, что в ней могло пообедать сто человек. <...> Самой примечательной комнатой в доме был кабинет. Огромный, такой же, как столовая внизу...

Главную характеристику дома можно сформулировать кратко: жить в нем было невозможно, особенно зимой. Отопление требовало чудовищных затрат — и все равно не справлялось с задачей. Дом пожирал финансы.

Таковы были условия, в которых оказался писатель со своей второй женой Анной Ильиничной, матерью и детьми после эмиграции. Удивительно ли, что он возненавидел Ленина и большевиков?

Тяга к нахождению в центре внимания и завышенная самооценка никуда не делись. Андреев не просто стал контрреволюционером, он всерьез считал себя главным контрреволюционером страны. Вот какую запись сделал писатель в дневнике 4 марта 1919 года:

Из разговоров добрых людей вытекает, что я сейчас — единственный голос России, который может быть всюду слышим. <...> Даже в истории они не могут найти ни лица, ни момента, когда один человек и значил бы и мог бы так много.

Андреев требует себе пост министра печати и пропаганды в эмигрантском Северо-западном правительстве. Он не видит, что с ним охотно беседуют, но не принимают все-

рлез. Что объяснимо. Пообщаться с человеком, чьими книгами зачитывалась страна, лестно всем. Привлечь известную личность в ряды движения — тоже хорошо. Но поручать серьезный пост человеку без опыта организационной работы, конфликтному и самовлюбленному — это уже слишком.

Леонид Николаевич Андреев скончался от сердечного приступа 12 сентября 1919 года, практически успев закончить работу над последним произведением — романом «День Сатаны». Мытарства его не завершились и после смерти. Мать Андреева до последнего ждала, что большевики вот-вот падут, а потому лишь через пять лет гроб с телом, хранившийся в часовне, предали земле на кладбище в местечке Месякюля (ныне — Молодежное).

В 1956 году Леонид Николаевич все же вернулся на родину. Его прах перезахоронили на Литераторских мостках Волковского кладбища в Ленинграде.

### ЭПИТАФИЯ

Неоднозначно оцененное при жизни, творчество Леонида Андреева и после его смерти вызывает противоречивые суждения. Дмитрий Святополк-Мирский, чьи высказывания в адрес писателя довольно критичны, все же отдает ему должное:

В истории русской культуры он останется очень интересной и показательной фигурой: типичным представителем трагической стадии в развитии интеллигенции, — той стадии, когда, потеряв веру в наивный революционный оптимизм, она вдруг оказалась во вселенской пустоте. Все это относится к тому Андрееву, который пустился в мрачные моря модернизма. Другой Андреев — скромный и умный последователь Толстого, навсегда занял свое скромное место в пантеоне русских писателей.

Святополк-Мирский имеет право на собственное мнение, но более объективной представляется оценка Андрея Белого, который писал:

Л. Андреев художник огромный. <...> Он напоминает разгневанного безумца, бесцельно борющегося с пустотой. И дни бегут. И ночь растет. И Андреев борется с ночью. И крики отчаяния все отчетливей раздаются в изумительных по красоте и силе произведениях его.

И уж точно прав писатель Борис Зайцев:

Можно сердиться, спорить и критиковать, но равнодушно мимо не пройдешь.

Не пройдите и вы равнодушно мимо могилы Андреева, когда окажетесь на Волковском кладбище...

---

РЕЦЕНЗИИ

---

**ВЛАДИМИР ДЕЛБА: НОВЕЛЛЫ О ЮНОСТИ,  
ИЛИ ПЯТЬ ПОВЕСТЕЙ О ДОБРЕ И ЗЛЕ**

В издательстве Санкт-Петербурга «Алетейя» недавно издана книга известного абхазского писателя, члена Русского ПЕН-Центра, лауреата Международной литературной премии имени Фазила Искандера 2019 года Владимира Делба «Между храмом, стадионом и парком». Это сборник, включающий в себя пять не связанных между собой произведений.

Имя этого абхазского писателя, создающего свои произведения на русском языке, хорошо известно и любителям прозы, и поклонникам поэзии. Впрочем, знают его и как талантливого художника-графика, мастера книжной и журнальной иллюстрации. Его многогранные дарования придают особый ракурс, цепкость и зоркость взгляду Владимира Делбы, неповторимую колоритность и стереометрию прозе, выходящей из-под его пера. Как и его легендарный соотечественник Фазиль Искандер, он прочными, нерушимыми узами связан с родной почвой и пейзажем, с легендами и обычаями Абхазии, со своими земляками. Повествование у Делбы всегда словно озарено солнцем юга, проникнуто очарованием авторской улыбки, чаще светлой, мягкой и чуть-чуть снисходительной, иногда немного лукавой, подчас ироничной... Книга, о которой веду сегодня речь, у В. Делбы уже десятая по счету, и вполне закономерно, что в 2019 году именно он стал обладателем престижной премии имени Фазила Искандера. Но всегда ли столь безмятежна улыбка автора?

«Детство и юность, проведенные в благодатном краю, в солнечном интернациональном городе, столице Абхазии, не могли не стать естественными источниками формирования столь удивительной коллекции различных событий, часто забавных, озорных и очень смешных, порой драматичных и даже трагических», — пишет В. Делба в предисловии к новому сборнику новелл.

**Как карта ляжет**

«Я допускаю: это память подсказывает мне, что жизнь наша сложна и многообразна, в ней есть место и для радости, и для печали, а вернее, грустное и веселое всегда идут по жизни рука об руку... Образно говоря, если мы усыпаем дорогу в прошлое виртуальными розами, не стоит забывать и о шипах!» — размышляет автор в первой новелле, «Между храмом, стадионом и парком», которая, собственно, и подарила свое название всему сборнику. Хочется отметить, что само это заглавие звучит, словно строка из ненаписанного стихотворения. Но уже в первом повествовании, пронизанном светом южного солнца, внимание читателя приковывает трагический эпизод. Компания сорванцов-старшеклассников, решившая, по меткому выражению автора, сыграть с судьбой в русскую рулетку, устраивает рискованное ралли на угнанном автомобиле наперегонки с милицией. Легкомысленная авантюра с выраженным криминальным оттенком, которая с самого начала добра, разумеется, не сулила, оканчивается гибелью ее инициатора Жорика, ровесника автора. Неожиданная и страшная смерть одноклассника переживается им как сильнейший шок. Но осознает ли он

в полной мере, что нить жизни его сверстника и приятеля оборвали стремление к экстриму и нездоровый азарт? Как в свое время риторически вопрошал поэт Яков Полонский, «не мои ли страсти вызывают бурю?»

### **Очарование зла**

Если в первой новелле тема игры и азарта намечена лишь пунктиром, то во второй, которая и называется «Игрок», она становится основной. В центре повествования оказывается фигура Эдуарда, обаятельного мошенника, авантюриста, умеющего подчинять себе обстоятельства и привлекать сердца людей. В уголовном мире он имеет прочную репутацию удачливого шулера, или каталы, как принято выражаться в последнее время. Заметим, «мокрые дела», то есть убийства, в его специализацию никак не входят, он освоил множество способов отъема денег у граждан без грубого физического воздействия. Как писала Марина Цветаева, «Решено: играем оба. / И притом — играем разно:/ Ты — по чести, я — плутуя...»

Разумеется, случай, когда отрицательный персонаж смотрится на редкость привлекательно, подчас затмевая положительных героев своей яркостью и полнокровностью, в литературе далеко не первый и не единственный. Достаточно вспомнить «брата по духу» нашего Эдуарда, легендарного Остапа Бендера. Как и его блистательный предшественник, сын турецкоподданного, Эдо в новелле В. Делбы бесконечно остроумен, артистичен, интеллектуален, отнюдь не чужд образования и культуры. Более того, в ближайшем кругу он известен как человек щедрый, заботливый и теплый, готовый выручить в трудную минуту, проявить гостеприимство, привлечь нужные связи... Не стоит забывать: Владимир Делба слагает своего рода «Сказки старого Сухума», и в его художественном мире незаурядный по своим задаткам катала — фигура почти романтическая, примерно как отважный разбойник в старинных легендах. Беда в том, что все свои недюжинные таланты, предприимчивость и неплохие человеческие качества Эдо с раннего возраста направил в ярко выраженное криминальное русло. И то, что смерть настигает его внезапно, как одинокого волка, в чужой стране, лишенного семьи и близких друзей, выглядит более чем закономерно. Справедливости ради, отметим: это еще далеко не худший финал, с учетом всех особенностей его яркой и красочной биографии — все-таки человек умер в своей постели...

Отношение автора к этому неоднозначному персонажу амбивалентно: с одной стороны, он искренне скорбит о друге детства и юности, оплакивая его нереализованные возможности и таланты, с другой — осознает, что весь богатейший потенциал своей личности Эдуард направил во зло. Наверное, лучше всего о чувствах его лирического героя сумел рассказать Давид Самойлов в стихотворении «Прощание»: «...но я не о своей туге,/ не о талантах и т. п. — / я плачу просто о тебе...»

### **Но есть и высший суд**

Первые три новеллы, вошедшие в новый сборник, вполне укладываются в рамки реализма, и он отнюдь не ощущается как прокрустово ложе для прозаика. Во многих местах авторский стиль словно подсвечен и смягчен лирическим зрением, но порой становится по-настоящему критическим, жестким, особенно в сценах карточной игры. А вот в четвертой новелле под названием «Девятое мая генерала Василенко» краски авторской палитры как будто предельно густеют и темнеют, достигая максимальной интенсивности, и отнести ее к реалистическому жанру никак не возможно, ибо все про-

исходящее в ней подчинено совершенно иным законам. Здесь сны и видения тесно переплетаются с явью и подчас играют основополагающую роль в ткани произведения. Действие рассказа разворачивается сразу в нескольких пространствах: настоящего и прошлого, памяти и сновидений, действительности и воображения.

В отличие от обаятельного и теплого авантюриста Эдо, Аполлинарий Мокеевич Рыжик, по прозвищу Моргун, служащий НКВД, являет собой воплощение абсолютного зла. Перед нами предстает прирожденный садист и убийца, сумевший удачно вписаться в систему и получивший возможность распоряжаться человеческими жизнями. Предельную жесткость приобретает здесь и столь любимая автором тема азартной игры. В условиях сталинского лагеря, которым руководит Моргун, общепринятой ставкой становится жизнь заключенного. В результате среди многочисленных жертв изверга оказываются любимая жена и единственная дочь генерала Василенко. Когда тот узнает, кто явился непосредственным виновником гибели его близких, главной целью земного существования для него становится исполнение приговора, который, как он убежден, вынесен высшим судом. Найти и покарать злодея — ради выполнения столь непростой задачи генерал Василенко и живет отныне.

Таким образом, лейтмотив этой яркой в художественном отношении и весьма необычной новеллы — возмездие и воздаяние за преступление и злодеяние. Всем ходом действия автор убеждает нас, что виновным не избежать суда и кары, которая обязательно, неминуемо, неотвратимо настигнет их, пусть даже в ином времени и пространстве.

Можно, разумеется, спорить и дискутировать о том, к какому литературному течению принадлежит повествование о генерале Василенко. Однако важная роль, которая отведена снам и фантазмагориям в художественной ткани новеллы, позволяет мне обоснованно утверждать: это произведение следует отнести к магическому реализму, ставшему особенно актуальным и популярным сегодня.

\* \* \*

Владимир Делба обладает несомненным и редким даром рассказчика: повествование течет из-под его пера с необыкновенной легкостью и живостью, он красноречив и внимателен к каждой мелкой, дробной детали, что, несомненно, придает сочинениям особую выпуклость, убедительность и колорит, заставляя поверить в реальность происходящего. При этом большинство его новелл по-настоящему динамично, отличается увлекательным сюжетом, позволяющим держать читателя в напряжении, не давая ему прервать процесс чтения на полуслове. Новый сборник писателя еще раз подтверждает: перед нами настоящий мастер прозы, и можно по-доброму позавидовать тем, кто до сих пор не встречался с его персонажами, ибо немалое удовольствие ожидает их впереди.

**Елена ПЕЧЕРСКАЯ**

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

## У БЕРЕГОВ ИСПАНИИ

## Часть 4

Из истории русско-испанских связей для нас интересны и те страницы, которые так или иначе связаны с Мурсией. Особое место в этом ряду занимает дон Хуан ван Гален. Он родился в Испании в 1790 году и, окончив морское училище, поступил на службу в королевский флот. В 1808 году дон Хуан участвовал в защите Мадрида от наполеоновских войск. Казалось, его военная карьера была успешной, но через несколько лет он стал жертвой придворных интриг.

8 декабря 1815 году в полку, где служил ван Гален, был получен приказ арестовать его и отправить в замок Марвелла (соврем. Марбелья), стоящий на морском берегу, на расстоянии четырех дней пути от Малаги. Приказ этот был немедленно исполнен, но в замке Марвелла, наполовину разрушенном во время войны, не нашлось пригодной темницы, и узника поместили в городской ратуше, в комнате для осужденных на казнь. Здесь дона Хуана посетил губернатор в сопровождении двух монахов и посоветовал ему «в виду близкой смерти, облегчить свою совесть исповедью перед святыми мужами»<sup>1</sup>. Ему было предъявлено обвинение, сулившее смерть — «за участие в заговоре против жизни его величества». Но к счастью, дон Хуан смог доказать свою невиновность и был освобожден из темницы.

Однако его недруги по-прежнему плели интриги, и в 1817 году дона Хуана снова арестовали по тому же обвинению. На этот раз он был отправлен в Мурсию, где его бросили в темницу. Там была ужасная сырость, так как поблизости протекала река Сегур. У дона Хуана здесь было единственное утешение — чтение религиозных книг. Через некоторое время его перевезли в Мадрид, где он сумел добиться аудиенции у короля Фердинанда VII. Но король не поверил в невиновность дона Хуана, и ему по-прежнему грозила смерть. Отчаявшись, он решил бежать, и, предприняв удачную попытку, в июне 1818 года он прибыл в Англию. Здесь беглец задержался недолго и осенью того же 1818 года отправился в Россию, рассчитывая поступить там на службу в армию.

Дон Хуан прибыл в Петербург в декабре 1818 года. В ожидании зачисления в русскую армию он посещал православные храмы и слушал пение, которое «очень нравилось ему при печальном настроении духа». В своих заметках он описывает увеселения во время Масленицы, пасхальную заутреню. 16 мая 1819 года был издан наконец приказ о зачислении ван Галена в чине майора в Кавказскую армию генерала Ермолова. Во время своего двухлетнего пребывания в России дон Хуан побывал во многих уголках Кавказа: он посетил Кахетию, два месяца жил в Тифлисе (ныне Тбилиси, сто-

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

<sup>1</sup> Белозерская Н. Записки Ван Галена // Исторический вестник. 1884, май. С. 405.

лица Грузии). Его записки, изданные в Лондоне в 1830 году, повествуют о традициях и быте местных народов; они и сегодня не утратили своей познавательной ценности.

Однако вернемся из грузинской Иверии в испанскую Иберию, а точнее — в Мурсию. В августе 1846 года здесь побывал русский композитор Михаил Иванович Глинка, и его приятно поразили окрестности города. «Мурсия славится долиной; по долине рассыпаны живописные хижины, — писал Глинка. — Яркая зелень составляет приятную противоположность с близлежащими горами из розового гранита»<sup>2</sup>.

Страстный поклонник театра, Михаил Иванович побывал в Мурсии в относительно спокойное время. А ведь в этом городе были такие времена, когда театральные зрелища запрещались. В XVIII веке — с 1734-го по 1789 год — они были дозволены снова, но потом снова последовал запрет. Тогдашние церковные власти решительно противились их возобновлению, а духовенство было обязано отказывать актерам в святом причастии<sup>3</sup>. Впрочем, сегодня все это уже позади: ведь папа Иоанн Павел II в молодости выступал в театральной любительской труппе...

Гордость Мурсии составляет кафедральный собор, возведенный в XIV столетии. Но фасад собора был украшен гораздо позднее — в первой половине XVIII века, по проекту Винсенте Асеро. Самые разнообразные формы, присущие испанскому барокко, соединяются в этом фасаде в одно живописное целое<sup>4</sup>. Сегодня собор заслоняют окружающие здания, и можно любоваться лишь фасадом храма с площади, лежащей перед ним. Когда-то здесь в восхищении стоял и Михаил Иванович, записавший потом такие строки: «Мурсия весьма живописный город... один из лучших соборов в Испании и колокольня, или огромная башня, еще более украшают город, который со всех сторон в большем или меньшем расстоянии окружен разноцветными горами»<sup>5</sup>.

М. И. Глинке довелось прожить в Мурсии не один день, и он смог не торопясь ознакомиться с местными святынями. А Мурсии есть чем гордиться. Знаменитый скульптор XVIII века Сальсильо, создатель лучших религиозных образов в испанском искусстве, был сыном этой земли. Его скульптурами до сих пор любят жители Мурсии во время торжественных процессий на Страстной неделе, когда члены церковного братства в сиреневых средневековых одеждах и высоких капюшонах несут статую Божией Матери, усыпанную розами.

В 1864 году в Мурсии побывал граф Евгений Андреевич Салиас (1841—1908), ставший впоследствии известным писателем. 23-летний юноша посетил в Мурсии кафедральный собор — «памятник громадный и стойкий немало, строившийся целые века», а затем поднялся на его 98-метровую колокольню. «Лазил на колокольню, не по лестнице, а по широкой дороге, где проедет любая карета, — вспоминал впоследствии Е. А. Салиас. — Великолепный вид с колокольни на окрестность или так называемую Huerta de Murcia, сад, т. е. долину Мурсии. Это целое, далеко развернувшееся ярко-зеленое море. Картину, которую я видел с этой колокольни при закате малинового солнца, передать невозможно»<sup>6</sup>.

Интересно сравнить эти строки с описанием города, относящимся к XVIII столетию. «Мурсия знатной в Гишпании город. Столица королевства Мурцианского, в изрядном и ровном месте, на реке Сегуре, — сообщалось в русской печати. — На колокольне у здешней соборной святыя Екатерины церкви такая каменная лестница, по которой до самого шпица или верху, в коляске ехать можно»<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> Глинка М. И. Записки М. И. Глинки. Ч. IV // Русская старина. 1870. Т. 2. С. 434.

<sup>3</sup> См.: Тикнор Джон. История испанской литературы. Т. III. М., 1891. С. 322, прим. 32.

<sup>4</sup> Малицкая К. М. Испания. М., 1935. С. 27.

<sup>5</sup> Глинка М. И. Письма и документы // Литературное наследие. Т. II. Л., 1953. С. 366.

<sup>6</sup> Салиас Е. А. Путевые очерки Испании. Собрание сочинений. Т. 24. М., 1900. С. 483.

<sup>7</sup> Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотрения света. СПб., 1761. С. 169.

Посетил Мурсию и Илья Эренбург, объездивший многие города Испании в 1932 году — в относительно мирное время: ведь до гражданской войны оставалось целых четыре года. Но уже тогда в Испании пахло грозой: Эренбург был свидетелем того, как люмпен-пролетариат разрушал храмы в целом ряде городов. Тогда «прогрессивные круги» считали, что причиной народных бед является Церковь и ее служители. Переоценивать подобные взгляды пришлось позднее, а в те годы Эренбург писал о религии в присущей ему иронической манере. Однако и эти строки представляют интерес: сквозь налет сарказма можно увидеть и убедиться, какое благоговение испытывали испанцы к Пресвятой Деве Марии. «На Богоматери, которая охраняет Мурсию, добрая дюжина орденов, эти ордена были пожалованы brave генералам, умирившим арабов, — пишет Эренбург. — Знаки отличия генералы подарили Богоматери... Эти дары аллегорические, но Богоматерь принимает подарки и более существенные, как-то: драгоценные камни, золото высокой пробы, жемчуга. Безделушки, коими украшена эта „защитница бедных“, оцениваются во много миллионов песет. Кроме того, у „покровительницы нищих“ 11 платьев, все, разумеется, из самого дорогого шелка, расшитого камнями»<sup>8</sup>.

Сегодня эти и другие «более существенные» сокровища хранятся в церковном музее под надежным присмотром. В другом музее, носящем имя знаменитого скульптора Сальсильо (XVIII век), выставлено около тысячи статуй — больших и малых, изготовленных для процессий на Страстной пятнице, а также для праздника Рождества Христова. Старинные храмы встречаются в Мурсии на каждом шагу, и каждый из них посвящен чтимому святому: св. Петру, св. Андрею, св. Евлалии, св. Николаю, св. Михаилу и многим другим. Внутри они щедро украшены резьбой в стиле барокко. Имеются здесь и монастыри с богатыми книгохранилищами. В 1896 году с мурсийскими рукописными собраниями ознакомился отечественный исследователь В. Пискорский<sup>9</sup>.

Славится Мурсия и своими уютными двориками. С одним из них петербуржцы могли познакомиться на выставке испанского искусства в 1900 году: здесь была представлена картина художника Паленсия Габриэля (Мадрид) «Домовой двор в Мурсии»<sup>10</sup>.

Близится вечер, и пора возвращаться в Картахену. Еще раз полюбовавшись на фасад кафедрального собора и миновав здание епископского дворца, перейдем по старинному мосту на другой берег Сегуры, которая несет свои воды, орошая апельсиновые рощи в предместьях Мурсии. В Картахену паломников быстро домчит поезд, бегущий под уклон между крутых склонов.

## АВИЛА — ГОРОД СЯТОЙ ТЕРЕЗЫ

В 1970 году папа Павел VI официально провозгласил св. Терезу Авильскую «Учителем Церкви». Она стала первой женщиной, носящей этот титул в Римско-католической церкви. А между тем еще в конце XIX века об этом размышлял один из православных священников, прибывший из России на Гавайские острова.

Прибыв на Гавайи в 1893 году, православный пастырь воспользовался гостеприимством местных католических миссионеров. Разместившись в келье скромной обители, он увидел перед иконами столик с Распятием и восковыми свечами и зажженную лампадку. «Полка с книгами религиозного содержания, — пишет гость из России, — полное собрание сочинений преподобной Терезии... Я заинтересовался житием пре-

<sup>8</sup> Эренбург И. Испания. М., 1932. С. 154.

<sup>9</sup> См.: Отчет В. Пискорского о заграничной командировке // Журнал министерства народного просвещения. 1898, декабрь. С. 21.

<sup>10</sup> Первая испанская художественная выставка в С.-Петербурге 1900 г. (Каталог картин). СПб., 1900. С. 14.

подобной Терезии, этой исключительной личности в Католической Церкви, реформировавшей орден кармелиток и заслужившей необычайный титул матери Церкви. Будь она мужчиной, она бы считалась учителем Церкви за свои богословские поучения...»<sup>11</sup>

В 1812 году российский император Александр I составил для своей сестры — великой княгини Екатерины Павловны — записку под названием «О мистической литературе». На первом месте здесь было имя св. Терезы Авильской<sup>12</sup>. Произведения Терезы Авильской переводил на русский язык архимандрит Макарий (Глухарев) (1792—1847), выдающийся деятель Русской православной церкви, основатель Алтайской миссии<sup>13</sup>. Жизни и деятельности св. Терезы уделяли внимание и русские писатели. Одной из последних книг, написанных Дмитрием Сергеевичем Мережковским (1865—1941), было сочинение под названием «Испанские мистики»<sup>14</sup>. Житие Терезы Авильской помещено здесь на почетном первом месте. Творения св. Терезы переводила К. И. Флоровская<sup>15</sup>, супруга выдающегося православного богослова прот. Георгия Флоровского (1893—1979).

В наше время все больше паломников из разных стран, посещающих Испанию, стремятся побывать в Авиле — городе св. Терезы.

*Мадрид—Авила.* Для того чтобы из Мадрида добраться до Авилы, нужно пересечь Центральные Кордильеры; в прошлом у путешественников на это уходил не один день. Нынче все упростилось, и поезд домчит сюда пассажиров всего за два часа. Если посмотреть на карту Испании, то на железнодорожной ветке Мадрид—Авила можно отыскать заманчивое название — Эскориал. Но если мы хотим осмотреть Авилу и ознакомиться с главными ее святынями, то посещение старинного монастыря Эскориал нужно перенести на следующий день.

Неопытные путешественники, в первый раз оказавшиеся в Мадриде, встают чуть свет и мчатся через весь город на главный вокзал Мадрид—Чамартин (Chamartin), чтобы сесть на авильский поезд. Но бывалые странники знают, что поезд на Авилу идет и с южного вокзала Мадрид—Аточа и на него можно сесть в центре города на одной из подземных станций. Это как в Москве: если вы оказались на площади «трех вокзалов», необязательно, путаясь в мешках и чемоданах, ехать на метро к Курскому вокзалу, — рядом платформа Каланчевская.

Мадридская подземная «Каланчевка» находится недалеко от всемирно известного музея Прадо. На перронном табло вспыхивает надпись: прибывающий поезд следует до Авилы. Такая же система в двухэтажных вагонах: бегущая по табло надпись высвечивает название следующей станции. На главном вокзале забираем «новеньких», и поезд, быстро миновав деловую часть города с его высотными билдингами, устремляется к горному перевалу.

Минут через двадцать перед пассажирами возникают Кордильеры — «в паре» с огромным бетонным крестом. Он был воздвигнут при мемориале, посвященном жертвам гражданской войны в Испании. Там завещал похоронить себя и генералиссимус Франко. Те, кто посещал королевскую усыпальницу в Эскориале, знают,

<sup>11</sup> «Православный благовестник». 1916. № 10—11. С. 248.

<sup>12</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1988. С. 130—131.

<sup>13</sup> Там же. С. 188.

<sup>14</sup> Мережковский Д. С. Испанские мистики. Брюссель, 1988.

<sup>15</sup> Однажды К. И. Флоровскую спросили, почему она заинтересовалась этой святой Римско-католической церкви. Ксения Ивановна ответила, что ей вообще нравятся женщины-святые. Русских женщин-святых немного, сказала она, и они все известны, а живя долгое время во Франции, она познакомилась с католическим миром и его святыми. В ее работе ей помогала Людмила Туркевич, которая преподавала испанский язык (Георгий Флоровский — священнослужитель, богослов, философ. М., 1995. С. 231, прим. 3).

что там есть еще три вакантных места для усопших высоких особ. Но испанский диктатор не был коронован, и он предпочел лечь в окружении своих соратников, таких, как Хосе Антонио Примо де Ривера, казненный республиканцами в 1936 году. Мемориал был устроен «на уровне» — от Эскориала туда нужно добираться 12 километров по горному серпантину. И с такой высоты Эскориал с похороненным там императором Карлом V (XVI век) кажется таким крошечным...

Миновав Эскориал, поезд начинает взбираться на перевал. Оставив позади несколько тоннелей, мы оказываемся на горном безлесом плато, где коровы, пасущиеся среди камней, ошипывают чахлые кустики. На одной из станций мимо нас пронесется экспресс Мадрид—Саламанка. Для испанцев это звучит буднично, но не для россиян... Авила уже близко, и вот из вагонных динамиков раздается объявление: «Проксима парада (следующая остановка) — Авила».

Вокзал в Авиле сам по себе ничем не примечателен, однако среди пассажиров и встречающих — группы монахинь в черном. В Авиле несколько женских монастырей, принадлежащих к разным орденам; их насельницы ходят по городу в белых, синих и черных одеяниях.

*Авила. Кафедральный собор.* Авила — старинный город, и кафедральный собор — его сердце. От вокзала к нему ведет авенида Хосе Антонио. Здесь все дышит стариной: по пути встречаются средневековые шедевры архитектуры: церковь Св. Анны, руины монастыря Св. Иеронима, церковь Сан Педро (Св. Петра). Дорога выводит на площадь Италии, и вот впереди — крепостные стены Авилы.

В прошлом кафедральный собор являлся частью оборонительной системы Авилы, и его большая полукруглая апсида, выступающая за линию городских стен, выглядит как мощная крепостная башня. Она была построена одновременно с этими стенами в конце XI века и украшена зубчатым карнизом. Это любопытный образец полуцерковной-полукрепостной архитектуры смешанного военно-религиозного характера<sup>16</sup>.

Осенью 1877 года в Авиле побывал русский писатель-путешественник Петр Александрович Чихачев (1808—1890). Вот его первые впечатления об этом городе: «Большинство церквей Авилы построено из местного гранита. Таков собор, богатое внутреннее убранство его столь же примечательно, как и архитектура, напоминающая архитектуру цитадели. Живописные стены города окружены с внешней стороны аллеями чинар, вязов и других деревьев, а также мощными зарослями дурмана»<sup>17</sup>.

Пройдя через ворота, ведущие на кафедральную площадь, еще раз взглянем на защитные обходы и бойницы над массивным карнизом соборной апсиды, постройка которой была начата в 1091 году. Это — самая древняя часть собора, тогда как в целом собор принадлежит в конце XII — началу XIII века, а некоторые западные его части были построены не ранее XIV века<sup>18</sup>.

Для того чтобы попасть в собор, приходится долго искать входные двери. Главные врата закрыты; в соборе идет реставрация, и поэтому богомольцы должны проникать сюда сбоку, проходя под строительными лесами. Однако поиски завершены, и вот мы уже внутри собора. В этом храме заслуживает внимания высокое пятиярусное деревянное ретабло — заалтарный образ из раскрашенного дерева. Ретабло достигает громадных размеров, доходя до сводов потолка; вся его поверхность сплошь заполнена украшениями и картинами, написанными в начале XVI столетия живописцами ранней испанской школы.

<sup>16</sup> Бекер Р. Очерки испанской архитектуры. Авила // Зодчий. 1904. № 10. С. 113—114.

<sup>17</sup> Чихачев П. А. Испания. Алжир. Тунис. М., 1975. С. 21—22.

<sup>18</sup> Бекер Р. Указ. соч. С. 114.

Напротив собора, на кафедральной площади, расположено бюро туристической информации. Здесь можно получить план города, без которого трудно осматривать старую Авилу, с ее узкими, ломаными улочками. При входе в бюро — большой стенд с надписью: «Рута Терезиана» (Путь Терезы). На нем указаны те храмы и монастыри, которые были связаны с авильским периодом жизни испанской подвижницы. Отметив на карте эти достопримечательности, отправимся в путь — по стопам св. Терезы.

*Монастырь Св. Терезы.* Авила — древний город, и здесь не спешат с переименованиями улиц. Если отправиться от кафедральной площади на юг, по Немецкой улице (Алемания), то вскоре мы окажемся у развилки. Влево уходит улица имени генералиссимуса Франко, направо виднеются старинные дворцовые постройки. Избрав «правый путь», проследуем вдоль крепостных стен к обители св. Терезы, расположенной напротив южной городской стены, у ее средней части. Когда-то на этом месте стоял дом благородного гидальго Алонзе де Чепеда, где 28 марта 1515 года родилась Тереза Санчес де Чепеда-и-Агумада, прозванная Терезой Авильской или Терезой Иисусовой.

Ныне здесь все перестроено, а когда-то напротив дома Терезы находилась доминиканская обитель, где была могила Великого Инквизитора Томазо Торквемады (1483—1498). «Прах о. Фомы Торквемады в этой могиле покоится. Ереси бежит, как чумы» — гласила надпись на его могиле<sup>19</sup>. «Эпоха испанской инквизиции была вместе с тем эпохой расцвета великой испанской мистики в лице Терезы из Авилы и Иоанна от Креста — этих великий образцов христианского просветления и обожения человеческой души»<sup>20</sup>, — писал российский философ С. Л. Франк.

«Родовое имя Терезы шло, по испанскому обычаю, не от отца, а от матери, доньи Беатриче де Агумада, принадлежавшей к одному из древнейших и благороднейших авильских родов, — пишет Д. С. Мережковский. — Имя „Агумада“, „Закоптелые“ или грубее, славнее, „Копченые“, — произошло от одного из предков Терезиной матери, который прославился в войне с маврами: стоя в подоженной неприятелем башне городской стены, он защищал ее от множества мавров, пока весь не закоптел и не почернел от дыма так, что сделался и сам похож на мавра»<sup>21</sup>.

Можно войти в храм Св. Терезы, расположенный напротив крепостных ворот. В церкви совершается бракосочетание, и чтобы не мешать торжественной церемонии, проследуем в один из боковых приделов, откуда можно попасть во «фруктовый сад св. Терезы». Дом, где родилась Тереза, не дошел до нашего времени. Место, где он находился, ныне занимают церковные строения монастыря Св. Терезы. Однако сохранилась часть сада, где когда-то маленькая Тереза играла со своим старшим братом Родриго. Сад св. Терезы отгорожен от посетителей прозрачной перегородкой, и через стекло можно видеть установленные под деревьями мраморные скульптуры. Шестилетняя Тереза изображена с книгой в руках, а ее одиннадцатилетний брат Родриго строит из камешков какое-то сооружение.

Уже в детском возрасте Тереза и ее брат решили подражать древним отшельникам, которые жили в пустыне. Дети начали строить в саду что-то вроде каменных келий. Впоследствии св. Тереза вспоминала в «Автобиографии»: «Мы пытались построить стены из мелких камней, которые почти сразу же осыпались»<sup>22</sup>.

Вернемся под своды храма. Здесь заканчивается церемония бракосочетания. Священник благословляет новобрачных; в молитве звучат имена св. Терезы и ее ближайшего сподвижника — св. Иоанна Креста (Хуан де ла Крус). Священник причащает мо-

<sup>19</sup> Мережковский Д. С. Указ. соч. С. 40.

<sup>20</sup> Франк С. Л. С нами Бог. Париж, 1964. С. 271.

<sup>21</sup> Там же. С. 37.

<sup>22</sup> Цит. по: Сикари Антонио. Портреты святых. Т. II. Милан, 1991. С. 42.

лодоженов и свидетелей под звуки органа и при свете юпитеров. Торжество снимается на кинокамеру; сегодня в Испании это традиционный элемент бракосочетания. Молодожены подписывают брачное свидетельство под аплодисменты собравшихся, и процессия движется к выходу, где у статуи св. Терезы ждет своей очереди в окружении родственников очередная пара.

Воспользовавшись небольшим перерывом, можно пройти в часовню Св. Терезы, расположенную слева от главного алтаря. Здесь немного молящихся, но вот их удивление нарушает необычная процессия. В капеллу входит полковник в парадной форме: он в белых перчатках, на груди — три испанских «георгиевских» креста. За ним, сгибаясь под тяжестью корзины с цветами, следуют два солдата в десантной камуфляжной форме. Полковник снимает фуражку, по-домашнему кладет ее на престол, а затем дает указания подчиненным. Солдаты ставят корзину перед статуей св. Терезы; теперь руки у них свободны, и они могут тоже снять свои грязно-зеленые кепки. Позднее все становится ясным: недалеко от монастыря, в бывшем дворце, расположена воинская часть, и военнослужащие регулярно отдают дань уважения св. Терезе — покровительнице Авилы.

Неподалеку от монастырского храма — небольшой церковный центр, посвященный св. Терезе. Он посещается гостями из многих стран мира, и пояснительные надписи сделаны здесь на шести европейских языках (испанским, французском, английском, итальянском, немецком, фламандском), а также и на японском. В витринах бережно хранятся «прижизненные экспонаты»: часть рукоделия, которое Тереза украсила жемчугом; подошва от одной из ее сандалий, — это, скорее, грубые лапти-альпаргате. Здесь же выставлена, палка-посох, которым Тереза пользовалась в последние годы своей жизни. На витрине под стеклом можно видеть четки и крест подвижницы, а также два отрывка из ее писем с собственноручной подписью: «Teresa de Jesus».

Мемориальный зал украшают портреты и скульптуры св. Терезы; некоторые из статуй отлиты из серебра. Внимание посетителей привлекают чтимые реликвии — безымянный палец св. Терезы ее правой руки; еще несколько косточек от ее руки можно видеть в другой витрине. Рядом выставлены две кости ее ближайшего сподвижника — Хуана де ла Крус (Иоанн Креста). «Эпоха испанской инквизиции была вместе с тем эпохой расцвета великой испанской мистики в лице Терезы из Авилы и Иоанна от Креста — этих великих образцов христианского просветления и обожения человеческой души»<sup>23</sup>, — писал отечественный философ С. Л. Франк.

Одну из стен мемориального зала занимает фотовыставка: здесь представлены современные виды 17 кармелитских монастырей, основанных св. Терезой. Это обители в таких городах, как Авила (монастырь Сан Хосе, основан в 1562 году), Медина дель Кампо (1567), Вальядолид (1568), Малагон (1568), Пастрана (1569), Толедо (1569), Саламанка (1570), Альба де Тормес (1571), Сеговия (1574), Севилья (1575), Беас (1575), Карвака (1576), Паленсия (1580), Вильянуэва де ла Яра (1580), Сория (1581), Гранада (1582) и Бургос (1582).

Книжный прилавок музея заполнен многочисленными изданиями книг св. Терезы: это и «Книга о моей жизни» («Автобиография» (1562–1565), и «Внутренний замок» (1589), и «Путь к совершенству» (1583)). Литературные труды испанской подвижницы по достоинству оценены Римско-католической церковью: 27 сентября 1970 года была издана булла папы Павла VI, в которой св. Тереза была официально причислена к «учителям Церкви». До этого времени 29 раз в течение своей истории Римско-католическая церковь провозглашала «учителем» человека, «замечательного своей свя-

<sup>23</sup> Франк С. Л. С нами Бог. Париж, 1964. С. 271.

той жизнью, чистотой своей веры и качеством своего знания». Первой женщиной, причисленной к «лику учителей», стала св. Тереза. Копию текста этой буллы также можно видеть в выставочном зале.

*Церковь Св. Иоанна.* Церковь Сан Хуан (Св. Иоанна) находится в пяти минутах ходьбы от дома, где родилась Тереза. Именно в этот старинный храм и принесли ее родители — приобщить новорожденную дочь к Церкви через таинство Крещения.

Чтобы добраться до этого храма, нужно пройти немного назад и, повернув на улице Кабальерос, следовать до площади Виктора. Когда-то по этим узеньким улочкам пробирались наши предшественники-россияне. «Авила, окруженная стенами, украшенными башнями, чрезвычайно живописна, — писал П. А. Чихачев. — На первый взгляд Авила напоминает один из восточных городов, примостившихся на бесплодных скалах. Каменные улицы, бегущие то вверх, то вниз, доступны только для всадников и пешеходов. Однако воспоминания, связанные с Востоком, рассеиваются при виде памятников христианства, уводящих воображение к расцвету средневековья. Потребовался бы целый том, чтобы описать сокровища церквей и великолепие разных зданий этого города»<sup>24</sup>.

Зажатая с трех сторон узкими улочками, базилика Св. Иоанна своим фасадом выходит на небольшую площадь со статуей св. Терезы. Посетители, входящие в храм, наступают на конфетти и рисовые зерна, рассыпанные по паперти. Значит, и здесь недавно поздравляли молодоженов. Из-под сводов храма льются звуки органа; слева от входа — большая каменная купель. Привратница начищает до блеска медную крышку купели. Она устроилась на ступеньке как раз под мраморной доской, на которой читаем надпись: «Здесь 4 апреля 1515 года была крещена св. Тереза». Эта доска, как и статуя перед храмом, были установлены к 400-летию со дня рождения св. Терезы — в 1915 году.

*Река Аладжи.* Церковь Св. Иоанна находится почти в центре старой Авилы. Улица Виллеспин, берущая начало от площади Виктора, приводит паломников к западным крепостным воротам города. Пройдя через них, мы оказываемся на берегу реки Аладжи. Ее берега соединены двумя мостами: один из них новый, и по нему взад и вперед снуют легковые машины и грузовики. Рядом с ним, слева, — «Пуэрто въехо» — Старый мост, сохранившийся с времен средневековья. Покоящийся на трех каменных «быках», он находится на капитальном ремонте, и движение по нему закрыто даже для пешеходов. А как хотелось бы пройтись по нему! Ведь он помнит «бегство Терезы»...

В шестилетнем возрасте Тереза уже умела читать самостоятельно, и ее любимой книгой был «Цвет святых» (*Flos sanctorum*), где были собраны жизнеописания святых — мучеников и отшельников. Чтобы читать жития святых, Тереза часто уединялась со своим братом Родриго. Сердце ее учащенно билось при мысли о муках и смерти исповедников Христовых. Тереза мечтала стать проповедницей христианства, и с этой целью она убедила Родриго отправиться «в землю мавров».

Однажды ранним утром, взяв немного еды, семилетняя Тереза и одиннадцатилетний Родриго бежали из отчего дома. Выйдя из городских ворот у реки Аладжи, дети перешли через мост и продолжили путь по большой Саламанкской дороге. Они хотели отправиться в таинственную «мавританскую землю» (Испания была лишь недавно освобождена от арабского владычества), чтобы претерпеть мученичество за веру и сподобиться жизни вечной.

К счастью, на пути беглецов встретился их дядя, ехавший на муле. Он заставил Терезу и Родриго вернуться домой, куда они и явились в то время, когда все уже опла-

<sup>24</sup> Чихачев П. А. Указ. соч. С. 21.

кивали их как мертвых, думая, что они свалились в один из многочисленных колодцев. В ответ на упреки матери, которая их горестно укоряла, Родриго, плача, ответил: «Я хочу увидеть Бога!» В своей автобиографии св. Тереза потом писала с мягким юмором: «Самым большим препятствием для осуществления наших планов были наши родители»<sup>25</sup>.

*Монастырь Богоматери Благодатной.* Семья дона Альфонсо была большой: в его доме жило шесть сыновей и три дочери (Тереза родилась третьей, после своего брата Родриго). В 1527 году, когда Терезе исполнилось всего 12 лет, их мать отошла в загробный мир. В доме становилось все просторнее: один за одним сыновья уезжали за океан, в Новый Свет, открытый в 1492 году Христофором Колумбом. Ими двигала жажда приключений, а отчасти — миссионерское рвение.

В 1530 году испанский король Карл был торжественно коронован папой Климентом VII. Он получил императорскую золотую корону из рук папы в церкви Св. Петрония в Болонье. А вскоре после этого император Карл V торжественно вступил в Авилу, устроив по этому случаю грандиозное празднество. 300 пар девушек из знатных семейств (среди которых была и Тереза) танцевали на празднике в честь прибытия императора в Авилу. К этому времени увлечение Терезы житиями святых сменилось чтением рыцарских романов.

Когда Терезе исполнилось 16 лет, отец отправил ее в монастырь августинок. Эта обитель, расположенная в низине, близ стен старой Авилы, носит имя Нуэстра Синьора де Грация (Божией Матери Благодатной). Здесь Тереза пробыла всего год, после чего покинула монастырь из-за плохого состояния здоровья. В конце 1532 году она снова вернулась в отчий дом.

Для того чтобы посетить эту обитель, необязательно возвращаться через весь город по узким улочкам. Можно обогнуть крепостные стены снаружи и пройтись вдоль них туда, где в юго-западном углу они образуют мощное оборонительное сооружение. Обитель Богоматери Благодатной, как и некоторые другие авильские монастыри, находится вне стен города. «Очень странно, что жители Авилы, окружившие свой город такими грозными башнями и стенами, построили затем несколько больших церквей за линией этих укреплений, т. е. в таком месте, где, в случае неприятельского нападения, здания эти оказались бы совершенно беззащитными, — писал в начале XX столетия один из отечественных авторов. — Обыкновенно, при осмотре городов, укрепленных в средние века, мы видим, что наиболее старые постройки находятся в центре, а наименее старые — на окраинах. Здесь же наоборот: романские и готические постройки находятся преимущественно за стенами, а в городе зато немало памятников эпохи ренессанса»<sup>26</sup>.

Среди прочих монастырей Авилы обитель де Грация кажется наиболее неприступной — это маленькая крепость с мощными стенами. Одни только аисты, свившие гнездо на колокольне, могут проникать сюда беспрепятственно. Входная дверь, ведущая в обитель, не заперта, но это не должно обнадёживать. Здесь открыта всего лишь комната, где посетители могут пообщаться с насельниками. Но устав монастыря строгий, и разговоры могут вестись только через решетку. Любые передачи: письма, посылки и прочее — все это передается монахиным «бесконтактным» способом. Предмет кладется на вертушку, похожую на те, что используются в поликлинике для медицинской картотеки. Затем поворот на 180°, и передача оказывается по ту сторону перегородки, где ее принимают. Отец Терезы не случайно выбрал этот монастырь для своей подрастающей дочери: здесь она была надежно защищена от мирских соблазнов.

<sup>25</sup> Цит. по: Сикари Антонио. Указ. соч. С. 42.

<sup>26</sup> Бекер Р. Указ. соч., № 11. С. 128.

Итак, монастырская школа... «Я чувствовала в те дни смертельное отвращение к монашеству»<sup>27</sup>, — вспоминала св. Тереза впоследствии. В обители, где находилась Тереза, была монахиня донья Мария де Бриченко, из древнего и знатного авильского рода, приставленная к спальне школьниц. «Через нее-то Господь и пожелал начать мое обращение... Мудрые и святые беседы ее начали мне нравиться... Снова возродила она во мне жажду вечности, так, что мало-помалу начало уменьшаться мое отвращение к монашеству»<sup>28</sup>, — продолжает св. Тереза повествование о своей юности.

Именно здесь, во время болезни, Тереза и начала снова читать религиозные книги. «В те же дни Господь, чтобы приготовить меня к пути своему, послал мне тяжелую болезнь, которая принудила меня вернуться домой»<sup>29</sup>, — писала св. Тереза в «Автобиографии». Память о св. Терезе в этой обители сохраняется и доньине: на стене комнаты для посетителей укреплен мемориальная доска в честь св. Терезы. Она установлена здесь в 1982 году — к 400-летию со времени кончины испанской праведницы. На доске высечены некоторые изречения из ее сочинений.

*Бегство в монастырь Воплощения.* Вернувшись в отчий дом, Тереза продолжала предаваться духовным размышлениям. Однажды, читая «Письма» блаженного Иеронима, она укрепилась в мысли уйти в монастырь. Но когда она сообщила о своем решении отцу, тот решительно воспротивился. Одно дело отдать дочь в монастырь на время, другое — расстаться с ней навсегда. Но Тереза тоже не могла отступить от своего решения, и вопреки воле отца она отважилась уйти туда тайком.

На заре 2 ноября 1535 года она бежала из дома в монастырь Воплощения (Incarnation). Тереза бежала не одна, но с братом, которого она в детстве уговорила идти к маврам. «Я убедила одного из братьев моих постричься (в братство св. Доминика в Авиле) и мы условились, что рано поутру, в назначенный день, он отведет меня в обитель Инкарнасьон (Воплощения), где была одна подруга моя, которую я очень любила»<sup>30</sup>, — вспоминала потом св. Тереза.

...Вернувшись к городским воротам, близ которых когда-то стоял дом Терезы, проследуем к старинному монастырю Воплощения. Эта кармелитская обитель лежит к северу от старой Авилы, поэтому паломникам, идущим туда, приходится огибать городские стены с внешней стороны.

Авила — один из живописнейших городов Испании; она представляет собой идеальный образец средневековой крепостной архитектуры. Высокие городские стены и башни Авилы сохранились в целости до нашего времени. Постройка стен Авилы началась в 1090 году и была закончена в 1099 году — в разгар Реконкисты. Для строительства стен использовался гранитный камень из окрестных скал и остатки надгробных плит и военных укреплений эпохи римского владычества. Как это ни странно, в строительстве участвовали и мусульмане, о чем свидетельствуют элементы арабского орнамента в северной части стены.

В 1950-х годах здесь побывал один из представителей русского зарубежья М. В. Иловыйский (1909—1977), родом из Смоленска. Он посвятил Авиле одно из своих стихотворений:

Со стены раздастся грозный  
Окрик резкий часового;

<sup>27</sup> Мережковский Д. С. Указ. соч. С. 48.

<sup>28</sup> Там же. С. 49.

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> Там же. С. 50.

Воздух чистый и морозный  
Зазвенит от такового.

По стене пройдут монахи,  
Торопясь от башни к храму,  
И, дрожа в холодном страхе,  
Заберется нищий в яму.

Так, под Авиллой, ночами,  
Осажденной, но не взятой —  
Лик Мадонны мне лучами —  
Освещает век десятый...<sup>31</sup>

Более двух с половиной километров тянутся зубчатые стены высотой 12 метров и толщиной — 3. Эти стены окружают весь город, поднимаясь и опускаясь в зависимости от рельефа местности. Через каждые 25—30 метров они укреплены массивными полукруглыми башнями, похожими на шахматные лады. Таких «ладей» здесь 88.

Мы приближаемся к реке Ададжи, через которую Тереза когда-то бежала «к маврам». Отсюда открывается дивный вид на Авилу, лежащую у скалистых отрогов горы Гредос. Когда-то испанский писатель Мигель де Унамуно называл Авилу «алмазом из гранитного камня, прокаленного солнцем веков». Этим «алмазом» лучше всего любоваться с высокого берега Ададжи. Из-за античных колонн, стоящих здесь с незапамятных времен, смотровую площадку называют «4 столба». С нее открывается сказочная панорама средневекового города.

Вот что писал об этой удивительной картине один из наших соотечественников: «XI век раскинулся перед нами. Блеклая трава, серые глыбы, разбросанные вокруг, „стены зубьями пил“ под иконописным небом, — казалось, все остается в неприкосновенности с тех пор, как безымянные каменщики закончили многолетнюю кладку. Ландшафт был почти нереален, из любых ворот могла выйти уроженка Авилы сама святая Тереза. Она могла прошествовать в развевающихся одеждах, медленным шагом, переходящим в невесомое парение, — и никто из нас не удивился бы. Могли появиться конные рыцари в мерцающих доспехах, вздымая дорожную пыль, просвеченную солнцем»<sup>32</sup>.

На протяжении многих столетий Авила была «дозорной башней» Кастилии. Небольшие городские дома почти не видны из-за высоких стен и башен. Эти грандиозные укрепления придают Авиле суровый вид. В старой Авиле запрещено строительство зданий более двух-трех этажей, чтобы они не поднимались над стеной. Лишь кафедральный собор возвышается над городом, словно оберегая его старинные традиции.

Путь до монастыря неблизкий; по дороге паломники посещают скит Св. Секунда, где можно видеть мраморную скульптуру этого исповедника веры (его гробница находится в часовне кафедрального собора). На вершинах деревьев, окружающих небольшой храм, — гнезда аистов. Их жилища видны и на городских башнях. Следуя по Мадридской авениде, идущей вдоль северной стены Авилы, поворачиваем на улицу Инкарнасьон (Воплощения), уходящую резко влево. Она и выведет нас к той обители, во врата которой 2 ноября 1535 года постучалась 20-летняя Тереза...

<sup>31</sup> Иловайский М. В. Стихи. Франкфурт-на-Майне, 1961. С. 225.

<sup>32</sup> Хелемский Я. А. За холмами — Гренада. М., 1977. С. 55.

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НЕВА» ЗА 2025 ГОД

### 70 лет журналу «Нева»

Грозная К., Редакция «Звезды», Попов В., Новиков В., Попов Е. Дорогие друзья, читатели нашего журнала! IV, 3.

Евсеев Б. Стихи. V, 8.

### К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Дудин М., Орлов С., Карим М., Пагирев Г., Полякова Н., Шефнер В. Переключка однополчан. *Стихи*. III, 3.

Смирнов С, Жуков В., Друнина Ю., Шогенцуков А., Чепуров А. Переключка однополчан. *Стихи*. IV, 5.

Тихонов Н., Берггольц О., Прокофьев А., Рождественский В., Саянов В., Дудин М., Браун Н. Первое слово после Победы. *Стихи*. V, 3.

### Проза

Азаева Э. Золотые яблоки Дианы. *Рассказ*. III, 110.

Амусин М. **Превращения**. Иерусалимское превращение. Петербургское превращение. Венское превращение. *Рассказы*. IX, 110.

Арно С. Дом Гаргалезиса. *Роман-гротеск*. IV, 9.

Аствацатуров А. В лабиринте минотавра. *Рассказ*. IV, 99.

Ахметова А. Адаштым. *Повесть*. VI, 102.

Банщикова А. Солон-Гой. *Главы из повести*. V, 94.

Баранов Д. В райском уголке. *Повесть*. XII, 7.

Бежин Л. Дождливая аллея, или Десять донесений Департаменту полиции о композиторе Скрябине, строительстве храма в Индии и мистерии на конец времени. *Роман*. V, 9; VI, 129; VII, 160; VIII, 46.

Бушуева М. Яхта Барнаулова. *Повесть в диалогах*. V, 52.

Волкова С. Барракуда. *Повесть*. VIII, 6.

Воронина Т. Бородатая Афродита. Мужчина и его собака. Мистер Счастье. Первое свидание. *Рассказы*. VI, 64.

Ворошилова М. Сонечка. *Рассказ*. I, 85.

Гельбах И. Записки с бульвара. *Повесть*. IX, 9.

Гизатулин М. Книголюб. *Повесть*. VI, 12; VII, 120.

Головко А. Судьба пациента. *Повесть*. X, 8.

Данченко Е. Звери, которые нас выбирают. Бабусянка. *Рассказы*. X, 135.

Евсеев Б. Большой Потёмкин. *Рассказ*. VIII, 31.

Каралис Д. Дневник советского шалопа (1967–1979). XI, 11.

Кожевникова Е. Есть ли счастье? *Рассказ*. I, 119.

Корольков С. Кошунство. *Повесть*. VII, 8.

Кренёв П. От Лопшеньги до Садовой, 26 и до синявинских болот. *Рассказы*. IV, 72.

Крупина И. Лада Чернявка. *Рассказ*. VII, 77.

Кужелев Е. Кажется, рассказ. I, 128.

Кузьменко П. Мудрый Наохиро Такахаара и другие мудрецы. Строитель Абабкин. Дверь. Последний путь. *Рассказы*. VI, 76.

Ласкин А. Жены Матюшина. *Документальный роман*. II, 7.

Латкина А. Непрочитанное сообщение. *Рассказ*. I, 113.

Леонтьев А. **Взгляд снизу**. Пес, клаустрофобия, Лера и Кукушкин. Археология одиночества. Три сестры. *Рассказы*. Два поколения. *Маленькая повесть*. Heavy Metal-Rock'n'Roll. *Рассказ*. Отец-одиночка. *Повесть*. Блудный сын. *Рассказ*. I, 6.

Лионтарис Д. Там, за Ойкуменой, никто не пробовал меня на вкус. *Рассказ*. VII, 30.

Луданов И. По осени. *Вор*. *Рассказ*. XI, 85.

Макаров А. Золотая чешуя. *Рассказ*. X, 88.

Мальшев И. Мои девятности. *Рассказ*. IX, 104.

Михайлов И. В. Эшелон. *Рассказ*. IX, 97.

Михайлов И. М. **Что-то с чем-то...** Девушка с причудой. Непенф. Потом. Вельяминово. Все еще будет! *Рассказы*. *Пред. Е. Каминского*. X, 114.

Небыков А. Воден дьявол. Ученая шпана. *Рассказы*. IX, 85.

Окоменюк Т. Последняя пристань. *Рассказ*. XII, 96.

Панкратов Г. Крик. *Повесть*. III, 79.

Парнев В. Безупречная синева. *Повесть*. XII, 48.

Седов Г. Театр незабываемой застойной поры. *Повесть*. III, 13.

Степанов Е. Десять разговоров. *Из подслушанного*. V, 83.

Тикуннова Т. Мушкетеры из вишневого сада. *Повесть*. VII, 54.

Товберг А. **Сиреневый туман над терриконами (Донбасс довоенный)**. Семечки. «Сиреневый туман». *Рассказы*. XII, 118.

Топчиев Е. Кирпичи. Не время. *Зимние рассказы*. X, 99.

Черемухина В. Со всеми остановками. *Рассказ*. XII, 124.

Шапиро М. Кукла дяди Изи. *Повесть*. VII, 91.

Шмитке Э. Метод Лаптева. *Повесть*. II, 109.

Юрѣва А. Сапогу не пара. Картина. Девушка и мотоцикл. *Рассказы*. I, 94.

### Поэзия

Август К. VII, 3.	Макке С. III, 75; X, 132.
Беляева В. VII, 50.	Марк Г. IV, 107.
Бобылев Д. VI, 96.	Мионов А. IX, 121.
Викторова О. X, 84.	Оливье О. XII, 3.
Виргинский М. I, 107.	Пикалова Ю. II, 3.
Власов Г. XII, 114.	Праведникова М. I, 91.
Газизова Л. I, 3.	Пшеничная В. I, 81.
Гедымин А. IV, 95.	Рахунов М. III, 7; X, 3.
Грозная К. IX, 3.	Синельников М. VI, 3.
Дронфорт Д. IX, 106.	Скобло В. II, 106.
Елагина Е. IV, 67.	Спектор В. II, 153.
Замшев М. XII, 87.	Спиридонова Е. VII, 117.
Земских В. XI, 80.	Таланова Г. XII, 131.
Каминский Е. V, 45.	Тухватулина М. I, 125.
Каршин Д. VIII, 3.	Уткина О. I, 132.
Кийс И. X, 110.	Чигрин Е. XI, 3.
Китик В. VI, 61.	Шеленок М. III, 108.
Корнева Л. I, 116.	Шемшученко В. XII, 43.
Лазунин И. IX, 82.	Эрастов Е. VIII, 41; XI, 93.
Ларионов Д. V, 90.	

### Вселенная детства

Осипова Н. Самая красивая женщина Мариуполя. <i>Повесть</i> . III, 135.	Рящев А. Лучшее лето наших жизней. <i>Повесть</i> . I, 156.
Румановская Е. Хронологическая пыль. Тетя Лиля и двадцать первый трамвай. Кинотеатр «Миниатюр». <i>Рассказы</i> . IX, 139.	

### Нестоличная Россия

Богданова Е. Голосом бессмысленной капели. <i>Стихи. Предисловие С. Носова</i> . IV, 112.	Куренёв А. Тринитариум. Боль и Время. Вода, Я и Тьма. Мы. Наоборот. <i>Рассказы. Пред. Е. Попова</i> . XI, 196.
Болдырев А., Рубанов Р., Косоков В. Курские лирики. <i>Стихи. Предисловие М. Кудимовой</i> . III, 122.	Мушинский А. Мой друг Адам. <i>Повесть</i> . VIII, 140.
Гонтовский А. Когда поет о вечном ветер. <i>Стихи. Предисловие Г. Климовой</i> . III, 129.	Перова М. Жар земной. Прививка. Дачный сезон. Дверь в небо. <i>Рассказы</i> . VII, 193.
Горенко З. О самом лучшем. I, 136.	Перцев В. Стихи. <i>Пред. Е. Каминского</i> . VIII, 128.
Горьковчанин А. Осколки прошлого. <i>Рассказ</i> . XII, 155.	Пономарёв П. Варезка. Ботинки. Бескормица. Цикорий обыкновенный. <i>Рассказы. Пред. М. Гундарина</i> . VIII, 133; Стихи. XII, 142.
Долгановских Ю. Темное сияние. <i>Стихи. Предисловие Д. Драгунского</i> . II, 156.	Пятков А. Четыре корыта родной земли. <i>Рассказы</i> . XII, 133.
Зуева Л. Стихи. I, 151.	Страшинский А., Никифорова М. Судьба подлинных. <i>Стихи. Пред. Е. Каминского</i> . X, 156.
Караванов А. Мира Икона. Ночь высокой моды. <i>Рассказы</i> . V, 146.	Федосееenkova А. Своим аршином. <i>Стихи</i> . VI, 176.
Косарев М. Боковой тоннель. <i>Роман</i> . XI, 99.	

### Переводы

Бретон Ж. Стихи. <i>Пер. Михаила Серебринского</i> . VII, 190.	но сумели и ее отдать». <i>Перевод с английского Евгения Лукина</i> . X, 165.
Хаггард С., Футтит К., Кейс С., Оллвуд Б., Дуглас К., Томпсон Ф. «Мы просили многого от жизни,	

### Архипелаг Благородства

Котельникова В. Капитан второго ранга. *Рассказ*. Николаенко Н. Городская зарисовка. *Рассказ*. IX, VII, 207. 152.

### История рода — история народа

Сажин В. Безмысленная жизнь. XII, 161.

### Любимые уголки России

Бушуева М. Елецкие мотивы. XII, 192. Корсак В. Четыре февральских дня 1909 года. *Пер. Р. Чернова. Пред. С. Козлова-Струтинского*. VIII, 176.  
Гиневский А. Соловьиная река. Мефодий. Последняя рыбалка. *Рассказы*. IX, 127.  
Калмыкова В. Благоуханные легенды, или Платок-самолет. VI, 185; Небо и земля Старого Оскола. X, 170. Мелихов А., Долгопят Е. Поленовский дворик и святающийся дым. VI, 180.  
Попов Е. Мин ус — моя река. XII, 187.

### Театротека

Семкин А. Чехов о театре и людях театра. X, 225.

### Из архива

Дневники Наташи Ильинской. 1941–1942 годы. *Предисловие составителей: Ольга Ушакова, Петр Ильинский*. V, 171.

### Красота старости

Мелихов А., Пугач В., Ахметова А. Красота старости. *Публикуется в дискуссионном порядке*. VII, 226.

### Публицистика

Ахметова А. История одного дефолта. X, 181. Национализм романтический и геополитический. IX, 156.  
Бердников Л. Чулок — государыни вещь. XII, 196. Попов А. Где деньги, Карл?.. VIII, 199.  
Беркович Е. Альберт Эйнштейн и религия. IV, 180. Попов Е., Гундарин М. Александр Кабаков: последние дни. IV, 172.  
Инге-Вечтомова М. «Из Таллина шли корабли к Ленинграду». Инге Ю. (1905–1941). Стихи. VIII, 211. Рыбаков В. Сорок лет спустя. *Послесловие А. Мелихова*. IV, 201; А и правда — камо грядеши? VIII, 182.  
Кураев М. Человек за горизонтом. III, 172. Ланко Д. Аграрный вопрос и финское экономическое чудо. II, 164; Деньги и финское экономическое чудо. IV, 148. Травин Д. Нахальные «сироты» и высокопоставленные «холопы». IV, 118; Как свобода пришла в Россию. VI, 195.  
Лурье Ф. Революционная целесообразность. IV, 131. Червинский В. Одесская история без хеппи-энда. IX, 161.  
Мелихов А. Чем победить зависть? I, 191; Равновесие страха и равновесие уверенности. V, 196;

### Критика и эссеистика

Айзенштейн Е. Дон Жуан в русской поэзии. XI, 215. *зия. Начало*. I, 198; *Статья вторая. Проза. Движение*. II, 212; *Статья третья. Драматургия. Действие*. III, 188; *Художник и его судьба*: П. О. Ковалевский. XII, 210.  
Аникин Д. Анна Ахматова. Памятник самой себе. IX, 199. Кудрявцева Т. Волшебные доньшки Радия Погодина. VIII, 223.  
Васильев С. «Мой белый божественный мозг я отдал, Россия, тебе...». XI, 201.  
Иванов В. Пегий берег. *Рассказ*. II, 207.  
Калмыкова В. Валерий Брюсов — культурный герой русского модернизма. *Статья первая. Поэ-*

- Мелихов А. Хороший повод вспомнить. II, 187; Гончаров как зеркало русского консерватизма. IX, 204; Что мы несем? XII, 207.
- Минаков С. Крылатый Простев. VI, 211.
- Новиков В. Боль новой мысли. *Филологическая лирика*. V, 210.
- Нужная Т. Неизведанные территории: гимн Чукотке в романе Светланы Забаровой «Ватыркан». X, 217.
- Папкова Е. Путь писателя в контексте истории: Всеволод Иванов. II, 201.
- Попов А. Сальвадор и Гала: Жизнь под «золотым дождем». IV, 206.
- Пугач В. Об одной гениальной ошибке. I, 195.
- Серебринский М. Борис Рыжий — фронтовики — эстрадники. *Диалог и самоопределение поэта*. V, 201.
- Собенников А. «Радуница» С. Есенина в контексте мифа о России в русской поэзии. X, 203.
- Черняк М. «Оглухший композитор» Всеволод Иванов. II, 196.
- Шушунова Л. «Під Купянском, як Шредінгера кіт...». *О военных стихах поэта Сергея Семенова*. VI, 220.

### Петербургский книговик

- Аникин Д. Предпоследний поэт (праздные размышления о поэзии Евгения Каминского). XI, 239.
- Байрамкулова И. Неутомимая надежда. I, 211.
- Вергелис А. Противление пустоте. VII, 242.
- Галимуллина А. От Симеона Полоцкого до литературы наших дней. IV, 230.
- Долгопят Е. Вещий сон. Сериал-феерия. *Восемь серий*. *Синопис*. I, 224.
- Ермакова А. Отсюда идущий зов. XI, 243.
- Зиновьева Е. Книжный остров. I, 236; II, 238; III, 238; IV, 243; V, 245; VI, 235; VIII, 235.
- Кудимова М. Классические корни романа «Зинзивер». VII, 236.
- Легостаева Е. Весь мир — театр абсурда. I, 221.
- Лукин Е. Философия пацифизма в творчестве поэтов-фронтовиков Первой мировой войны. IV, 224.
- Мамышева П. «...По главам толстого увлекательного романа»: американские фотографии И. Ильфа. VI, 225.
- Мелихов А. Слава храбрецам! VIII, 230.
- Никифоров В. Высоцкий в Ленинграде, или Причуды памяти. IX, 209.
- Петросова А. Москва—Валаам—Санкт-Петербург. I, 218.
- Печерская Е. От музыки спасенья нет... IV, 239; Ольга Оливье: «Незавершенные стихи в тетради на столе». V, 242; Михаил Рахунов: «И душа превращается в речь...». VI, 232; Владимир Делба: Новеллы о юности, или Пять повестей о добре и зле. XII, 237.
- Попова А. Изгнанники степи. I, 213.
- Собенников А. Миф и реальность в русской военной поэзии 1941–1945 годов. V, 224.
- Солод О. Леонид Андреев. Голос одиночества. XII, 225.
- Солоух С. Между К. Р. и «ЛЕФ'ом». II, 222.
- Сорокоотягин Д. Карамелька с табачными крошками. X, 236.
- Спектор В. «Детство не подлежит уценке...». IX, 228.
- Сухих И. Читаем книги «Ясной Поляны». I, 211.
- Травина Е. Образ Финляндии в зеркале журнала «Нева» (1870–1918). III, 201.
- Хлебников М. Иванов и Алданов. IX, 213.
- Хусаинов А. Сибирь? Да я там всех знаю! II, 236.
- Чайковская В. Сомнительные маги: размышление искусствоведа. X, 233.
- Чайковская И. Последний поэт Серебряного века. *Книга о Георгии Иванове*. II, 228.
- Шершакова А. «Жизни соль». I, 216.
- Эрастов Е. Крошки волшебства. IV, 234.

### Пилигрим

- Архимандрит Августин (Никитин). Русские паломники у святынь Бельгии. *Часть 1*. I, 242; *Часть 2*. II, 244; *Часть 3*. III, 243; *Часть 4*. IV, 247; *Часть 5*. V, 247; *Часть 6*. VI, 240. Музыкальное наследие св. Франциска Ассизского. *Часть 1*. VII, 246; *Часть 2*. VIII, 241. У берегов Испании. *Часть 1*. IX, 233; *Часть 2*. X, 239; *Часть 3*. XI, 247; *Часть 4*. XII, 240.

### Слово за вами

- Письмо из-за рубежа. IV, 254.

# Contents

## Prose and Poetry

- Olga Olivier.** Poems • 3  
**Dmitry Baranov.** In a Piece of Paradise. *Story* • 7  
**Vladimir Shemshuchenko.** Poems • 43  
**Viktor Parnev.** Flawless Blue. *Story* • 48  
**Maksim Zamshev.** Poems • 87  
**Tatiana Okomenyuk.** The Last Refuge. *Short Story* • 96  
**German Vlasov.** Poems • 114  
**Alexander Tovberg.** Lilac Fog over the Waste Heaps (Pre-War Donbass). Sunflower Seeds. „Lilac Fog“. *Short Stories* • 118  
**Victoria Cheremukhina.** With All Stops. *Short Story* • 124  
**Galina Talanova.** Poems • 131

## Non-Capital Russia

- Alexander Pyatkov.** Four Troughs of the Native Land. *Short Stories* • 133  
**Pavel Ponomarev.** Poems • 142  
**Andrei Gorkovchanin.** Fragments of the Past. *Short Story* • 155

## The History of Family—The History of People

- Valery Sazhin.** Thoughtless Life • 161

## Favorite Corners of Russia

- Yevgeny Popov.** Min Us — My River • 187  
**Maria Bushueva.** Yeletsk Motifs • 192

## Publicistic Writings

- Lev Berdnikov.** Stocking — Empress's Thing • 196

## Criticism and Essays

- Alexander Melikhov.** What Are We Carrying? • 207  
**Vera Kalmykova.** Artist and His Fate: P. O. Kovalevsky • 210

## Petersburg Bookman

- Territory of Memory.** *Oleg Solod.* Leonid Andreyev. Voice of Loneliness. **Reviews.** *Elena Pecherskaya.* Vladimir Delba: Stories about Youth, or Five Tales of Good and Evil • 225

## Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Off the Coast of Spain. *Part 4* • 240  
**Contents of Neva Magazine for 2025** • 251

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»  
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18  
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9  
Телефоны: (812) 314-72-50, 312-49-23  
E-mail: nevaredaction@mail.ru, officeneva@mail.ru

Рукописи принимаются только в электронном формате

Сайт «Невы»: [neva-journal.ru](http://neva-journal.ru)

По вопросам, связанным с интернет-сайтом, обращайтесь  
по адресу [web@neva-journal.ru](mailto:web@neva-journal.ru)

**Подписку** на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России»,  
подписной индекс П1743.

**Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге** можно приобрести в магазинах  
прессы у станций метрополитена.

**По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей,  
приобретением** отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

**в Санкт-Петербурге** — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18,  
тел. (812) 312-49-23, e-mail: [officeneva@mail.ru](mailto:officeneva@mail.ru)).

**Почтовую рассылку** отдельных номеров журнала и книг издательства журнала  
«Нева» на территории РФ осуществляет редакция.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций.  
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 21.10.2025. Подписано в печать 19.11.2025.

Выход в свет 16.12.2025. Гарнитура «Октава».

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 60

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»  
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86  
Тел. (812) 207-58-43

Дорогие друзья! Журнал вошел в свой юбилейный год с большими задолженностями. Мы пытались решить проблему самостоятельно, но не справились со всеми трудностями. В последнее время существенно выросли полиграфические и коммунальные услуги. Всех, кто желает и готов нас поддержать, заранее горячо благодарим!

Реквизиты для банковского перевода:

Наименование — название организации: ООО «Журнал «Нева»

ИНН: 7810328498

КПП: 784101001

Расчетный счет: 40702 810 6 5500 0029700

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  
ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044030653

Корсчет: 30101 810 5 0000 0000653

В графе «Назначение платежа»

важно написать «финансовая помощь»

Еще проще помочь нам переводом по QR-коду



Благодарим вас, дорогие друзья!

Журнал «Нева» выходит с периодичностью  
1 раз в месяц и распространяется по подписке

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ  
осуществляет **АО «Почта России»**, индекс П1743

**Объединенный каталог «Пресса России»**, индекс 73276

**Агентство подписки «Урал-Пресс»**, индекс 73276

**Интернет** — [neva-journal.ru](http://neva-journal.ru)

